

мен нарижъ яни

Случайная
Знакомая

ФЕЛЬЕТОНЫ

Муниципальная библиотека
Уральского
государственного университета
Свердловск

64021



Об авторе этой книги

Семен Давыдович Нариньяни родился в 1908 году в Ташкенте. Он начал печататься в 15 лет — был юнкором комсомольской газеты «Молодой ленинец Востока». Переехав в Москву, Нариньяни стал постоянным сотрудником «Комсомольской правды» со дня ее основания в 1925 году. Он работал во всех газетных жанрах — писал репортажи, корреспонденции, очерки, фельетоны.

В начале первой пятилетки Нариньяни совмещал труд журналиста с трудом рабочего — по комсомольской путевке поехал на строительство Сталинградского тракторного завода, работал там сначала каменщиком, потом фрезеровщиком. Позже был

корреспондентом «Комсомольской правды» на строительстве Магнитогорского металлургического комбината и первой очереди Московского метрополитена.

Очерки, написанные Нариньяни в эти годы о молодых строителях, вошли в его сборники «Люди большевистских темпов», «На лесах Магнитостроя», «Дорога в совершеннолетие», «Сверстники» и др.

В годы войны Нариньяни был редактором выездных редакций «Комсомольской правды» в прифронтовых районах Сталинграда, Донбасса, Кривого Рога, Белоруссии, Литвы, Латвии.

С 1952 года Нариньяни работает фельетонистом «Правды». В текущем, 1968 году Семену Нариньяни исполняется 60 лет. Из них 45 лет он работает в советской журналистике и литературе. Опубликовано 25 сборников его очерков и фельетонов. В театрах Москвы и других городов было поставлено несколько комедий Нариньяни.

Фельетоны, собранные в этой книге, печатались в «Правде», «Комсомольской правде», «Крокодиле». Подлинные имена героев изменены — нет нужды повторять их спустя годы. Люди ведь меняются, а некоторые нравственные уродства, к сожалению, живучи. Иногда читатель вздохнет с облегчением — такого сейчас уже не найти, а иной раз, вероятно, подумает: это зло еще живо, с ним надо бороться и сегодня и завтра.



Таланты
и
поклонники



На верхнем «до»

Когда аплодисменты в зрительном зале смолкли окончательно и занавес последний раз опустился перед публикой, герцог Мантуанский поцеловал руку Джильде, пожелал доброй ночи разбойнику Спарафучилию и, сбросив с себя кружевной воротник и ботфорты, отправился домой. Он только-только успел сесть за ужин, как в прихожей раздался телефонный звонок.

— Герцога Мантуанского вызывают к междугородному проводу.

— Зачем?

— Город Куйбышев приглашает его на гастроли и хочет знать, приедет он или нет.

Герцог встал из-за стола, взял трубку и пропел своим волшебным бельканто: «До-ми-соль-до».

Куйбышевским театрам так бы и не понять, что должен был означать этот музыкальный пассаж, да спасибо домашним герцога, которые сказали:

— Герцог в принципе за гастроли.

— На каких условиях?

— По этому поводу вы позвоните еще раз. Нынче герцог пел в «Риголетто» и все еще находится под впечатлением спектакля. Сами понимаете, смерть Джильды, последние аккорды оркестра...

Весть о том, что герцог Мантуанский в принципе за гастрологи (театральные работники называли между собой герцога проще: Мантуан Мантуановичем), была встречена в Куйбышеве с большой радостью. Это и понятно. Ибо пел Мантуан Мантуанович превосходно, и каждому жителю города хотелось послушать его. И каждый звонил директору театра, чтобы узнать, на какое число назначен первый гастрольный спектакль. А директор и сам не знал, на какое. Директор пытался уточнить дату приезда. Он дважды соединялся по телефону с Мантуан Мантуановичем и все зря. Вместо прямого ответа тот пел директору свое загадочное «до-ми-соль-до».

И тогда из Куйбышева в Москву был командирован самый пробивной из местных театральных администраторов с наказом встретиться с глазу на глаз с Мантуан Мантуановичем (лучше всего у него на квартире) и уточнить, чего же в конце концов он хочет. Администратор поехал и пробился. Дверь заветной квартиры открыл перед ним кто-то из родственников артиста.

— Я из Куйбышева к Мантуан Мантуановичу, — сказал администратор.

— Ой, только не теперь. Мантуан Мантуанович пел вчера Альфреда в «Травиате» и все еще находится под впечатлением спектакля...

Но куйбышевского администратора трудно было трогать сантиментами. Это был человек дела. Он вытащил из портфеля чистый бланк договора и сказал так громко, чтобы его было слышно за дверью:

— Хорошо, пусть Мантуан Мантуанович назначит свою цену за гастрологи, только, пожалуйста, без запроса.

Администратор сказал это и почувствовал, что переборщил. «А что, — подумалось администратору, — если оскорбленный владелец чудесного бельканто выскочит сейчас в прихожую, схватит меня за ворот и спустит с лестницы считать лбом ступеньки?»

Владелец бельканто и в самом деле появился из-за двери. Но вместо того чтобы схватить администратора за ворот, он предупредительно взял его под руку, улыбнулся и крикнул на кухню:

— Поставьте на стол еще один прибор, у меня сегодня приятный гость к завтраку!

И вот два театральных деятеля мило садятся друг против друга и начинают такой разговор:

— Сколько вы дадите?

— А сколько вы просите?

— Сами понимаете, смерть Виолетты...

— Понятно, вы хотите получить удвоенный гонорар?

— Последний аккорд оркестра...

— Как, не удвоенный, а утроенный?

— Раскайние Жермона...

— Даже учетверенный! Ну, этого я вам гарантировать не могу.

— Ах, не можете?..

Милая улыбка моментально исчезает с лица Мантуан Мантуановича. Герцог поднимается с кресла, давая этим понять, что аудиенция окончена.

Лишний прибор был поставлен напрасно. Завтрак с гостем не состоялся.

Сконфуженный гость бежит в редакцию.

— Пристыдите Мантуан Мантуановича в печати. Он хочет, чтобы театр платил ему за каждую гастроль повышенные гонорары.

— А это разве можно?

— Незаконно, но можно.

— Каким же образом?

А вот, оказывается, каким. Есть в Министерстве культуры приказ номер 752. Издан он был еще во времена бывшего Комитета по делам искусств. Этим приказом регламентировались ставки за концертные выступления актеров всех жанров. По этим ставкам, кстати, гастролировали в том же городе Куйбышеве народные артисты СССР Пирогов, Михайлов, Уланова, Лисициан, и никто из них не ставил вопроса о повышенном гонораре. Вот только Мантуан Мантуанович, прежде чем выйти на сцену, всегда долго и нудно спорит с организаторами концертов не о том, что спеть, а о том, сколько взять.

— Златолюбец, — говорят о Мантуан Мантуановиче артисты театра.

И этому златолюбцу давалось все, что он ни требовал.

— Почему, на каком основании?

— А все на том же «До-ми-соль-до».

— А что это значит?

— Вы разве не знаете? — спрашивает директор куйбышевского театра и поясняет: — «До» у Мантуан Мантуановича не обычное, а верхнее, вот за это ему все и прощается.

И точно, бывший Комитет по делам искусств ввел, к радости таких же златолюбцев, как Мантуан Мантуанович, специальное примечание к приказу номер 752, по которому устроителям концерта разрешалось платить гастролерам повышенные гонорары не только за верхнее «до», но и за подготовку новой высокохудожественной программы, за поездку в дальние районы. Внешне все было как будто логично. А в действительности примечание к приказу стало потачкой любителям легкой наживы. Поездка из Москвы в Ленинград или Ригу стала приравняться к поездке на Чукотку или на Маточкин Шар. Залетые романсы включались в новые программы, и соответственно росли ставки. Из двойных они становились тройными, затем — четверными, шестерными.

Но шесть ставок тоже перестали удовлетворять Мантуан Мантуановича, он потребовал девять — и ему дали. Узнал об этом Лоэнгрин Лоэнгринович и заявил:

— Я пою партию герцога лучше Мантуан Мантуановича, значит, мне нужно платить не девять, а двенадцать ставок.

Тяжба между герцогами дошла до того, что Лоэнгрин Лоэнгринович не постеснялся потребовать в дни своей последней поездки в Куйбышев по двадцать ставок за гастрольное выступление. Требование было столь беспрецедентным, что директор театра не стал уже руководствоваться примечанием к приказу номер 752, а послал письменный запрос начальнику Главного управления Министерства культуры РСФСР: «Что делать?»

Начальник, не долго думая, ответил: «Платите».

И куйбышевцы заплатили. Правда, для этого им пришлось в два раза повысить цены на билеты.

Но двадцать ставок тоже не были пределом. Месяц назад работники куйбышевского театра позвонили в Москву к Мантуан Мантуановичу:

— Приезжайте к нам на гастроли.

И тот в ответ пропел: «До-ми-соль-до». А это, говоря языком Спарафучилия, значило двадцать пять ставок на бочку. И ведь что удивительно: такое неслыханное требование было удовлетворено минским оперным театром. В Куйбышеве решили не платить таких гонораров и отменили гастроли Мантуан Мантуановича. Гастроли отменены, а жители города не понимают, почему. Они звонят в театр, спрашивают: «В чем дело?» А директор не знает, что и отвечать, чтобы не опорочить славу божественного бельканто.

1955 г.

Перебор

Третья бригада архитектурно-строительного бюро спроектировала целую улицу для нового поселка нефтяников в Анненске: полтора десятка уютных домиков, клуб, школу, больницу. Заказчик проект похвалил, утвердил и обратился к бригаде с просьбой послать в Анненск двух столичных архитекторов помочь нефтяникам построить новую улицу как можно лучше.

Руководитель бригады Шанталов даже поморщился.

«Работа на периферии — дело, конечно, и нужное и модное, — подумал он, — но пойдй попробуй оторви кого-нибудь из работников проектного бюро от московской земли!»

Шанталову хотелось тактично отказать нефтяникам в просьбе. Но как это сделать? Руководитель бригады отправился за советом к начальнику проектного бюро Киприянову. А тот выслушал его и сказал:

— Отказать? Ни в коем случае. Выберите в своей бригаде двух энтузиастов и посылайте.

— Послать? Но кого именно?

— Сколько в вашей бригаде старших архитекторов?

— Двое: Нина Петровна Голубева и Швачкин.

— Нину Петровну не трогайте: у нее дети. А Швачкин пусть едет.

— Но ведь ехать нужно не меньше чем на год.

— Ну и что ж! Холостяку долгий путь не страшен. Положил в портфель пару белья да зубную щетку — вот и все хлопоты.

Шанталов на минуту задумался. Пять лет он работал со Швачкиным в одной бригаде. По субботам ездил с ним на рыбалку, по воскресным дням гонял «козла». И вот теперь по милости нефтяников привычная компания рушилась.

— Но что делать? Не ссориться же из-за этого Швачкина с Киприяновым, — сказал самому себе Шанталов и подумал: «Придется мне ездить теперь на Оку за окунями не со старшим архитектором, а с инженером-сантехником Полотенцевым».

В тот же день в третьей бригаде было созвано производственное совещание. Шанталов довел до сведения инженеров и архитекторов просьбу нефтяников и сказал:

— Руководство решило удовлетворить эту просьбу и посылает в Анненск двух архитекторов.

Кандидатуру Женечки Волкова Шанталов назвал легко и уверенно. Женечка был комсомольским группоргом, и тут отказа быть не могло. Правда, Женечке тоже не очень хотелось уезжать из Москвы: здесь Большой театр, Дом архитекторов, стадион в Лужниках. Но Женечка понимал: без хорошей практики на строительной площадке ему никогда не стать настоящим архитектором. Женечка так и сказал на производственном совещании. Товарищи горячо похлопали за это Женечке и стали ждать, когда Шанталов назовет имя второго энтузиаста.

Шанталов помедлил, вздохнул и повернулся в сторону своего приятеля. Швачкин даже побледнел от неожиданности.

— Мне в Анненск?

— Да.

Швачкин воспринял это «да», как удар ножом в спину. И кто ударил? Лучший друг, с которым он пять лет зоревал над удочками на всех водоемах Подмосковья. Швачкин от растерянности даже онемел. А Женечка Волков, чтобы успокоить товарища, сказал:

— Не горюй, Швачкин. Под Анненском течет реч-

ка Чуча, а в ней лещи да подлещики не чета московским.

Но чучинские подлещики не прельщали старшего архитектора. Этот архитектор успел уже взять себя в руки и заявил собранию твердо и бесповоротно:

— Я в Анненск не поеду.

— Почему?

— Принципиально!.. Москва должна посылать на периферию людей отборных, а не первых попавшихся под руку.

— Вы, Швачкин, не первый попавшийся, — запротестовал Шанталов. — Вы один из лучших наших архитекторов.

— Это я-то лучший? — переспросил Швачкин и демонстративно засмеялся. — Нет, я не лучший. В моих работах были и просчеты и изъяны.

— Товарищи, — сказал Шанталов. — Не верьте Швачкину. У него не было изъянов.

— Были, — упорствовал Швачкин. — Я допускал в своих проектах даже излишества: лоджии, пилястры, мраморную крошку...

— Не было у Швачкина мраморной крошки, — чуть не плача, доказывал Шанталов.

— Была, была!

— Наоборот, в этом году начальник бюро дважды премировал Швачкина.

— И оба раза по недосмотру! — крикнул Швачкин.

— Но вы же не протестовали.

— Моя вина. Согласен. Дайте мне за это выговор. Заберите обратно премии, но только не посылайте на периферию.

Руководитель третьей бригады вопрошающе посмотрел на руководителя проектного бюро Киприянова.

— Ну как, видели нахала?

Киприянов видел, слышал, удивлялся. А нахал от обороны переходит уже в наступление. Он устремил пристальный взгляд на своего бывшего друга и сказал:

— У меня есть более подходящий кандидат для поездки в Анненск.

Вместо того, чтобы встретить эти слова с достоинством

вом, как подобает мужчине и руководителю бригады, бывший друг струсил:

— Меня в Анненск? За что?

— Как лучшего из лучших.

— А я вовсе и не лучший.

— Как, и вы тоже? — удивился начальник проектного бюро.

— Именно я-то и есть не лучший. Меня критиковали, даже в печати, за бюрократические тенденции в работе.

— В какой печати?

— В стенной!

— Стенная печать не в счет, — сказал Швачкин. — Шанталов — золотой фонд, гордость третьей бригады.

— Товарищи, не верьте, — отбивался Шанталов. — Я не золотой фонд, не гордость.

— Гордость, гордость!..

— Швачкин клеветает на меня. Гордость — это тот, кто работает на пять с плюсом, а я только жалкий троечник. Меня нельзя посылать на периферию. Я там такое понастрою, что вас всех к ответу при-тянут.

Работники проектного бюро слушали своего бригадира и краснели. Им было очень неловко и за Шанталова и за его друга Швачкина. И тогда с места поднялся архитектор Сергеенко и сказал:

— Бог с ними, с этими рыболовами. Я поеду с Женечкой Волковым на реку Чучу к нефтяникам.

На следующий день после производственного совещания начальник проектного бюро Киприянов издал два приказа. Один был посвящен отъезду Сергеенко и Волкова в Анненск, второй — увольнению Швачкина и Шанталова из проектного бюро.

Бывшие друзья-приятели не ждали такого крутого оборота. Они готовы были согласиться на «указать», «поставить на вид», даже на строгий выговор, а тут вдруг «уволить». Швачкин и Шанталов, забыв о ссоре, вместе бегали в обком, в цека профсоюза, вместе били челом:

— Помогите! Восстановите!

Из обкома звонят Киприянову:

— За что уволены архитекторы?

А тот вместо ответа посылает протокол производственного совещания. В обкоме читают этот протокол и удивляются:

— Кто возвел на вас такую напраслину?

— Мы сами.

— Сами? Тогда и пеняйте на себя.

— Так мы называли себя бракоделами и бюрократами нарочно, чтобы не ехать на периферию.

— Тогда тем более обкому заступаться за вас не след.

Швачкин и Шанталов попали в заколдованный круг. Ни у кого и нигде не могли они найти сочувствия. Друзья-рыболовы соглашались ехать теперь даже на периферию. А им говорили:

— Благодарим. Не нужно. Мы посылаем на периферию только лучших.

Вчера Борис Борисович Шанталов пришел в редакцию.

— Знаю, — сказал он, — получился тогда на производственном совещании у нас со Швачкиным перебор. Но посоветуйте, как быть. Может, написать заявление в суд, в прокуратуру?

— Вряд ли прокурор вернет вам уважение товарищей.

— Но что делать?

— Сходите к бывшим своим сослуживцам. Покайтесь перед ними.

— Вы думаете, они простят?

— На этот вопрос архитекторы ответят вам сами.

1957 г.

Моя команда

Яков Николаевич соединился по телефону с начальником паровозной службы и спросил:

— Работники тебе требуются?

— Очень.

— Так я пришлю к тебе Виктора Мироненко. Возьми его в штат инспектором.

— С удовольствием. А он кто, этот Мироненко? Котельщик?

— Нет.

— Теплотехник?

— Тоже нет.

— Да кто же он?

— Правый полусредний.

Начальник паровозной службы даже растерялся от неожиданности.

— Яков Николаевич! — взмолился он. — Да зачем нам правый полусредний? Освободи нас от него, ради бога!

— Не могу. Это очень нужный для транспорта человек.

Начальник паровозной службы попробовал было упорствовать, но Яков Николаевич решительно оборвал разговор, как бы подчеркивая, что принятое им решение окончательно и обсуждению не подлежит.

И вот, пока правый полусредний оформлялся на высокой должности инспектора паровозной службы, к начальнику соседней службы — вагонной — явился с запиской от Якова Николаевича второй молодой человек — Николай Кузьмин.

— Я, — сказал он, — прикомандирован к вашему отделу.

— В качестве кого?

— Старшего инженера.

Начальник вагонной службы оглядел желтоватый пушок на верхней губе прикомандированного и сказал:

— А вы, молодой человек, справитесь с этой ответственной должностью?

— Справлюсь!

— У вас что, опыт, высшее образование?

— У меня хорошая прыгучесть.

— Что? Что?

— Прыгучесть, — не смущаясь, повторил кандидат в инженеры. — Я ни одну верхнюю подачу не пропускаю. Любой мяч могу принять и отбить головой.

В футбольной команде оказалось много ребят с хорошей прыгучестью. Одиннадцать человек в основном составе да четверо в запасе. И так как все они были, по мнению Якова Николаевича, людьми весьма нужны-

ми для железнодорожного транспорта, то каждого он постарался устроить на какую-нибудь ответственную должность: инспектора, инженера, старшего инженера. «Весьма нужные» включались в штат не только различных служб и отделов дороги. Иван Митюшин явился к директору средней школы № 1 и сказал:

— Яков Николаевич просит зачислить меня педагогом.

— А вы кто будете?

— Левый крайний.

— И что же вы умеете делать?

— Все, я подаю угловые мячи, бью штрафные, выкидываю ауты.

— Ауты, молодой человек, — это еще не все. Для того, чтобы учить детей, нужно окончить педагогический институт.

И хотя Иван Митюшин не кончал педагогического института, он, как это ни покажется невероятным, все же был назначен преподавателем. Левый крайний, конечно, не преподавал. Он ходил в школу только за получением зарплаты.

— Я пробовал протестовать, — говорит директор школы. — Да разве Якова Николаевича переспоришь! Это же самый отчаянный болельщик в нашем городе.

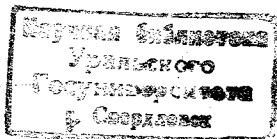
Начальник железной дороги Яков Николаевич оказался в числе городских болельщиков как-то неожиданно. Весной до него дошел слух, что команда харьковского «Локомотива» включена в розыгрыш футбольного первенства Советского Союза. Спортивные успехи соседней дороги растравили чувство ведомственной ревности в сердце начальника дороги. Он вызвал к себе руководителей управлений, спросил:

— Почему Харьков? Почему не наша дорога будет соревноваться за звание чемпиона страны?

— Да у нас на дороге и команды хорошей нет, — стали оправдываться участники совещания.

— Нет, так создайте! — сказал Яков Николаевич.

То, что начальник дороги заинтересовался физкультурными делами, было вполне закономерно. Хороший хозяйственник обязан помогать спортивной работе. К сожалению, «помощь» Якова Николаевича приняла довольно странную форму.



При депо, станциях, вагонных участках дороги было немало всяких спортивных коллективов. Были здесь и футбольные команды. Левые крайние и правые полу-средние из этих команд прекрасно увязывали свою работу на производстве со спортивным календарем. Вместо того чтобы помочь этим коллективам в их учебной и тренировочной работе, Яков Николаевич решил в экстренном порядке создать при управлении дороги особую команду — такую, которая ни в коем случае не была бы слабее харьковской. На этот счет было отдано соответствующее распоряжение — и машина завертелась.

Со всех концов Донбасса специальные вербовщики направляли в Артемовск кандидатов на амплуа защитников и нападающих. Что же касается начальника дороги, то он, отложив в сторону все прочие дела, самолично производил отбор, определяя, кому быть на правом крае, а кому — на левом. Когда команда была укомплектована, Яков Николаевич отправил ее на курорт, в Евпаторию.

За чей счет?

Конечно, за счет дороги.

Яков Николаевич не жалел государственных денег для своих любимцев. Он давал им все, что те требовали. И хорошие ребята становились врачами.

Жил в Дебальцеве молодой паренек, помощник машиниста, а в свободное время этот помощник играл вратарем своей «деповской команды». И вдруг этого вратаря по специальному приказанию начальника отзывают в управление дороги и ни с того ни с сего назначают инженером. У юнца кружится голова. Он требует повышенного оклада. Ему дают. Требует премий. Премиируют. Паренек не хочет жить в общежитии, требует отдельную квартиру. Начальник службы, к которой прикомандирован новоиспеченный «инженер», пробует пристыдить его.

— Трудно у нас с квартирами, — говорит он. — У меня семейные люди стоят на очереди, живут за пятьдесят километров от города.

— Ну что ж! Не дадите, не буду играть!

Начальнику службы хочется взять зазнавшегося мальчишку за ухо и выставить его за дверь. Но тут появляется на сцене Яков Николаевич. Начальник дороги

снимает с очереди семейного инженера и отдает его квартиру «незаменимому» футболисту. Он полон надежд, этот начальник: когда-нибудь молодцы из его команды осияют на зеленом поле стадиона харьковский «Локомотив».

1950 г.

Со спичкой вокруг Солнца

По всей территории огромного гаража гулко разнесся голос диспетчера:

— Петров!

— Здесь.

Диспетчер машинально выписывает мне путевой лист и говорит:

— Будешь работать сегодня на «Живописной фабрике».

— Есть!

Теперь бы только выехать из гаража. Но у ворот стоит контролер. Он видит сквозь стекло кабины незнакомого человека и подымает руку. Мне делается не по себе. А вдруг бдительный страж возьмется за проверку документов, и так хорошо начавшийся рейс закончится разоблачением. Но бдительность вахтера не идет так далеко.

— Вижу, вижу, стажер! — говорит он и дружески машет рукой. — В добрый путь!

Сегодня я и в самом деле выступаю в роли шофера-стажера. А шофер-наставник, то есть настоящий шофер Петров, сидит в кабине рядом со мной, за рулем. От гаража на Сухаревке до «Живописной фабрики» всего пять километров. Несколько минут езды, и мы останавливаемся у цеха рекламных стендов. К нам в машину грузят художественную продукцию фабрики в образе милой, славной девушки, по возрасту школьницы-десятиклассницы. Местные живописцы заставили эту школьницу поднять в рекламных целях наполненный шампанским бокал и лихо заявить во всеуслышание: «Я пью только шампанское!».

Вслед за первой к нам в машину погрузили еще дюжину десятиклассниц все с тем же застывшим криком на устах: «Я пью только шампанское!»

Ни шоферу-наставнику, ни шоферу-стажеру не полагалось входить в обсуждение достоинств и недостатков художественной продукции «Живописной фабрики».

Посему мой наставник только сплюнул и, включив газ, отправился украшать торцы московских домов рекламным браком.

На следующий день мы получили путевой лист уже не на «Живописную фабрику», а в строительно-монтажное управление.

Несколько взмахов стрелы подъемного крана — и мы мчимся по шоссе к дому-новостройке с тяжелыми бетонными плитами.

— Вира помалу! — кричит сверху бригадир, и плиты одна за другой поднимаются на третий этаж, чтобы лечь там полом в чьей-то будущей квартире.

Наша машина совершает по шоссе регулярные рейсы. На склад и обратно. Хотя смена у нас нелегкая, и шоферу-наставнику и шоферу-стажеру радостно от того, что они оба участвуют в большом и веселом строительстве столицы.

— Дай, боже, чтобы так каждый день, — говорит Петров.

Но боже не внемлет нашей просьбе. На следующий день диспетчер посылает машину Петрова в распоряжение нового клиента. Не СМУ, а отдела снабжения «Светокомбината».

Мы приезжаем на комбинат, но вместо того, чтобы сразу стать под погрузку, машина останавливается у закрытых ворот фабрики и ждет, когда появится работник отдела снабжения. Мой напарник привык к таким ожиданиям, и у него в кабине лежит про запас пухлый том какого-то романа. Чтение продолжается с 8 до 12. Наконец в полдень к нашей машине подходит басовитый молодой человек.

— Едем!

— А где груз?

— Под мышкой.

Молодой человек говорит и показывает на три буквы «О», сделанные из стеклянных трубочек. Веса в каждой

букве не больше килограмма, и тем не менее из-за этого самого килограмма наша четырехтонная машина пересекает чуть ли не весь город. Сначала Петров везет нас в сторону Таганской площади, чтобы дать возможность молодому человеку сменить на неоновой вывеске магазина «Молоко» вышедшую из строя букву «О». Затем машина спускается к центру, и молодой человек меняет во втором магазине «Молоко» вторую букву «О». И, наконец, где-то в районе Калужской площади мы останавливаемся еще у одного магазина «Молоко», меняем еще одно «О» и возвращаемся обратно. До конца смены два часа, а на горизонте ни новых молодых людей, ни новых «О».

— Теперь придется позагорать, — говорит шофер-наставник и углубляется в свою книгу.

А шофер-стажер еще на что-то надеется и бежит в отдел снабжения. Но увы! В стеклянном алфавите «Светокомбината» на сегодня исправных буквиц больше нет, и наша машина оказывается на вынужденном приколе.

— Ну и клиент, черт бы побрал его! Сколько же мы заработаем сегодня!

— Рубль семьдесят, — говорит Петров.

— Всего! Но зато вчера....

— А вчера мы заработали еще меньше — всего полтора рубля.

— Как полтора? Вчера же мы сделали десять рейсов и перевезли 35 тонн груза...

Оказывается, при той системе оплаты, которая существовала в некоторых автохозяйствах Москвы, перевезенные тонны решающего значения не имеют. Главное здесь километры. «Плечи» наших вчерашних прогонов были узкими. От склада до новостройки всего два километра, в результате за десять рейсов мы сделали только сорок километров. А вот сегодня наша четырехтонка проехала с тремя «О» пятьдесят, поэтому мы и заработали сегодня больше. Абсурд, а не система оплаты. Может быть, для учета работы такси такой подсчет и логичен, но ведь мой наставник работал не на такси, а на грузовой машине.

Полтора рубля за смену! А директор Белов гарантировал мне пятерку, только приступай к работе.

— У нас среднемесячная по гаражу — полторы сотни, — говорил он.

— Насчет среднемесячной он не соврал, — сказал Петров. — Только эта средняя получается не от честной работы, а он накрутки.

Петров сунул спичку под щиток приборов, и спидометр тут же на моих глазах начал с непостижимой быстротой отсчитывать километры. Пятьдесят... семьдесят пять... сто... сто пятьдесят... двести...

— Теперь хватит, — сказал наставник.

— Как, вы и вчера крутили спидометр?

— И вчера и позавчера.

Шофер Петров накручивал спидометр не один, а с помощниками. Пока мы стояли у ворот комбината на приколе, предупредительные снабженцы записали нам в путевку две ездки в село Запрудню. А вчера Петрову были приписаны две мифические ездки в Пушкино, позавчера — в Подольск. Мы перевезли три буквы «О», а плановики автобазы написали: «Сделано три рейса». Затем три было умножено на четыре (машина-то четырехтонная), в результате у Петрова получился приличным не только километраж, но и тоннаж. Снабженцы ставили свои подписи под липой не только из доброго отношения к шоферам. Попробовали бы работники СМУ не написать нам вчера в справке «сделано двести километров», гараж не дал бы им в следующий раз машины.

— Вы не умеете правильно использовать грузовой транспорт.

И вот мы с липовой справкой возвращаемся вечером домой. У ворот гаража каждую машину встречает контролер. Он смотрит на спидометр, спрашивает:

— Сколько горючего осталось в баке?

— Три литра, — говорит наставник.

И говорит неправду. При двух поездках в Пушкино бак у нас должен быть пустым, а там больше ста литров бензина. Контролеру нужно только сунуть в бак щуп, и мы будем разоблачены. Но контролер знающе улыбается нам и пишет в путевке столько, сколько назвал ему Петров. Петров рулит машину к бензоколонке.

— Поля выручит, сбалансирует бензин.

А Поля, как увидела нас, так замахала руками.

— Не могу, не просите. Я уже сбалансировала сегодня полторы тонны.

Поля — честная, добропорядочная женщина. Ей жалко горючее. Поля думает: «Пусть шоферы сливают остатки лучше в государственные баки, чем в канализацию». Но перебарщивать с этим тоже нельзя. А что, если ОБХСС устроит замер в баках, ее же отдадут под суд!

Мой наставник поворачивает машину на мойку, а я все еще не знаю, куда он денет излишки. Другие шоферы продают бензин владельцам частных машин по цене в три раза меньше государственной. Петров не занимается торговлей. Он обычно отвозит излишки на одну из московских окраин и сливает их в овраг неподалеку от местной пожарной команды. Почему именно здесь?

— Бензин — штука горючая, — объясняет Петров. — Если мои остатки воспламятся, то пожарные рядом быстро затушат.

Петров понимает, что поступает варварски, преступно. Он не раз просил свою дирекцию разрешить Поле забирать у шоферов все остатки. Директор притворяется удивленным:

— Остатки, а откуда они у вас?

В гараже все хорошо знают откуда. И тем не менее играют друг с другом в прятки: шоферы — со спидометром, клиенты — с шоферами, администрация гаража — с клиентами. Петрову в конце концов надоела эта игра, и он написал в редакцию «Правды» письмо.

«Помогите. Я не хочу больше жульничать: подкручивать спидометр, сливать в овраг бензин. Но у меня жена, дети, я должен иметь гарантированный среднемесячный заработок. Научите, что делать?»

Мы показали письмо Петрова работникам городского управления ОБХСС, и те нам сказали:

— Петров пишет правду. Этому безобразию давно нужно положить конец.

— Каким образом?

— Заменить покилометровые нормы новыми.

И ведь такие нормы уже есть. Они давно утверждены правительством, а руководители автохозяйств их игнорируют. Почему?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, фельетонист превратился по совету шофера Петрова на время в шофера-стажера. И вот, поездив неделю с шофером-наставником, шофер-стажер приходит для откровенной беседы к директору гаража Белову.

— Да, подкрутка — это зло, — соглашается директор, — положить конец этому злу могут только новые нормы. Я уже писал об этом, сигнализировал.

— А зачем директору писать, сигнализировать? Возьмите и введите новые нормы в действие.

— Да, но... — мнется Белов.

И тут выясняется, что администрация гаража только на словах за новые нормы, а на деле она предпочитает ездить «на липе». Почему? Да потому, что это выгодней. Чем больше накручивается на спидометр километров, тем выше процент прогрессивки у административно-технических работников. Судя по отметкам в путевых листах, грузовые машины гаражей «Автодормехбазы» совершили в прошлом году полный кругооборот вокруг Солнца, и не на космических ракетах, а только с помощью обычной спички, сунутой под щиток спидометра. Грузовые машины кружат во вселенной не только с тремя неоновыми буквицами, но и с прошлогодним снегом и с прошлогодней водой.

Кстати, этой воды, по тем же среднепотолочным данным, вылито за прошлое лето поливальными машинами «Автодормехбазы» на московские улицы больше, чем протекло ее мимо стен столицы по Москве-реке за два последних года.

В том же прошлом году «Автодормехбаза» сделала еще один рекордный кругооборот, премировав десять раз подряд каждого административно-технического работника своего большого автохозяйства — от дежурного диспетчера Поли до директора Белова.

— Теперь вам понятно, где зарыта собака? — спросил шофер-наставник шофера-стажера и добавил: — Только у меня к вам просьба. Вы писать про наши дела пишите, а мою настоящую фамилию не указывайте. Мне тогда в этом гараже больше не работать.

Душечка

Евгению Викторовичу Вуколову (назовем художника этим именем) поручили большую работу — сооружение памятника. И первой, кого Евгений Викторович включил в свой творческий коллектив, была С. С. Козеинова.

— А она кто? Скульптор?

— Нет, — сказал Вуколов.

— Архитектор?

— Тоже нет!

— Тогда, очевидно, инженер?

— Да нет, Козеинова — моя жена, и я хочу назначить ее своим ближайшим помощником.

— Ближайший помощник скульптора должен уметь лепить.

— Да, конечно, — согласился Вуколов.

И, хотя его жена лепила очень скверно, Евгений Викторович все же включил ее в бригаду.

— Я записал ее в список для видимости, — оправдывался потом Вуколов.

Но Козеинова не желала числиться в бригаде только для видимости. Когда памятник был воздвигнут, она потребовала, чтобы ее записали и во второй список — на получение премии.

— Зачем зря писать? Тебе премии не дадут, — сказал муж.

— А ты похлопочи, добейся!

И Вуколов ходил из одной инстанции в другую и хлопотал:

— Представьте Козеинову к награде.

— За что? За какие заслуги? — спрашивали Вуколова.

— Она помогала мне добрыми советами.

— Так вы преподнесите ей за это коробку конфет или флакон духов.

Коробка конфет, однако, никак не устраивала жену скульптора.

— Ничего, — сказал она, — в следующий раз мы будем умнее.

— Как, неужели я должен и впредь называть твое имя в числе своих ближайших помощников? — испуганно спросил муж.

— Непременно. Причем мое имя будет теперь писаться рядом с твоим. Не «Вуколов при участии Козеиновой», а через дефис «Вуколов-Козеинова». Так подписывали свои произведения Римский-Корсаков, Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк...

— Мамин был один. Он сам писал, сам и подписывал.

— Ну нас тоже не двое, — сказала Козеинова и пояснила: — Ты же сам часто говоришь про меня: «Знакомьтесь: моя половина».

— Какая половина? Семейная! Вот ежели бы ты была скульптором!

— Так научи меня.

— Учеба потребует многих лет.

— А ты возьми и придумай для жены какие-нибудь ускоренные курсы.

И Евгений Викторович придумал. Это были даже не ускоренные, а какие-то скорострельные курсы. Сначала С. С. Козеинова вылепила человеческое ухо — большое и неправдоподобное, размером с блюдо. Затем она создала из глины глаз, который был похож на второе блюдо из того же сумасшедшего сервиза. Потом появился на свет нос и, наконец, губа.

— Ну вот, учеба окончена. Теперь мне следует испытать свои силы на поясном портрете с натуры, — сказала Козеинова.

Муж пробовал урезонить супругу: какой, мол, еще там поясной портрет, когда вылепленное тобою блюдо-ухо никак не отличить от блюда носа. А жена ни в какую: хочу лепить натуру, и только.

В эти дни сам Вуколов должен был начать работу над скульптурным портретом знатного хлопкороба. Этот портрет предназначался для Всесоюзной художественной выставки. Однако натиск жены был таким мощным, что Евгений Викторович не выдержал и сказал:

— Хорошо, давай лепить вместе.

Так в течение месяца в мастерской Вуколова были закончены два портрета. То, что слепилось у Козеиновой, было, конечно, самой заурядной любительской работой. В изокружках такие работы лепятся для практики десятками и потом без сожаления отправляются в

сарай или на чердак. Козеинова высказалась против чердака. Она решила попытать счастья на художественной выставке.

— Мы пошлем мою работу вместо твоей, — заявила она мужу.

Муж от удивления развел руками.

— Со мной делай, что хочешь, — сказал он жене, — но пожалей хлопкороба.

Но С. С. Козеиновой было не до жалости. Она уже видела свое имя в каталоге выставки, причем уже без дефиса: «Автор С. С. Козеинова».

«А чем черт не шутит, — думалось ей, — может, моя работка и проскочит».

Но работка не проскочила. Жюри забракowało бюст хлопкороба за антихудожественное исполнение. Решение жюри, однако, не отрезвило Козеинову, и она послала своего супруга в выставочный комитет:

— Иди, бей челом председателю, доказывай, что твоя жена — самобытное дарование! Ты лауреат, член Академии художеств, тебе они поверят.

И муж пошел и бил челом.

Члены выставочного комитета встретили приход Вуколова улыбкой, а председатель, чтобы не обижать академика, сделал его жене поблажку:

— Ладно, включите ее работу в каталог и поставьте куда-нибудь подальше в угол.

Но Козеинова не пожелала подвизаться в искусстве на положении углового жильца. Ее тянуло на авансцену. К этому скоро представился подходящий случай. Академику Вуколову поручили возглавить бригаду скульпторов и начать работу по созданию монументального рельефа, посвященного героическому прошлому советского народа. Это была большая и сложная работа размером в девяносто квадратных метров. Козеинова предъявила мужу ультиматум:

— Включай и меня в бригаду!

— Кем, помощником?

— Нет, теперь уже соавтором!

Вуколов и на этот раз назвал в числе авторов рельефа наряду с опытными, известными мастерами и имя своей супруги. Как знать, если бы эта супруга вела себя поскромнее, может быть, и теперь ее мнимое уча-

стие в работе бригады прошло бы незамеченным. Но, увы, дальний угол художественной выставки вскружил голову Козеиновой. Она возомнила себя зрелым скульптором и стала вмешиваться в работу руководителя бригады. Любое предложение мужа жена встречала в штыки. Обстановка в мастерской приняла такой характер, что муж в конце концов не выдержал, хлопнул дверью и уехал в Киев.

— Или ты, или я!

— Хорошо, — ответила, не растерявшись, жена, — уезжай, я сама возглавлю бригаду.

Неудавшийся мастер скульптуры оказался непревзойденным мастером интриги. Козеинова сумела сбить с толку нескольких членов бригады, и те принялись под ее руководством перекраивать композицию рельефа. И перекроили. Руководитель бригады возвращается домой и видит: многолетний труд испорчен. Чаша терпения переполнилась, и взбешенный супруг выставил свою сумасбродную половину из мастерской:

— Довольно, хватит!

«Половина» бросилась за помощью в художественно-экспертный совет, потом в Академию художеств.

— Вуколов портит мою композицию!

И хотя обе эти авторитетные организации пытались доказать Козеиновой, что ее муж не портит, а исправляет ею же исковерканную работу, она продолжала спорить и жаловаться. Козеинова пришла и к нам:

— Вуколов не имеет права игнорировать мои творческие предложения. Искусство — это моя жизнь.

— С каких пор?

Из ответа выясняется, что когда-то давно Козеиновой нравилось не искусство, а экономика, и она поступила даже в Институт народного хозяйства. Но экономистом не стала. Первый муж Козеиновой был начальником строительства, и жена решила быть похожей на него. Но настоящим строителем она тоже не стала. Почему? По чьей вине?

— Я вышла замуж во второй раз, за Вуколова, и увлеклась скульптурой.

Я слушаю Козеинову, и передо мной возникает образ чеховской Душечки, но в каком искаженном виде! Если та Душечка, не имея собственных достоинств,

жила интересами своих спутников по жизненному пути: сперва содержателя увеселительного сада «Тиволи» Кукина, потом управляющего лесным складом Пустовалова и, наконец, полкового ветеринарного врача Смирнина, — то эта не желает светить отраженным светом. Она хочет выходить на шумные вызовы публики сама и раскланиваться, стоя рядом с мужем. И не только рядом. Чтобы пролезть вперед, Козеинова действует уже локтями.

«За последние полгода, — пишет в своем письме Вуколов, — девять организаций занимались разбором ее заявлений. Я перестал уже лепить, я пишу сейчас только объяснительные записки».

Евгений Викторович сидит в редакции и с горечью рассказывает о происшедшем.

— Страшно, — говорит он, — когда мыльный пузырь, невежда начинает мнить себя гением!

— Правильно, страшно. А кто виноват в этом? Кто все последние годы усиленно продвигал невежду на выставки, включал ее в творческие бригады? Член Союза художников Вуколов поступался совестью художника, кривил душой, забыв, что этого в искусстве делать нельзя, даже ради самого близкого человека, даже ради Душечки!

1954 г.

Теплообмен по-приятельски

Профессор Быков пригласил к себе в кабинет профессора Ивашева и профессора Веникова и сказал:

— Подходит день рождения Букашко. Я долго думал, что подарить Михаилу Григорьевичу. Портфель, табак «Золотое руно»? Увы, все это мелко, банально. Михаил Григорьевич давно мечтает о высокой ученой степени, так давайте поможем ему защитить ко дню рождения докторскую. У меня для диссертации и тема есть на примете хорошая: «Теплообмен в капиллярно-пористых, полуограниченных средах».

— Теплообмен?

Профессор Ивашев удивленно переглянулся с профессором Вениковым и подумал: «Странно, Букашко по образованию энергетик, в институте он работает над технико-экономическими проблемами, а докторскую будет писать как теплотехник. Получится совсем как в том анекдотичном стародавнем протоколе комсомольского собрания: «Слушали: о сборе членских взносов, в прениях говорили о борьбе со свекловичным долгоносиком, а постановили: организовать волейбольную команду».

— Нет, теплообмен — это не тема Михаила Григорьевича, — сказал Ивашев. — На эту тему ему не осилить докторскую.

— Михаил Григорьевич — заместитель директора института. Наш коллега. Так почему нам не протянуть коллеге руку помощи! Я придумал, как это сделать. Первый раздел диссертации напишет Альберт Иозефович: он физик. Второй раздел — теплотехнический — помогу сочинить Букашко я. А третий — математический — поможете написать вы, Александр Васильевич. И через полгода докторская будет у нас готова.

— Господь с вами, Алексей Васильевич, — сказал Быкову Александр Васильевич Ивашев. — Да разве докторская делается на таком галопе? Люди работают над диссертацией по пять-шесть лет.

— Правильно, по пять-шесть, когда докторская пишется кандидатом наук, — сказал Быков, — если же докторскую пишет доктор, то этот срок должен быть сокращен вдвое. А за Букашко будет писать не один доктор, а три, значит, в этом случае потребуется совсем мало времени.

Альберт Иозефович Веников и Александр Васильевич Ивашев для порядка немного поспорили с Быковым, потом вытянули руки по швам.

— Есть Алексей Васильевич. Будет исполнено.

И три доктора наук обмакнули три ручки в чернильницы. Двое с безразличием писарей, а третий в порядке дружеских взаиморасчетов со своим заместителем.

И три доктора помогли сочинить диссертацию кандидату наук. Но сочинить — это было еще не все. Диссертацию следовало подготовить к защите. И Быков пи-

шет на бланке директора института уже новые распоряжения:

«Профессору Веникову! Срочно подготовить автореферат».

«Профессору Ивашеву! Срочно написать и опубликовать в «ИФЖ» — «Инженерно-физическом журнале» — статью».

И Веников готовит автореферат. Ивашев пишет и публикует в «ИФЖ» одну статью за подписью Букашко, потом вторую...

А день защиты уже назначен. Вот если бы ученый совет института разрешил выйти на трибуну вместо Букашко кому-нибудь из докторов! Но, увы, защищать диссертацию должен сам Букашко. Как быть, чтобы не осрамиться? Тогда три доктора садятся и пишут Букашко текст его доклада. Затем Быков устраивает репетицию защиты. Букашко читает заученный доклад не перед ученым советом, а перед магнитофоном, и три доктора делают на записи редакторские замечания: «Не частить», «Не путать в формулах знаков плюс и минус», «Не заикаться на уравнениях».

Так три доктора родили четвертого. И на все про все им потребовалось четыре месяца! Рекорд! Как же невозможное стало возможным? Конечно, лишь благодаря стараниям трех докторов. Диссертация Букашко писалась в институте, директором которого был Быков. Статьи за его подписью печатались в журнале «ИФЖ», редактором которого был Быков. Защита происходила в МТИПП — Московском технологическом институте пищевой промышленности, — членом ученого совета которого был Быков.

Работники Института энергетики даже не видели работы Букашко, не обсуждали ее. Диссертация писалась докторами в глубокой тайне от своих сотрудников. Чтобы избежать разоблачения, докторам наук пришлось устроить ее защиту не в Минске, а в Москве. Члены ученого совета МТИПП, большие специалисты по хлебопечению, виноделию, дрожжам и колбасам, с удивлением слушали доклад на тему о массообмене — так называлась теперь работа Букашко о теплообмене. Причем не только слушали, но и проголосовали за присвоение Букашко докторской степени. А как же иначе, ведь

об этом просил их коллега и приятель Быков! Вот было бы кстати ВАКу организовать сочинение докторской на такую злободневную тему: «Приятельский теплообмен как движущая сила при защите диссертаций».

Несмотря на тайну, с которой происходила защита докторской, сотрудники Минского института энергетики все же узнали о фокусе с присвоением Букашко докторской степени, и кто-то из научных работников послал протестующее письмо в ВАК. А там не нашли ничего лучшего, как послать этот протест Быкову. Ведь он член экспертной комиссии ВАКа.

— Разберитесь и пришлите ответ.

И Быков, недолго думая, ответил: «Факты не подтверждаются», — а сам тут же вызвал к себе в кабинет профессоров Ивашева и Веникова и сказал:

— Нам придется еще раз протянуть руку помощи...

— Кому, Букашко?

— Нет, одному очень нужному человеку, Владимиру Сергеевичу Герчакову. Владимир Сергеевич — заместитель председателя республиканского Госплана, он очень хочет получить ученую степень.

Профессор Ивашев снова переглянулся с профессором Вениковым, и снова профессора макнули перья в чернильницы.

Чтобы создать нужному человеку научный престиж, Быков поспешил назначить его по совместительству заведующим одной из лабораторий института. За это ответственный совместитель выделил в распоряжение института легковую машину. И тут, словно по мановению волшебной палочки, в «ИФЖ» стали одна за другой появляться статьи за подписью Герчакова. Научная слава Владимира Сергеевича росла, хотя никаких статей Владимир Сергеевич не писал. Правда, иногда он вызывал кого-нибудь из профессоров к себе и спрашивал:

— Доложите, что я пишу в следующий номер «ИФЖ».

— Статью, Владимир Сергеевич, «Применение полиномов Лягерра к решению телеграфных уравнений».

— Простите, а это что такое?

— Полиномы — это многочлены... Про них написано в учебниках. Вам прислать?

— Да нет, вы уж сами разбирайтесь. Только смотрите не спутайте чего-нибудь, не осрамите.

Три доктора провели Герчакова в кандидаты наук за три с половиной месяца. Да и как было не провести, если на каждом перекрестке Герчакову открывал путь все тот же знакомый нам регулировщик — Быков, директор института. Быков — редактор журнала, Быков — член экспертной комиссии ВАКа. А если учесть, что Алексей Васильевич был членом еще многих других ученых советов, то мы могли бы предложить ВАКу еще одну тему для злободневной диссертации: «Роль многочлена при прокладке зеленой улицы в науке».

Что касается Герчакова, то он хорошо понял эту роль и, выделив в распоряжение института вторую машину, завел речь уже о докторской диссертации.

— Как, сразу после кандидатской?

— А зачем же медлить? — сказал Герчаков трем докторам наук. — Первую часть моей диссертации напишет Альберт Иозефович: он физик, вторую — теплотехническую — Быков возьмет на себя, а третью мы поручим Ивашеву.

Но нужному человеку Герчакову не повезло. Его сняли с ответственной работы в Госплане, и он перестал интересоваться руководителями Института энергетики.

— Не будем тратить времени на докторскую Владимира Сергеевича, — сказал Быков. — Давайте лучше протянем руку помощи А. И. Нагалину.

На этот раз и Ивашев и Веников категорически отказались сочинять диссертацию за Нагалина. Больше того, оба профессора нашли в себе мужество прийти в Президиум Академии наук Белорусской ССР и рассказать о тех безобразиях, в которых они участвовали вместе с Быковым.

— С кем? С Алексеем Васильевичем? Не может быть. Алексей Васильевич — хороший ученый.

— И тем не менее...

— Давайте проверим.

— Давайте.

Проверили. Жалоба подтвердилась. Работников Белорусской академии возмутило поведение как самого Быкова, так и двух его помощников — Веникова и Ивашева, однако никто из виновников наказан не был.

— Это может подорвать престиж института. А там очень успешно идет воспроизводство научных кадров.

— Каких кадров? В этом институте, как показывает практика, занимаются производством мыльных пузырей в науке.

А эти пузыри живут, к сожалению, значительно дольше обычных, и не только живут, но и сживают со света тех, кто критикует, разоблачает их. Ивашев и Веников довольно быстро почувствовали это на себе. Достаточно только было им отказать в «помощи» Нагалину при сочинении научной работы, как Быков тут же предал их анафеме. А фальсифицированный доктор наук Букашко взял даже под сомнение научную эрудицию Ивашева и Веникова и поставил вопрос о лишении их профессорских званий.

Академия наук Белорусской ССР отклонила домогательства Букашко и направила обоих профессоров для работы в другие институты. Что же касается Института энергетике, то тут пока все остается по-прежнему. Здесь с той же силой продолжается производство мыльных пузырей и к тем прошлогодним примерам прибавляются свежие. В том же году появился автореферат А. И. Нагалина. Интересно, кто на этот раз написал диссертацию нужному человеку Нагалину?

1959 г.

Не те наследники

Гога в большой претензии к Министерству культуры. Он сердится, ссорится — и все из-за наследства. Что же не поделил Гога с работниками министерства? Шкафы, ковры, стулья, шифоньеры? Оказывается, нет. Спор у Гоги идет о памятнике, высеченном из красного гранита и посвященном одному из героических эпизодов первых лет становления Советской республики. Сам Гога не имеет никакого отношения ни к событиям, о которых рассказывает памятник, ни к работе над ним. Над созданием памятника работал отец Гоги — большой совет-

ский скульптор. Скульптор несколько лет назад умер, и памятник вместо того, чтобы стоять в городе, для которого он предназначен, стоял в Москве, в Измайлове, во дворе дома, где жил Гога. Почему? Нам говорят:

— У Гоги финансовая недоговоренность с Министерством культуры.

Позвольте, при чем здесь финансы? Незадолго до смерти скульптор Меркуров обратился со специальным письмом к правительству, в котором писал:

«Находясь в преклонном возрасте, считаю целью своей жизни отблагодарить Советскую власть за все, что она для меня сделала...»

И именно в знак этой благодарности скульптор принес в дар советскому народу свою последнюю большую работу. Так за что же хочет получить деньги Гога?

— Как за что? Памятник нужно было караулить. Его же могли похитить, украсть, — говорит нам Владимир Ефимович Жуков — штатный хранитель Гоголиного наследства (вот даже какую должность создал при своей персоне наследник!).

И хотя в Москве за последние сто лет не было еще ни одного случая кражи гранитных, многофигурных памятников, Министерство культуры решило заплатить деньги. Пусть только скажет сколько.

— Две тысячи пятьсот рублей, — сказал вместо Гоги хранитель его наследства. — Но это округло, копейки разрешите подсчитать позже.

Министерство культуры разрешило, но сказала:

— Подсчитывайте быстрее. Через два месяца мы хотим отправить памятник на место его установки.

Но ни через два месяца, ни через полгода памятник так никуда и не был отправлен. И все из-за финансовых недоговоренностей.

— Как, опять недоговоренность? Вы же сами просили две тысячи пятьсот рублей.

— Это была округленная сумма, — сказал хранитель Жуков. — А сейчас Гога подсчитал копейки и хочет получить не 2 500, а 7 500 рублей...

Работники Министерства культуры возмутились и тем не менее решили заплатить требуемую сумму.

Однако и на этот раз памятник не удалось отправить из Москвы, ибо наследник еще дважды округ-

лял копейки. Один раз это округление было доведено до двадцати тысяч рублей, а второй — он составил калькуляцию на пятьдесят тысяч.

— Что делать? — оправдывается штатный хранитель Жуков. — Гога не единственный наследник. Их у скульптора пять, и все требуют своей доли.

Это заявление было клеветой на наследников. Жена скульптора Татьяна Антоновна и его младший сын, Федор, не участвовали в безобразном торге. Они сразу заявили: «Воля покойного для нас священна. Мы отказываемся от получения какой бы то ни было оплаты». А вот Гога, или иначе Георгий Сергеевич, и его две сестры, Марина Сергеевна и Ариадна Сергеевна, продолжают порочить память отца.

Между тем приготовления к установке гранитного памятника, о котором наследники ведут спор уже давно, идут полным ходом. Для этого перепланируется самая большая площадь города Баку. По-новому будут здесь разбиты цветники, посажены деревья. Нет ясности только в одном, в главном: что же будет с памятником? А памятник по-прежнему стоит во дворе дома, в котором живет Гога. Гога получил уже немало писем от жителей Баку. Ему пишут рабочие, служащие. Его пробуют пристыдить друзья покойного отца — московские скульпторы и живописцы. Но наследник ни с кем не говорит, никому не отвечает на письма. Пять раз его приглашал зайти для разговора заместитель министра культуры, и Гога не пришел к нему.

— Некогда, — говорит хранитель Гогоино наследства, — Георгий Сергеевич ведет большую научную работу в Институте права, читает студентам лекции.

Я не поленился и пошел в Институт права, чтобы встретиться с Гогой. А в институте мне говорят:

— Какая работа, какие лекции? Георгий Сергеевич очень редко поднимается на преподавательскую кафедру.

— Что же он делает?

— Живет в свое удовольствие. Вы разве не знаете? Гога — жуир. Он сладко ест, сладко пьет. Ухаживает за красивыми женщинами.

— И такая пустельга распоряжается художественным наследием отца?

— Что делать?

Работники Министерства культуры пытались отправить гранитный монумент из Москвы без Гоголиного разрешения. А юристы запротестовали:

— Нельзя.

Оказывается, дар скульптора еще вовсе не дар, если он не оформлен через нотариальную контору. А скульптор не успел выполнить все требуемые формальности, и вот теперь наследник делает, что хочет.

Несколько лет назад профессор К. женился на молоденькой соседке Люсе. Не будем осуждать ученого за позднюю любовь, тем более что счастье ученого было недолгим.

После смерти профессора остались рукописи, большая библиотека по тем вопросам химии, которыми занимался ученый, картотека. И книгами и картотекой свободно пользовались все сотрудники института. Но это только до тех пор, пока ученый был жив. Как только ученого похоронили, молодая вдова сразу же заявила:

— Все! Довольно! Деньги на бочку!

Причем запросила она этих денег такое количество, которое не вместились ни в одну смету.

— Жметесь, — сказала вдова. — Хорошо, я найду других покупателей.

И вот уникальная, в течение многих лет собранная библиотека стала разбазариваться. Книги продавались штуками. Работники института завопили:

— Караул! Угмоните вдову Люсю.

А юристы отвечают:

— Не имеем права. Вдова Люся — законная наследница профессора.

Мы ничего не имеем ни против законных наследников, ни против законных наследниц. Пусть молодые вдовы владеют на здоровье гардеробами, коврами, шифоньерами. Пусть великовозрастные сыны и внуки живут на папиных дачах и ездят в дедушкиных машинах. Но что касается научного и художественного наследства, то их судьба не должна зависеть от капризов детей и жен покойных. Будущее неопубликован-

ной рукописи и не поставленного на пьедестал памятника должны определять комиссии из компетентных лиц. Нам могут сказать, что там, где наследниками ученых и художников являются нормальные советские люди, это так и бывает. Правильно, но среди наследников, как это мы видим, есть и ненормальные: невежды, барышники, хлыщи.

— Что делать! — говорят юристы. — Мы вынуждены терпеть и таких.

В наших законоуложениях есть хорошие статьи о праве наследования. По-видимому, пришло время Верховному суду дать к этим статьям специальное разъяснение: если научно и художественно значимые ценности, полученные в наследство, используются их владельцами спекулятивно, эти ценности могут быть изъяты. С помощью такого разъяснения легче будет защищать труды хороших отцов от торгашеских вождений их негодных наследников. Легче будет выполнить тогда и последнюю волю С. Д. Меркурова — помочь гранитному монументу переехать наконец из Измайлова в город, для которого он предназначался скульптором.

1958 г.

Сколько стоит рябчик?

В тот день Александр Григорьевич не принимал никого. Ни чужих, ни своих. Несмотря на запрет, один из начальников цехов попробовал открыть закрытую дверь.

— У меня срочное дело.

— Отложите, — сказала секретарша, — Александру Григорьевичу сегодня не до ваших дел.

— Что, опять Акбар?

— Опять.

Начальник цеха с досады плюнул и ушел, поминая недобрым словом Акбара. А сам Акбар даже не знал, что на его голову в этот день сыплются проклятия. Да и откуда ему было знать? Акбар — это симпатичный,

но дурашливый пес. Ему всего-навсего четыре месяца от роду. Вчера по молодости лет Акбар сделал глупость — проглотил жука, и ночью у него начались желудочные колики. Будь Акбар обыкновенным щенком, колики через день-другой прекратились бы сами собой. Но Акбар, увы, принадлежал директору завода, и директор поднял заурядный щенячий недуг до степени чрезвычайного происшествия. Директор нервничал сам и нервировал сотрудников заводоуправления, ветеринарных врачей, членов своей семьи. Домашние обязанности были каждый час звонить ему на завод, информировать о ходе лечения.

— Акбару прописано слабительное, — шепотом докладывалось на ухо директору в самый разгар диспетчерского совещания.

— Акбару сделан согревающий компресс, — слышал директор шепот по телефону, когда отправлялся с обходом по цехам.

В тот день, когда был проглочен злополучный жук, директор завода собственноручно составил и направил в заводскую столовую меню для своей собаки. На первое — габер-суп, на второе — телячий хрящик.

Весь город потешался над собачьими увлечениями Александра Григорьевича. А эти увлечения были у него не единственными. Немало хлопот окружающим доставляли охотничьи причуды директора. Обычно дня за два до тяги на заводе поднималась суматоха. Работы хватало всем: один лил дробь, другой смазывал салом болотные сапоги, третий коптил сосиски, четвертый разливал по флягам охотничьи настойки. Сборы шли основательные. Шутка ли, директор собирался охотиться на Убинском озере, а это в трехстах километрах от завода!

Обычно директор уезжал на охоту в субботу, а в пятницу отправлялись вперед егеря и квартирьеры. Первые — выследить для Александра Григорьевича дичь, вторые — позаботиться о его ночлеге. Вслед за квартирьерами на озеро откомандировывалась легковая машина. Сам же охотник отправлялся бить уток в скором поезде. Он ехал со всеми удобствами, в мягком вагоне. Ночью лег спать, а утром уже на месте. От станции до озера несколько километров. Их, конечно,

можно бы на зорьке пройти своим ходом, но Александру Григорьевичу ходить пешком мешают спесь. Ему хочется подъехать к уткам солидно, как подобает человеку его ранга. Поэтому он и распорядился подать себе «Победу» за триста километров от завода.

Но вот наконец и озеро. Весело потрескивает костерок, заботливо разведенный квартирными. Из ягдташей извлекаются наружу копчености, раскупориваются фляги. Сначала одна, затем другая. В голове начинается шуметь. И тогда егеря берут именитого охотника под руки и ведут его к зарослям. Дичь, оказывается, уже выслежена, и директору остается только выстрелить. Александр Григорьевич лично нажимает курок, и ему приносят убитого селезня. На радостях устраивается привал. Разжигается новый костерок, откупоривается еще одна фляга, после которой Александр Григорьевич подает команду:

— На рябчиков!

Александр Григорьевич решает бить рябчиков прямо с машины. Шофер протестует. Но что значит протест шофера для вошедшего в раж охотника? Александр Григорьевич ссаживает шофера и сам садится за руль. Он гонит машину, не глядя на ямы и кочки. Охота оканчивается аварией. Директору ничего, а машина разбита. Егеря снова берут Александра Григорьевича под руки и приводят его на станцию. Они сажают нашкодившего охотника в обратный поезд, а сами остаются с шофером караулить разбитую машину. Через день за этой машиной отправляется с завода грузовик. Дорога на Убинское озеро тяжелая, и грузовик, расплавив подшпипники, не доходит до места аварии. И тогда директор откомандировывает к месту своей охоты на тягаче спасательную экспедицию из слесарей, грузчиков и механиков, чтобы доставить в город останки двух застрявших машин. [Трудно даже подсчитать, во сколько обходится заводу каждый рябчик, убитый директором.

Александр Григорьевич не только охотник, но и рыбак. А свои выезды на рыбалку директор обставляет с не меньшей торжественностью. Сначала отправляются разведчики искать места, где идет клев. Вслед за ними едут квартирные с копченостями и фляжками. Затем

следует сам рыбак, а за рыбаком на специальной платформе везут лодку. Это на всякий случай. А вдруг Александр Григорьевич выразит желание покататься по озеру?

Директора завода не раз вызывали в партийный комитет, предупреждали, просили уговориться. А директор на эти просьбы — ноль внимания. Лишь только дело близится к субботе, он снова отправляет егерей и квартирьеров в дальние экспедиции.

Александр Григорьевич Лагутин учился в советской школе, в советском вузе, а вот поди ж ты, повадки у этого любителя охотничьих экспедиций и автора-со-ставителя собачьих меню какого-то одичавшего барина. Кстати, о собаке. Когда Акбар подрос, Александр Григорьевич распорядился дважды на день подавать ему из заводского гаража машину. Утром Акбар ездил на прогулку в Бугринскую рощу, а после обеда отправлялся в директорском лимузине на свидание к гончей Зойке, роману с которой всячески покровительствовал Александр Григорьевич.

— Вези, — говорит директор шоферу, — пусть Акбар обнюхается, обменяется с любимой дружеским лаем.

Говорят, Лагутин — жертва охотничьих увлечений. Увы! Это не увлечение, а скорее перерождение.

1953 г.

Молочная сестра

Эльза была обыкновенной буренкой и ничем примечательным среди других представителей семейства жвачных парнокопытных не выделялась. Ни удои-ностью, ни статью. И вдруг Эльзу экстренно стали скре-сти и чистить, готовя к дальнейшему переезду — из Бар-наула в Саратов, и все это якобы по приказу свыше.

Приказ свыше был, но касался он не Эльзы, а ее владельца — Евсея Григорьевича Гридашева. А Евсей Григорьевич поставил ультиматум:

— Без Эльзы я не поеду к месту новой работы.

— Везти корову за три тысячи километров? — удивились домашние. — Да во сколько же нам обойдется этот переезд?

— А мы повезем ее на казенный счет.

— Каким образом?

— Очень простым. Она поедет с нами как член семьи.

Член семьи, но какой именно? Назвать Эльзу дальней родственницей? Но на дальнюю никто не даст Гридашеву подъемных и проездных. Везти с собой корову в качестве названной тещи — это значит навек рассориться с тещей настоящей.

— Ах, будь что будет! — сказал Гридашев и представил Эльзу своей сестрой.

Домашние узнали и подняли бунт.

Чтобы не ссориться с домашними, Евсей Григорьевич решил везти Эльзу в Саратов в отдельном вагоне. А так как Евсей Григорьевич был в городе лицом значительным — уполномоченным Министерства заготовок, то начальник станции Барнаул не стал ему перечить.

— Вот вам отдельный вагон, — сказал он, — сажайте в него свою Эльзу, и мы отправим ее в Саратов малой скоростью.

— То есть как «малой»?

Евсей Григорьевич попробовал устроить начальнику станции скандал. Не помогло. Тогда он обратился за помощью в Министерство заготовок. И ему помогли. Начальнику станции пришлось прицепить отдельный вагон к скорому поезду. Но тут неожиданно заупрячилась жена Гридашева.

— Ты как хочешь, — заявила она мужу, — а я в одном вагоне с коровой не поеду.

И Евсею Григорьевичу пришлось взять для членов семьи билеты в мягком вагоне, а ее, дорогую и любимую Эльзу, везти в отдельном, в конце поезда.

Скорый поезд прибыл наконец к месту назначения. Новый уполномоченный был встречен сотрудниками АХО Саратовского управления Министерства заготовок и препровожден на место временного жительства в гостиницу. Все как будто было хорошо, однако сотрудников АХО смущало одно обстоятельство — некомплектный состав семьи Гридашева. Сотрудники были уже на-

слышаны про сестру Евсея Григорьевича — Эльзу. А ее среди прибывших как раз и не было. Где же она?

Вопрос об Эльзе беспокоил не только встречавших, но и самого Гридашева. Евсей Григорьевич уже с утра подумывал, как быть, что делать с буренкой. Вести ее со станции за веревку через весь город ему самому было неудобно. Ведь он как-никак уполномоченный. Может, поручить это щекотливое дело кому-то из своих подчиненных? Но кому именно? Кто из них будет настолько деликатен, чтобы сохранить в тайне историю путешествия Эльзы?

Евсей Григорьевич посмотрел вокруг, и взгляд его остановился на молодом человеке. Опытный глаз Гридашева угадал в этом человеке недюжинные подхалимские способности, и, поманив его к себе, Евсей Григорьевич шепнул:

— Поезжайте на станцию за Эльзой. Вы найдете ее в последнем вагоне.

Это небольшое поручение зародило в сердце молодого подхалима далеко идущие надежды.

«Сестра уполномоченного, безусловно, красавица», — решил он.

И для того, чтобы произвести на эту красавицу благоприятное впечатление, сотрудник АХО забежал по дороге на станцию в парикмахерскую, опрыскал себя на скорую руку одеколоном «Фиалка» и рысью понесся дальше. И вот наконец на запасных путях он видит поезд. Подбегает к последнему вагону, поправляет галстук-бабочку и нежно стучит в дверь.

— Эльза Григорьевна, это я.

И вдруг в ответ вместо мелодичного сопрано слышится грубый, протяжный голос голодной, давно не доенной коровы:

— Ммму!..

Молодой подхалим был оскорблен в своих лучших чувствах. Ему бы плюнуть да уйти, а он поступил иначе: вызвал из управления грузовую машину и повез Эльзу к месту ее нового жительства. Само собой разумеется, корова была доставлена не в гостиницу (зачем срамить уполномоченного!), а на мельзавод, который находился в подчинении у этого уполномоченного. А директор мельзавода тоже был изрядным подхалимом. Вме-

сто того, чтобы выставить и поводыря и корову за ворота, он немедленно очистил для коровы сарай и рапортовал по телефону Гридашеву:

— Все в порядке, Евсей Григорьевич!

Так с помощью подхалимов гридашевская авантюра долгое время держалась в тайне. Но вот подошел к концу отчетный год, и железнодорожники увидели, что у них дебет не сходится с кредитом. И не удивительно, ибо им никто еще не уплатил денег за провоз Эльзы из Барнаула в Саратов. Железнодорожники предъявили счет Гридашеву:

— Платите 2 500 рублей.

— За что?

— Ваша Эльза ехала в отдельном вагоне.

Гридашев — на дыбы:

— Не имеете права! Эльза — член семьи, сестра.

— У нас в инструкции про таких сестер ничего не сказано.

— Хорошо, считайте Эльзу не сестрой, считайте ее книжным шкафом. За провоз домашней мебели вы должны, согласно вашей инструкции, взыскать деньги не с меня, а с министерства.

Но Гридашеву не удалось сбить с толку железнодорожников.

— Домашнюю мебель, — говорили они, — возят не пассажирской скоростью, а малой. Это стоит в двадцать пять раз дешевле!

Несколько лет между Гридашевым и железнодорожниками шел спор, кому платить за вагон. Наконец железнодорожники передали тяжбу в суд. Гридашев понял, что теперь ему уже не выкрутиться, и стал звонить из Саратова в министерство:

— Помогите!

И Гридашеву помогли. Кто? Заместитель министра. Это он приказал работникам бюджетного отдела забрать из суда исковое заявление железнодорожников и оплатить проезд коровы из средств министерства.

Если бы гридашевская Эльза обладала даром речи, она, конечно, давно принесла бы свое коровье спасибо замминистру за его заботы о ней. Ибо только благодаря радению замминистра эта корова получила возможность, во-первых, совершить в скором поезде прият-

ное путешествие за государственный счет. И, во-вторых, жить и благоденствовать на тот же счет все последние годы: сначала на кормах мельзавода, потом — «Заготживсырья» и наконец — «Заготсена».

Повезло Эльзе в жизни. Она в таком почете у Евсея Григорьевича, что в Саратове никак не разберут, кто же при ком состоит: корова при уполномоченном или уполномоченный при корове.

1953 г.

Дорогой и многоуважаемый

Григорий Витольдович помылся, побрился и, оглядев себя в большом зеркале, остался доволен осмотром. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, заслуженный деятель искусств выглядел молодцом. Ни брюшка у него, ни мешков под глазами, прямо хоть сейчас выходи на сцену в роли героя-любownika. Чтобы размяться, Григорий Витольдович легко сделал у зеркала два подседа и три подскока и стал натягивать на ноги шелковые носки. Вслед за этим он надел легкие бальные туфли и, вытащив из стакана вставные зубы, ловким, привычным движением поставил их на место.

Григорий Витольдович не в первый раз выезжал за границу. Он представлял советских работников искусств на трех фестивалях. Заслуженному деятелю нравился тот почет, которым были окружены на этих фестивалях члены жюри. Он много и с удовольствием заседал в просмотровых комиссиях, охотно давал интервью газетным репортерам, с удовольствием расписывался в тетрадках коллекционеров автографов.

Иногда слава большого артиста начинала утомлять заслуженного деятеля искусств. Григорию Витольдовичу хотелось хоть пять минут побродить по улицам города без своего громкого имени. Зайти в кафе Дома актеров и запросто встретиться с каким-нибудь из своих коллег. Похлопать того по плечу, порасспросить коллегу, как у него идут дела, что он ставит, что думает о современном репертуаре.

Но друзья уже давненько не хлопали заслуженного деятеля по плечу. Имя Григория Витольдовича называлось теперь только в сопровождении прилагательных:

— Многоуважаемый... высокочтимый... талантливый...

В этом году Григорий Витольдович впервые поехал за рубеж не почетным членом жюри, а в составе обычной группы туристов. Здесь были рабочие, инженеры, писатели, спортсмены, профсоюзные активисты. Заслуженный деятель ходил с этими активистами по музеям и заводам Будапешта, ездил с ними на озеро Балатон, и ему никто не докучал ни с интервью, ни с автографами.

Жил Григорий Витольдович в скромной гостинице в одном номере с молодым железнодорожником, дежурным по станции Москва-товарная. С первого же дня между соседями установились милые, простые взаимоотношения. Григорий Витольдович звал молодого железнодорожника по имени — Женечка, а тот его по отчету — Витольдович. Такая простота вначале даже умиляла маститого туриста, но уже через неделю заслуженный деятель заскучал по прилагательным.

Григорий Витольдович был бы не прочь вместо очередной экскурсии на завод отправиться в гости в местный театральный клуб, объявить там свое имя и под бурные аплодисменты присутствующих взбежать на сцену навстречу ярким лучам прожекторов и софитов. И чтобы дежурный по станции Москва-товарная все это видел и оценил, чего стоит «Витольдович», с которым ему посчастливилось жить целую декаду, в одном номере.

Но местные театралы не хотели, видно, мешать отдыху маститого артиста и до поры до времени не беспокоили его. Однако как только подошел к концу срок туристской путевки, в номер к Григорию Витольдовичу пришли с приглашением представители театрального клуба.

— Дорогой и многоуважаемый!.. Сегодня в восемь...

Дорогой и многоуважаемый широко улыбнулся и посмотрел в сторону дежурного по станции.

— Наконец-то...

И вот наступило восемь. Григорий Витольдович в последний раз оглядел себя в зеркале и заспешил вниз.

Десять минут езды на машине, и заслуженный деятель вместе с Женечкой входят в светлый, высокий зал. Раздаются аплодисменты. Но что это? Где стол для почетных гостей? Оказывается, в здешнем клубе нет ни сцены, ни кресел для публики. И гости и хозяева сидят бок о бок за маленькими чайными столиками. Григорий Витольдович, раскланиваясь и извиняясь, проходит между этими столиками, за которыми он видит немало спутников по туристской группе, к своему месту. Член правления клуба представляет его соседям. В Венгрии нет отчества, поэтому Григорию Витольдовичу нужно запомнить только имена. Товарищ Шандор — это тот, что постарше. Он режиссер драмы. А рядом товарищ Иштван — молодой, начинающий артист. А вот кто эта милая девушка в голубом, которая назвалась Марийкой? Артистка эстрады или оперетты?

Пока Григорий Витольдович представлялся своей молодой соседке, Иштван начал разливать ликер. Новые знакомые подняли рюмки и улыбнулись.

«Как хорошо, — подумал Григорий Витольдович, — что рампа не отделяет в этом зале почетных гостей от обычных! Прошло всего несколько минут, как нас посадили за один столик, а мы уже разговариваем, как старые знакомые».

А разговор и в самом деле шел теплый, непринужденный. И Шандор и Иштван говорили, оказывается, по-русски. Правда, не очень бойко. Зато Марийка владела русским безукоризненно и от этого казалась Григорию Витольдовичу еще милее и обворожительнее.

«Нет, она, конечно, не начинающая актриса, а переводчица, — решил он. — А может, не переводчица, а жена режиссера Шандора? Господи, но ведь этот режиссер раза в два старше ее!»

И Григорию Витольдовичу стало жалко молодую, красивую Марийку. А разговор между тем шел за столом своим чередом. Иштван и Женечка заговорили о футболе. «Спартак»... «Гонвед»... Божик... Яшин...

Но так как четверо из пятерых сидящих за столом были работниками искусств, то разговор в конце концов

перешел с футбола на театр, и вниманием стола овладел Григорий Витольдович. Он говорил много и вдохновенно. Говорил не только затем, чтобы ответить на вопросы соседей, а, главное, чтобы произвести впечатление на соседку. Соседка мило улыбалась, а соседи слушали и думали: «Умно, интересно говорит наш гость, но вот что удивительно: целый час ведет он разговор, и все не о той области искусств, в которой работает сам».

Он восторгается балетом Большого театра.

— Вам обязательно следует приехать в Москву и посмотреть Майю Плисецкую в «Лебедином озере»!

Григорий Витольдович приглашал своих новых друзей и в Третьяковскую галерею и в Большой зал Московской консерватории послушать Рихтера и Ойстраха. Даже в цирк. Он избегал разговора только о своем театре. А венгерских товарищей больше всего интересовал как раз этот театр. И для того, чтобы помочь гостю перейти в разговоре с балета к драме, Шандор спросил Григория Витольдовича:

— Какая из современных пьес пользовалась в текущем сезоне наибольшим успехом у московского зрителя?

— «В добрый час».

— Мы читали про это, — подтвердил Иштван. — Автор пьесы — талантливый драматург. Это хорошо, Григорий Витольдович, что вы выдвигаете талантливых.

— Почему я? — удивился гость.

А Марийка улыбнулась и пояснила:

— «В добрый час» поставлен в Центральном детском театре. А Григорий Витольдович тоже выдвигал талантливых авторов. Только это было давно. Пятнадцать лет назад.

Шандор укоризненно посмотрел на Иштвана и сказал:

— Наш гость много выступал в шекспировских пьесах. Я, кажется, не ошибаюсь? — спросил он у Григория Витольдовича.

— Нет, — подтвердил Григорий Витольдович и, закрыв глаза, мысленно перенесся из Будапешта в Москву, в свою квартиру, стены которой были увешаны лавровыми венками и старыми театральными афишами. «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего»... — Но больше всего я любил роль Гамле-

та, — сказал он, открывая глаза, а режиссер Иштван, чтобы доставить гостю приятное, добавил:

— Да, да... Мы читали про ваш прошлогодний успех.

За столом воцарилась неловкая пауза. И слово опять пришлось взять Марийке.

— Вы путаете, — сказала она Иштвану. — В прошлом году роль Гамлета сыграл артист Самойлов, и в другом театре. А Григорий Витольдович тоже играл Гамлета, но только давно. Двадцать лет назад.

— Простите, — сказал Иштван, — я плохо читаю по-русски и мог спутать.

Неловкое положение продолжалось, однако недолго. Марийка мило пришла на помощь заслуженному деятелю искусств и сказала:

— Григорий Витольдович любит не только драматургию Шекспира, но и драматургию Маяковского.

— Правильно... Теперь уже я не ошибусь, — сказал Иштван и, повернувшись к Григорию Витольдовичу, добавил: — Разве не вы так замечательно поставили «Клопа» и «Баню»?

За столом опять воцарилось молчание. И Марийке снова пришлось взять слово.

— «Клопа» и «Баню», — сказала она, — поставили режиссеры Петров и Плучек. А Григорий Витольдович тоже ставил «Баню», но только давно.

— Правильно, — с огорчением подтвердил Григорий Витольдович, — все это было, к сожалению, давно, а сейчас я уже не выступаю ни в пьесах Шекспира, ни в пьесах Маяковского.

— Врачи? Больное сердце? — сочувственно спросил Шандор.

Чтобы не углубляться в неприятный для него разговор, Григорий Витольдович хотел было утвердительно кивнуть головой: мол, ничего не поделаешь — стенокардия.

Но экспансивная Марийка предупредила его.

— Ой, что вы! — сказала она режиссеру Шандору. — Сердце у Григория Витольдовича в полном порядке. Вы разве не знаете? Григорий Витольдович — неприменимый участник всех теннисных соревнований Дома искусств.

Григорий Витольдович подозрительно покосился в

сторону девушки в голубом. Откуда она так хорошо осведомлена о всех его делах — и творческих и теннисных? Неужели Марийка выписывает из Москвы в Будапешт и «Советскую культуру» и «Советский спорт»?

«Ну и ну!» — подумал Григорий Витольдович и сказал:

— Я не выступаю на сцене потому, что мне трудно быть одновременно и актером и режиссером.

— Понятно, — сказал Шандор. — Вы сейчас только ставите пьесы?

— Не угадали, — ответил Григорий Витольдович и пояснил: — Пьесы в нашем театре ставят обычные режиссеры, а я главный. Понятно?

— Не совсем.

— Главный руководит обычными режиссерами, поправляет их ошибки, — сказал Григорий Витольдович и добавил: — На большую самостоятельную работу у главного режиссера попросту не хватает времени.

— Куда же оно уходит?

— На хлопоты. С утра до вечера я в бегах. Днем в Доме актера, вечером в Доме искусств. И всюду заседания, совещания.

— Вам, наверно, очень скучно? — с сочувствием спросил Шандор.

— Зато почетно, — ответила Марийка. — Вот только на днях Григорий Витольдович приветствовал по поручению Дома искусств конференцию юных филателистов.

— Кого, кого?

— Вы разве не читали? Григорий Витольдович владеет сейчас одной из лучших коллекций почтовых марок.

Григорий Витольдович попробовал улыбнуться, но эта улыбка не доставила ему удовольствия. «Ну, это слишком! — подумал он. — Несносная девчонка, как видно, выписывает не только «Советский спорт», но и «Пионерскую правду».

Марийка уже не казалась Григорию Витольдовичу такой милой и очаровательной, как прежде. Наоборот, он раза два назвал уже ее про себя и бабой-ягой и ведьмой. А за что? Он же сам ратовал за откровенный разговор между друзьями! Разве не он собирался убрать рампу из Московского дома актера, чтобы она не ме-

шала работникам искусств вести друг с другом нелицеприятную беседу? Такая беседа только-только началась, а ему уже стало не по себе. И было от чего: Григорий Витольдович много лет не творил, не дерзал в театре. Бывший Гамлет обленился, успокоился. Он превратил кресло худрука в этакий творческий «самосон», а все заботы по театру переложил на своих помощников.

— Люди они хоть и малоталантливые, но зато осторожные, не подведут.

Сам же Григорий Витольдович занимался главным образом представительством. Он был членом трех каких-то комиссий и четырех каких-то правлений. В этих комиссиях рядом с Григорием Витольдовичем можно было увидеть кинорежиссера, который уже лет десять не ставил фильмов, архитектора, забывшего, когда он в последний раз подходил к чертежной доске, доктора наук, прекрасно говорящего о науке и ничего ей, к сожалению, не дающего.

Вместо того чтобы выступать в новых ролях, ставить новые спектакли, снимать фильмы, писать книги, эти люди занимались главным образом «взаимным ласкательством».

— Дорогой и высокочтимый...

Григорию Витольдовичу взять бы и поблагодарить Марийку за откровенный разговор, за то, что она бросила камень в стоячую воду и заставила главного режиссера задуматься над тем, над чем он разучился думать. А главный сидел и злился.

Оба соседа — и Шандор и Иштван — давно поняли, что гостю неловко продолжать разговор о своем театре, что гость с удовольствием возобновил бы беседу о Большом театре или Большом зале консерватории... Но что делать? Их молодая соседка никак не шла навстречу этим желаниям. Она мило улыбалась и продолжала задавать свои сто тысяч «почему?».

— Почему ваш театр скупо выдвигает молодых актеров? Почему вы мало ставите современных пьес?..

И только когда часы стали бить двенадцать, Марийка спохватилась и сказала:

— Мне пора. До свидания!

Григорий Витольдович тоже поднялся. Ох, с каким удовольствием он высказал бы сейчас все, что думал об

этой несносной девчонке! Но девчонка была хоть и Маша, да не наша. И Григорий Витольдович должен был не отчитывать ее, а галантно проводить до дома. На вешалке заслуженный деятель соорил на своем лице нечто вроде улыбки и спросил Марийку:

— Где вы научились так прекрасно говорить по-русски?

— Как где? В Москве.

— Вы давно отсюда?

— В одно время с вами. Неужто не узнаете? Мы же всю дорогу ехали вместе в одном поезде. Вы в международном вагоне, а я в купированном.

— Как, значит, вы не переводчица, не жена товарища Шандора?

— С чего вы взяли? Я артистка вашего театра.

— Моего?..

На лице Григория Витольдовича улыбки как не бывало. Он побагровел и спросил:

— Так какого черта вы донимали меня своими дурацкими вопросами? Заставляли краснеть перед коллегами? Неужели вы не могли поговорить со мной дома, в Москве?

— Поговорить! Но каким это образом? С начинающими артистами вы никогда не разговариваете. Раза два я пыталась встретиться, побеседовать с вами в Доме искусств, и оба раза вы сидели вдали от публики, на сцене в президиуме. Спасибо «Интуристу»: если бы не он, нам и сегодня не удалось бы поговорить друг с другом. Только вы не сердитесь, пожалуйста, на меня за откровенность. Это же от чистого сердца, — сказала Марийка и, мило улыбнувшись, вышла на улицу.

1955 г.

Надпись на ошейнике

В тот день, когда завуч школы родила дочку, два члена инициативной группы стали обходить педагогов с подписным листом.

— Вносите, кто сколько может, на зубок ребенку.

— Это обязательно?

— А как же!

Сам факт сбора денег на подарок нисколько не смущал организаторов подписки, их мучил только один вопрос: что купить младенцу — меховое пальто или вечернее платье?

— Новорожденной меховое пальто?

Конечно, не ей, а маме. А мама — женщина строгая, требовательная. К ней с дешевкой не подойдешь. Этой маме подавай котик, каракуль.

Только-только педагоги ублаговторили маму-завуча, как по классам пошел гулять новый подписной лист. И тоже на зубок. На этот раз дочка родилась уже в доме директора школы. Ну как тут обойтись без подарка? И снова раздался призывный клич инициативной группы:

— Вносите, кто сколько может.

— Пятерки хватит? — спрашивает учительница литературы.

— Мало! Как бы не рассердить директрису.

— Откуда она узнает, кто сколько внес?

— А подписной лист! Вы думаете, она не потребует, не проверит?

Вручили педагоги подарок директрисе, на горизонте замаячил новый подписной лист. Начался сбор денег еще на один подарок. Теперь уже не новорожденной, а новобрачной. Готовилась свадьба в доме учителя физики. Причем женился не сам учитель, а его брат, и педагогам пришлось делать новые взносы. Попробуй не внеси, когда учитель физики — человек с большими перспективами на выдвижение!..

А будущий выдвиженец преподавал не в одной школе, а в двух, поэтому в помощь одной инициативной группе по сбору пожертвований на подарок пришлось создать и вторую.

Кончилась свадьба брата физика, а тут новая напасть. Заболевает заведующая гороно. Сбор денег производится на этот раз уже не в одной и не в двух школах, а по всему городу. Учителя возмущаются, пишут письмо в редакцию. Я звоню в Нукус министру просвещения Кара-Калпакской АССР. Спрашиваю:

— Зачем вы собираете деньги? Завгороно — человек застрахованный. Лечат ее бесплатно. Бюллетень за время болезни больной оплачивается.

А министр отвечает:

— Сбор денег производится не для больной, а для ее сына.

Сын заведующей горono — человек здоровый, великовозрастный. Он учится в институте, получает стипендию. И что же оказывается? Нукусские педагоги обязаны были сделать подарок и этому сыну тоже. И они преподнесли студенту семьсот рублей наличными. На зубок!

— Ничего не сделаешь, — оправдывается министр. — У нас в Нукусе такой обычай.

От Нукуса до Донбасса семь дней езды в поезде, а обычаи здесь примерно те же. В школах Харцизского района, как пишут в редакцию, тоже ходят подписные листы. Причем деньги на подарки взимаются в Харцизске с педагогов и с родителей. И тоже якобы добровольно.

— Вносите, кто сколько может.

Родители мнутя, но вносят, в тайной надежде, что завуч на добро ответит добром и поставит «нашему Петьке» за контрольную четверку вместо двойки.

Адвокаты из Михайловки уже давно не пишут контрольных ни по литературе, ни по математике. Тем не менее им тоже захотелось получить четверку вместо двойки.

Пришла не так давно в Михайловку телеграмма от зампреда областного коллегия адвокатов:

«Выезжаю. Встречайте субботу».

Областной работник едет в командировку в районный центр. Случай обычный, заурядный. А адвокаты подняли шум, визг, точно к ним в Михайловку должен был прибыть не зампред, а посол с чрезвычайными полномочиями из сопредельного государства. Вместо дел, которые мариновались в столах местной юридической консультации, михайловские адвокаты стали обсуждать повестку дня предстоящего банкета. На первое подать заму суп с профитролями. На второе — утку с яблоками. На третье — кофе с ликером.

— А вот после кофе с ликером хорошо бы препод-

нести областному гостю что-нибудь на зубок, — предложили члены инициативной группы.

Но что именно? Может быть, ружье? В самом деле, зампред — охотник, и ружье будет ему кстати. Сказано — сделано. Деньги по подписному листу собраны, ружье преподнесено, и убогатворенный гость отбывает восвояси, так и не познакомившись, не перелистав заявлений, жалоб, которые мариновались в столах юридической консультации.

Не успели местные рестораторы прибрать столы в банкетном зале, как михайловские адвокаты получают вторую телеграмму. Уже от самого председателя областной коллегии:

«Выезжаю. Встречайте».

Председатель не зампред. Ему и подарок дарить, его и принимать следует побогаче. Не на уровне посла, а, так сказать, на уровне министра. Подарок, но какой?

— Если зампреду было куплено одноствольное ружье центрального боя, — сказали члены инициативной группы, — то председателю нужно покупать только двустволку.

Михайловка хоть и большой районный центр, но адвокатов в этом большом центре не так уж много. Тратиться им каждый месяц на подарки трудно. Однако адвокаты и на этот раз поднатужились, собрали сколько положено на двустволку и вручили ее председателю.

Председатель поблагодарил и отбыл. Как будто и все. И вдруг через месяц еще телеграмма:

«Выезжаю. Встречайте».

На этот раз встречать нужно было уже секретаря коллегии. В областной колоде адвокатов этот секретарь значил немного, как писал О. Генри, — он стоял «где-то между козырным валетом и тройкой». Но так как этот валет ведал вопросами кадров, то ссориться с ним тоже не было никакого резона. И михайловские адвокаты, тяжело вздохнув, снова пустили в ход подписной лист.

На этот раз адвокатам удалось собрать немного. Денег хватило только на покупку старого, беззубого пойнтера и металлического ошейника к нему для подарочной подписи.

— Вот если бы наш пойнтер взял бы и пролаял какую-нибудь приятную здравицу в честь секретаря коллегии, — возмечтал председатель инициативной группы.

— А что, идея!

Но осуществить эту идею адвокатам из Михайловки не удалось. Пойнтер был хоть и старый, но гордый. Лаять заздравные тосты за гостя из области он отказался, и слово за банкетным столом пришлось брать самому председателю инициативной группы.

Ничего не сделаешь — обычай!

Правильно, был такой обычай в старье, давно прошедшие времена. Делались тогда подарки для задравания в весьма широких масштабах. И сверху вниз и снизу вверх. Купцы преподносили старшим приказчикам часы с надписью: «От хозяина за усердие». А приказчики дарили в день ангела хозяину серебряные подстаканники: «От без лести преданных — отцу и благодетелю».

А стоит ли нам тащить назад мертвых с погоста? Писать фальшивые надписи на серебряных подстаканниках и собачьих ошейниках? Вряд ли! Нам эти обычаи ни к чему! Не к лицу!

1959 г.

Попрыгунья

В нашу редакцию пришло письмо. Вот оно:

«Уважаемые товарищи! Я хочу рассказать вам об одной девушке. Я не знаю, кто она, но ее подвиг захватил мою душу.

В субботу, 9 апреля, я шла из булочной. Было это в Щербаковском районе. Вдруг вижу: толпа народа, а из окна одного дома валит дым. Я тоже остановилась. Горела комната в каменном доме. Пожар начался от керосинки. В доме, видимо, никого не было. Вдруг какая-то женщина громко закричала:

— Верочка, моя Верочка там, в комнате!

В то же мгновение девушка низенького росточка сбросила с себя пальто, платок и очутилась у окна. Я не

знаю, что произошло дальше; как она попала в комнату, только минуты через четыре она с ребенком на руках соскочила из окна на улицу. Передав ребенка матери, девушка закрыла платком ожог на лбу, надела пальто и быстро пошла вперед. Толпа как бы ожила.

— Кто она? Как ее зовут? — раздалось со всех сторон.

Я побежала, догнала девушку и спросила:

— Как ваше имя?

Девушка, не оборачиваясь, ответила:

— Я комсомолка.

Так я и не узнала бы, как зовут ее, но тут ко мне подошла девочка с косичками, лет десяти-одиннадцати, и сказала:

— Это Лиза Соловьева. Она из нашей школы.

Вот и все, что я узнала об этой замечательной девушке».

Дальше в письме стояла большая клякса, за которой следовала приписка:

«Прошу редакцию извинить меня за неаккуратность. Я очень спешу, поэтому пишу прямо на вокзале. Сегодня в 17 часов отойдет мой поезд, и дома я буду рассказывать о замечательной московской девушке Лизе Соловьевой.

Дуся Озерова».

Письмо Дуси Озеровой можно было опубликовать в том виде, в каком оно пришло в редакцию. Но письмо скупое повествовало о Лизе Соловьевой, а каждому, кто читал его, хотелось знать больше про эту маленькую девушку со смелым сердцем, которая так храбро бросилась в горящий дом, чтобы спасти чужого ребенка. Кто она? Где живет? Как выглядит?

Нет, решили мы. Надо сначала разыскать Лизу, узнать у нее все поподробнее и тогда напечатать письмо Дуси Озеровой.

— Она из нашей школы, — сказала девочка с косичками.

Мы ухватились за эту фразу из письма в редакцию, и наш корреспондент поспешил в Щербаковский район. Директор школы, что рядом с сельскохозяйственной выставкой, спросила:

— Кого? Соловьеву? С ней случилось что-нибудь?

— Нет, не волнуйтесь. Мы просто хотели познакомиться с Лизой, узнать, как она учится.

— Учится Лиза плохо, на двойки. Девочка она не без способностей, да вот беда — ленива. В прошлом году у нее было две переэкзаменовки. Я думала, что за лето подготовится, а Лиза взяла и ушла из школы.

— А вы не могли бы дать домашний адрес Соловьевой?

И хотя списки с адресами бывших учеников лежали где-то далеко, директор не поленилась, перерыла весь архив и сказала:

— Дом восемьдесят, квартира три. Это направо, третья улица от нас.

Но адрес в школьном архиве оказался устаревшим. Через три улицы направо не было уже деревянного домика под номером восемьдесят. На его месте стоял забор, а за забором строился новый, многоэтажный дом. Далекая городская окраина приводила себя в порядок. Она строилась, асфальтировалась, прихорашивалась. Корреспондент поднялся на леса, посмотрел, как ловко и быстро работали каменщики, и спросил:

— А где же мне теперь искать Лизу?

— Подождите до новоселья, — улыбаясь, сказал прораб. — К осени мы достроим дом, тогда вы с ней и встретитесь.

Ждать осени было долго, поэтому корреспондент отправился на почту.

— Девушки, — сказал он, обращаясь к письмоносам, — вы не знаете, куда переехала Соловьева из дома номер восемьдесят?

— Как не знать, — ответила одна из девушек. — Каждый день к ним газету «Правду» ношу. Хотите провозу, мне по пути.

Вот наконец и заветный дом. Стучу в дверь.

— Можно видеть Лизу Соловьеву?

— Лиза учится, — говорит соседка.

— Где?

— На курсах ткачей при текстильной фабрике.

Фабрика оказывается тут же, поблизости.

— Кого, Соловьеву? — спрашивает комсорг и добавляет: — Это вы надумали правильно написать про Соловьеву. Она отличница нашего производства.

— Как отличница? Соловьева же только-только поступила на курсы.

— Ах, вы к ее дочери. А вот у дочки дела хуже.

— Почему?

— Человек она слабой воли — вот почему. Поступила на курсы, получила две двойки, и ей сразу расхотелось стать ткачихой.

— Где же она теперь?

— На катке занимается в группе фигуристок. Но это, по всей видимости, тоже ненадолго, до первой двойки.

И вот здесь, на катке, произошла наконец долгожданная встреча. Лиза оказалась невысокой, ловкой девушкой, такой, как о ней и говорилось в письме. Ожог на лбу, по-видимому, успел зажить, ибо вместо повязки на ее голове была синенькая шапочка.

— Вы из редакции? — Девушка несколько смутилась. — Да, действительно был такой случай на пожаре, но нужно ли об этом писать в газете?

— Обязательно. Вы бросились в огонь, чтобы спасти ребенка.

— А вы разве не бросились бы? А он, а она? — и Лиза обвела рукой вокруг. — Так поступил бы каждый.

Скромное отношение девушки к своему подвигу было столь подкупающим, что корреспондент решил узнать о девушке как можно больше. Он спросил, кем она хочет быть и кто та девочка с косичками, которая назвала ее по фамилии. И снова просто и скромно Лиза сказала, что вчера она мечтала пойти по стопам брата и стать инструктором физкультуры, а вот сегодня ей уже хочется подать заявление в мореходное училище, чтобы стать, как дядя, капитаном дальнего плавания. А девочка с косичками — это, наверное, одна из пионерок третьего класса «А», в котором полгода назад она была вожатой отряда.

Поговорив с Лизой, корреспондент захотел побывать на месте пожара.

— Может, мы пройдем туда с вами?

— Я бы пошла, да сейчас не могу. Наш инструктор не любит, когда девочки уходят с занятий.

— Тогда не нужно, — согласился корреспондент и отправился один.

— Смотрите, не спутайте переулка, — предупредила его Лиза. — Первый налево, не доходя до выставки. Ищите там двухэтажный дом из красного кирпича.

Корреспондент сделал так, как ему советовали. Он свернул в первый переулок налево и дошел до дачного поселка. Он увидел и двухэтажный дом из красного кирпича, но этот дом никогда не горел. Корреспондент нашел второй двухэтажный дом, третий, но они тоже не горели.

— Странно, — сказал корреспондент и поспешил вернуться в редакцию.

Мы перечитали письмо Дуси Озеровой вторично. Все в письме было как и прежде, даже кудреватая буква «Д» в подписи автора. А вот дома из красного кирпича не было. Неужели кто-то хотел ввести редакцию в заблуждение?

— Вряд ли, — сказал корреспондент. — По всей видимости, я спутал переулки.

И вот мы уже вдвоем с корреспондентом садимся в машину и едем на квартиру Лизы Соловьевой. Наш приезд смутил девушку. Она неловко развела руками и сказала:

— Простите, но этот пожар не стоит того беспокойства, которое испытывает редакция.

Я смотрю на Лизу, но она говорит так просто и спокойно, что не верить ей нельзя.

— Юрочка, последи за чайником, — обращается между тем Лиза к своему брату. — Я вернусь через пятнадцать минут.

Но мы ездим не пятнадцать минут, а уже около четырех часов и все никак не можем найти места пожара.

— Непонятно, — говорит Лиза, — как я могла запомнить это место. Рядом с ним еще стояла булочная.

Тогда мы начинаем искать двухэтажный домик из красного кирпича по новым приметам, находим пять булочных, а злополучного дома все нет.

— Ну да, я спутала, — неожиданно говорит Лиза, — домик был не в два этажа, а в один.

Но мы не можем найти и одноэтажного дома. Тог-

да мы заезжаем в пожарную часть. Начальник части смотрит в книгу происшествий и говорит:

— 9 апреля в нашем поселке пожара не было.

— Это был совсем маленький пожарчик, — говорит Лиза. — Вы, наверное, таких маленьких и не записываете.

— Мы записываем маленькие, средние и большие, — говорит начальник. — Мы не записываем только тех, которых не было.

— Знаете что, — говорит Лиза, когда мы снова оказываемся в машине. — Завтра я встречусь со своей подругой Дусей, узнаю у нее адрес поточнее и тогда позвоню к вам. Вы только скажите номер телефона.

Я диктую номер. Лиза записывает: «Д-3-33...» — почерк выдал девушку. Я узнаю кудрявенькую букву «Д» из письма Дуси Озеровой в редакцию. Теперь все стало понятным. Записи в книге происшествий были правильными. Мы искали то, чего не было. Что же было в действительности?

Каждый год, в один и тот же день, в школе, где училась Лиза Соловьева, собирались воспитанники этой школы. Среди них было много знатных, уважаемых людей: инженеров, врачей, офицеров, отличников производства, государственных деятелей, партийных и комсомольских работников, педагогов. Те, которые жили вне Москвы, присылали в школу к этому дню письма и телеграммы. И директор, читая потом эти письма в классах, с гордостью говорила:

— Вот какой замечательный паровоз сконструировал бывший ученик нашей школы.

Лизе хотелось, чтобы и про нее говорили с такой же гордостью. Но школа гордилась лучшими, а Лиза училась плохо. И девочка решила удивить подруг и учителей каким-нибудь подвигом. Чтобы совершить подвиг, нужна сила воли. А какая же воля была у Лизы, если она никак не могла заставить себя учиться без двоек?.. И тогда-то Лиза выдумала пожар и написала в редакцию письмо от имени Дуси Озеровой, которое закончила такими словами:

«Сегодня в 17 часов отойдет мой поезд, и дома я буду рассказывать о замечательной московской девушке Лизе Соловьевой».

Нет, ни дома, ни в гостях никто не скажет ничего хорошего о Лизе Соловьевой, не скажет потому, что ничего хорошего Лиза еще не сделала. А она могла бы сделать. И дел кругом много, нужных, интересных. Сделай она хоть одно, и тогда нашлись бы и на ее улице девочки с косичками, и не выдуманные, а самые настоящие, которые, завидев Лизу, с гордостью говорили бы своим маленьким подружкам:

— Она из нашей школы.

Сейчас девочки не скажут этих слов. И виновата в этом сама Лиза. Ей хочется заработать славу, пусть даже фальшивую. И бегают Лиза в погоне за этой славой из школы на курсы, с курсов на фабрику, с фабрики на стадион.

— Попрыгунья, — говорят про нее.

Да, прыгает Лиза где-то рядом с жизнью, а ее сверстники, подруги в это время учатся, трудятся. Героинка здесь, у них, у ее товарищей по комсомолу, а не у Лизы.

1949 г.

На букву «П»

В первый раз Николай Николаевич появился в редакции Большой Советской Энциклопедии год назад. Он зашел, поздоровался и сказал:

— Я к вам насчет статьи о поэте Пьянкове.

— Спасибо, нам такая статья не требуется.

— Почему? Разве вы не будете печатать тома на букву «П»?

— Том на букву «П» у нас будет, а вот статьи о Пьянкове в этом томе не будет.

— А если я попрошу вас как коллега коллегу?

— А вы, собственно, кто?

— Пьянков.

— Какой?

— Тот самый.

Сотрудник редакции с удивлением оглядел Пьянкова. Сотруднику было неприятно продолжать разговор с поэтом, который проталкивал в редакцию статью о са-

мом себе. Но так как этот сотрудник был человек мягкий, стеснительный, то он подавил вспыхнувшее в нем возмущение и деликатно сказал назойливому поэту:

— Идите домой и успокойтесь. Мы расскажем о вашем творчестве все, что следует, в общей статье о поэзии.

— Нет, нет, только не в общей. Мне должна быть посвящена в БСЭ специальная статья, иллюстрированная поясным портретом.

Сотрудник редакции пытался в тактичной форме объяснить Пьянкову разницу между БСЭ и периодической печатью. Но на Пьянкова не действовали никакие резоны. Дня через два он пришел в кабинет главного редактора и сказал:

— Берегитесь! Том БСЭ на букву «П» готовится к выпуску в порочном виде.

— А именно?

— В этом томе нет статьи о Пьянкове.

— А он кто, этот Пьянков?

— Как, вы не слышали о поэте Пьянкове?

— Простите, нет.

— Странно... Если поворить о листаже, то я написал в два раза больше Лермонтова и в пять раз больше Крылова.

— В стихах главное не листаж, — заметил редактор, — а чувства, мысли...

— Значит, вы тоже против меня?

— Тоже.

— А если я попрошу вас как коллега коллегу? Пусть даже без поясного портрета. Напечатайте только одну статью.

— Нет, — еще раз сказал редактор и встал, давая этим понять, что аудиенция окончена.

Пьянков ушел, но не успокоился. Через неделю он прислал в редакцию энциклопедии письмо:

«Считаю необходимым вторично просить вас рассмотреть вопрос о невключении меня в БСЭ...»

Вслед за письмом поэт начал звонить по телефону. Кричать в трубку:

— Я автор многих книг!

Правильно, Пьянков автор плодovitый. Поэт и прозаик. Некоторые его стихи входили в сборники, а иные

повести даже переиздавались. Но в целом стихотворное творчество Пьянкова никогда не поднималось выше среднего уровня. А вот ниже оно спускалось, и довольно часто.

Но изъяны в творчестве мало волновали Пьянкова. Он спал и видел себя в томе на букву «П». По этому поводу он строчил челобитные куда только мог, вплоть до самых высоких правительственных учреждений.

«Обратите внимание: у редакции БСЭ неправильная линия».

В работе редакции были, конечно, недостатки, которые нуждались в исправлении. Мы бы могли назвать имена действительно хороших писателей, незаслуженно обойденных БСЭ. Но не о них, этих писателях, хлопотал поэт Пьянков. Он старался протащить статью о самом себе. Пьянков жаловался на БСЭ даже в каком-то публичном выступлении. Пожаловался и тотчас отправил главному редактору заявление такого содержания: «Я думаю, редколлегия, руководимая вами, сочтет необходимым заново, со всей серьезностью рассмотреть справедливые претензии советской общест-венности о моем невключении в очередной том энциклопедии».

Если бы Пьянков мог, он давно обратился бы в суд, чтобы упрямую редакцию приговорили напечатать благоприятный отзыв о нем. Но органы суда делами литературы не занимались, и поэт направил свои стопы в газету:

— Примите меры. В редакции БСЭ царит произвол.

— Неверно, это не произвол. Редакция перед составлением каждого тома выпускает специальный словарь, который обсуждается в научных, литературных, общественных организациях. Ваше имя, как видно, никто не выдвигал.

— Почему же никто. А я сам?

— Этого недостаточно.

— Я член СП (союза писателей).

— Широкому читателю ваше имя мало что говорит.

— Вот в этом все зло, — застонал Пьянков. — Я пишу, издаюсь, а меня почти не знают. Почему? Да потому, что справочная литература не печатает обо мне био-би-

блиографических сведений. В Большой Советской Энциклопедии меня нет. В Медицинской — нет.

— При чем здесь Медицинская? Вы же писатель, а не медик.

— Да пусть хоть где-нибудь вспомнят обо мне! А ведь я человек живой, незаурядный. Так пустите меня в энциклопедию.

А может, и в самом деле пустить? И даже в тот же самый том на букву «П»? Взять, к примеру, и рассказать о домогательствах поэта в статьях «Пролазы» или «Проныры». Рассказать в назидание литераторам, которые пытаются увековечить свое имя лишь с помощью справочных книг. А ведь они бегают, шумят, хлопчут о прижизненных памятниках. Всем им хочется хоть немножечко постоять в веках, и каждому на свою букву.

Уважаемые товарищи! Не забывайте о скромности. Что же касается славы, то пишите больше и, главное, лучше, и читатель каждому воздаст по заслугам.

1954 г.

За кусок пирога

Отцу Василию прислали из епархии «Волгу», новую, светло-голубую. Благочинный нажал пальцем на сигнал, послушал пение автомобильного гудка и сказал:

— Хорошо!

Отцу Василию хотелось сесть за руль, проехаться по улицам райцентра... Но, чтобы проехаться, нужно было уметь водить машину. А епархия, к сожалению, не создала еще кружка для обучения автоделу лиц духовного звания. Записаться же на курсы, организованные при Доме культуры, благочинному не позволял сан.

И вот в повестке дня церковного совета появился вопрос о найме водителя. Наем затруднялся тем, что среди прихожан Михайловки не было ни одного человека, разбирающегося в моторе внутреннего сгорания. Такого нужно было искать, соблазнять, переманивать! А где?

В райцентре было три автобазы: республиканского, областного и местного значения. Отец Василий закинул удочки во все три, а дабы клев был дружнее, зарплату церковному шоферу он назначил в полтора раза выше обычной. Прошел день-два, а клева нет. Среди ста со-рока водителей трех баз не нашлось ни одного, кто прельстился бы жирной церковной наживкой.

Конечно, лишняя десятка не помешала бы каждому; но кривить из-за нее совестью, помогать отцу Василию наживать деньги на невежестве ближних? Да бог с ними, с церковниками и их деньгами!

Мы сказали, ни одного... Один все же нашелся. Прельстился. И не то, чтобы этот один был человеком старой закваски. Нет! Георгий Шайдаков был не темнее, а жаднее других, поэтому достаточно было только батюшке прибавить еще одну пятерку к зарплате своего будущего водителя, как силы сопротивления в слабой душе этого водителя надломались. Любовь к денежному знаку превозмогла чувство стыда и неловкости, и Шайдаков отправился в дом отца Василия для переговоров.

Хозяин пил в саду чай и пригласил гостя к столу. Тот поблагодарил и остался стоять. «Скромнен, — думает хозяин, — и ростом хорош, и ликом богоприятен. Жалко только, молод».

— Не комсомолец ли?

— Комсомолец.

Отец Василий улыбается и говорит:

— А у нас при храме первичной организации нет.

— И не нужно, — спешит ответить Шайдаков и протягивает благочинному документы шофера первого класса.

«Хотите знать, кого нанимаете, начинайте разговор по существу, с техминимума». А у отца Василия свой техминимум. Вместо того, чтобы задать вопрос о коробке скоростей, он спрашивает:

— «Отче наш» знаешь?.. А «Верую»?

Шайдаков переступает с ноги на ногу. Молодой шофер не имеет ни малейшего представления ни о той, ни о другой молитве. Его церковный репертуар состоит всего из одной песенки, которая передается по наследству одним поколением комсомольцев другому:

Сергей-поп, Сергей-поп,
Сергей-дьякон и дьячок.
Пономарь Сергеевич, и звонарь Сергеевич...

Попробуй пропой эту песенку благочинному, и тебе не видать тогда повышенного оклада. Шайдаков виновато вздыхает, а благочинный смотрит на него и говорит:
— Сходи поучи молитвы. Без этого взять шофером не могу.

Почи! А где взять текст? Шайдаков бежит к тетке Алене. Тетка живет в одном доме со всеми Шайдаковыми, и ко всем она в оппозиции. Все родичи тетки Алены — люди современные, и только она одна, дожив до преклонных лет, сохранила свой мозг в голубиной чистоте человека прошлого столетия. Тетка Алена верит во всех святых, соблюдает все посты, и кому, как не ей, было научить своего внучатого племянничка и «Отче наш» и «Верую».

И вот через пять дней Георгий Шайдаков на рысях читает вызубренные молитвы перед чайным столом благочинного. Тот слушает, говорит:

— Что «Отче наш» выучил — хорошо. А что сын у тебя не крещен — нехорошо. Пойди окрести.

Шайдаков в полном недоумении. Сыну Николке уже три года. Попробуй крестить его. Тут весь дом подымется на дыбы. Жена, теща, родная мать!

— А ты матери не говори. Шепни тетке Алене, она все и обстряпает.

И хотя отец Василий явно издевается над комсомольцем, тот послушно бежит на поклон к тетке Алене. А отцу Василию и этого мало.

— Что сына крестил — хорошо, — говорит он через неделю Шайдакову, — а что сам в церковь не ходишь — нехорошо.

— Мне в церковь?..

— Непременно. Без этого ты не слуга богу. Не шофер.

Шайдаков скрипит от злости зубами. Но что делать? Попал пес в колесо, пищит, да бежит. Пошел комсомолец к заутрене. Выстоял. После службы отец Василий подходит, говорит:

— Теперь хорошо. Теперь тебе и машину доверить можно.

Секретарь райкома комсомола Черепенин, как только услышал о похождениях Шайдакова, пошел к нему домой. Поговорить, узнать, в чем дело. Как-никак вместе в школе учились, вместе в комсомол вступали. А у Шайдакова на лице философическая многозначительность: не я-де первый — святой Сергий, протопоп Аввакум и Ганди тоже находились во власти идеализма.

Жители поселка шумят, волнуются, ругают секретаря Черепенина за слабую борьбу с идеализмом, а сам идеалист входит в это время во вкус новых своих обязанностей. Работа у отца Василия с появлением водителя стала маневренней, оперативней. Он успевал теперь совершать по две-три требы в день. В одном конце района — похоронить православного, в другом — обвенчать, в третьем — окрестить. И первым номером на всех свадьбах и похоронах — он, Шайдаков. Жора состоял при благочинном не только шофером, но и служкой. Не успеет тот выйти из машины, а Жора уже счищает с него щеткой дорожную пыль, подает рясю, раздувает уголек в кадиле. За усердие богоискателю перепадают от прихожан чаевые. Один сует в руку двугривенный, другой — полтинник, а с каких-то похорон Шайдаков не побрезговал, привез домой кусок недоеденного поминального пирога.

Слухи об этом пироге дошли до поселковых мальчишек, и они стали называть Шайдакова «кусочником», писать это обидное слово углем на лакированных боках его машины. Шайдаков оботрет машину тряпкой, — глянь, а это слово красуется уже на заборе, на дверях его дома.

— Кусочник! Кусочник!

Шайдаков злится, но от подачек не отказывается. Он работает у отца Василия всего год, а у него уже полон двор кур, гусей, есть даже коза с козленком. И жить бы кусочнику до сего дня в счастья и довольствии, если бы не одна слабость отца Василия: благочинный любил езду с ветерком. На спидометре девяносто, сто километров, а он просит прибавить скорость.

До поры до времени все обходилось благополучно, а тридцатого октября районная автоинспекция регистрирует ЧП. В этот день отец Василий был приглашен на две свадьбы. Последователь протопопа Аввакума

везет благочинного с одной на другую. Мотор на полном газу, а благочинный недоволен:

— Быстрей! Еще быстрей!

На повороте «Волгу» заносит, перевертывает, и любители быстрой езды вместо свадьбы оказываются в больнице. Один — это отец Василий — отделяется несколькими синяками и через три дня выписывается домой. А у постели второго устанавливается круглосуточное дежурство медперсонала. Три недели Шайдаков лежит без сознания. Врачи сшивают его, латают, сращивают поломанные кости, а он ничего не слышит, ничего не чувствует. Но вот пострадавший открывает, наконец, глаза, оглядывает палату. К нему подходит жена. Он улыбается ей, а сам смотрит в сторону двери. Не пришел ли навестить его отец Василий? Он смотрит день, месяц, три месяца. Он ждет... А отец Василий давно и думать перестал про больного водителя. Благочинный нашел в соседнем районе нового кусочника, здорового, нелатаного, и ездит теперь с ним с одной требы на другую.

Георгий Шайдаков обманут, оскорблен в своих лучших чувствах. Как только его выписывают из больницы, он спешит не домой, а к благочинному:

— Восстановите меня на работе. По трудовому законодательству вы не имели права увольнять больного.

А благочинный улыбается, объясняет:

— Слуги божьи не должны придерживаться трудового законодательства. Церковь отделена от государства.

Шайдаков просит благочинного заплатить ему хотя бы за время болезни. А благочинный улыбается, объясняет:

— Церковь не оплачивает больничных листков. У церкви нет соцстраха.

Шайдакову нужно идти просить защиты в местный комитет, а он не может, ибо год назад демонстративно перестал платить взносы, вышел из членов профсоюза. Жена посылает Шайдакова к секретарю райкома Черепенину посоветоваться: как быть дальше? А Шайдакову стыдно идти.

И вот Шайдаков продает козу с козленком, покупает железнодорожный билет и приезжает в Москву. Он ни

в чем не оправдывается, он только просит замолвить за него словечко перед автобазой:

— У меня жена, сын Николка. Пожалуйста. Мы просим вас.

Мы, конечно, поговорим с автобазой. Может быть, администрация смилостивится, пожалеет и снова зачислит блудного сына в число своих водителей. Может быть, и прокурор пойдет навстречу обманутому шоферу и поможет ему получить с церковного совета деньги за время болезни. А вот что сделать, чтобы помирить Георгия Шайдакова с поселком, в котором он родился, с товарищами по школе, комсомолу? Как вернуть доброе имя кусочнику?

1962 г.

Глазунья с кляксами

Мы познакомились в прошлом году в маленьком зале театрального института. Я был среди зрителей, она — на сцене. Вера Ворожейкина играла роль горничной Сюзанны в каком-то старинном французском водевиле. И хотя спектакль был разыгран в порядке учебного занятия, мне стало жалко Веру. Жалко потому, что этой красивой девушке после трех лет занятий в институте пришлось выйти на сцену, чтобы произнести только одну фразу:

— Мадам, карета у подъезда.

Я сказал об этом кому-то из преподавателей. Мне ответили, что в следующем спектакле Ворожейкиной дадут более солидную роль, и на этом, собственно, и закончилось мое знакомство с Верой. В театральном институте я больше не был и не видел Сюзанну в новой, более солидной роли.

Но вот на днях редакционный лифт поднял на наш этаж какое-то облако из пудры и шелка.

— К вам можно?

— Пожалуйста.

Мне никогда прежде не приходилось видеть яичницы с тремя плавающими чернильными кляксами в

центре. Я протер глаза. Но оmlет — сюрприз сумасшедшего повара — не исчезал. Две черные кляксы внимательно смотрели на меня, а третья, малиновая, сказала:

— Не узнаете?

Я еще раз внимательно посмотрел на неправдоподобную комбинацию из кармина, туши и яичного порошка и только беспомощно развел руками:

— Простите, не помню.

— Меня никто не помнит, никто не знает! — сокрушенно произнесла девушка. — Я Сюзи из французского водевиля.

— Сюзи? Странно! — Я сравнил хорошенькую молодую студентку на сцене театрального института с теми тремя кляксами, которые плавали сейчас в серо-желтом тумане перед моими глазами, и горько улыбнулся.

«Ах, эти театральные парикмахеры, как они обманывают нас». И мне почему-то вспомнился «Тупейный художник» Лескова, великий маг и чародей, превращавший фурий при посредстве румян и белил в театральных ангелов.

— Что вы, что вы! — всплеснула руками Вера Ворожейкина. — Я выступаю на сцене без всякого грима.

— Значит, это вы потом...

— Ну, конечно.

Мне снова, как и год назад, стало жаль Сюзанну.

— Ну зачем вы это делаете? Яичный порошок только уродует вас.

— Почему «яичный»? — обиделась Ворожейкина. — Цвет глазуньи давно вышел из моды. Вы разве не знаете? Сейчас весь мир красит волосы слабым раствором стрептоцида.

Я действительно не знал, каким колером красит сейчас мир свои волосы, и поэтому замолчал.

— А ведь я уже окончила институт, — неожиданно сказала Вера.

— Поздравляю.

— Нет-нет, не поздравляйте. Это так ужасно!

— Почему?

— Я хотела поступить в МХАТ, сыграть Анну Каренину. Это мечта моей жизни.

— Ну и как?

— Не берут, Ливанов, Яншин. Мелкие интриги. Боятся конкуренции.

— Какая же конкуренция? Ни Ливанов, ни Яншин никогда не выступали в женских ролях.

— Все равно. Они направляют меня в Саратовский театр.

— Кто? Ливанов?

— Нет, дирекция института. Вы только подумайте: в Саратов! «В деревню, в глушь», — как говорил Вронский.

— Во-первых, не Вронский, а во-вторых, Саратов — давно уже не глушь; в-третьих, если мне не изменяет память, Ливанов в свое время тоже начинал работать на провинциальной сцене.

— Нет, не уговаривайте! Из Москвы я все равно никуда не поеду. В прошлом году вы приняли во мне такое теплое участие! Вы должны помочь мне и сейчас устроиться на работу.

— Куда? В МХАТ? — спросил я.

— Не обязательно, устройте хотя бы в свою редакцию.

— Кем? У нас в штате нет должности Анны Карениной.

— Мне не важно, кем. Мне важно, где. В Москве! Возьмите машинисткой.

— А вы разве умеете печатать?

— Господи, назначьте меня такой машинисткой, которая не должна уметь печатать.

— А нам такие не требуются.

— Возьмите кем-нибудь, хотя бы уборщицей. Работать в редакции — мечта моей жизни.

— Серьезно?

— Серьезно.

— Это идея. Нам как раз нужна уборщица, только не в Москве, а в саратовском отделении. Условия нетрудные. Вы должны будете ежедневно мыть полы в двух комнатах и коридоре, аккуратно стирать пыль с трех подоконников...

— В саратовском отделении?

— В саратовском.

— А я так надеялась на вас! Думала: вот у меня

есть знакомый заведующий, он поможет мне остаться в Москве...

— А я вовсе и не заведующий.

— Странно! Теперь же все чем-нибудь заведуют.

— Как видите, не все.

— Но может быть, у вас есть знакомый заведующий?

— К сожалению, нет.

Вера Ворожейкина встала и попрощалась. Редакционный лифт снова принял в свое лоно облако из пудры и шелка, и всем нам сразу стало как-то проще и легче.

И вдруг через неделю звонок по телефону напомнил нам о существовании глазуни с кляксами. Говорили из больницы имени Склифосовского:

— Вы знаете Веру Ворожейкину?

Я сразу почувствовал себя в чем-то виноватым. Может, я говорил с этой девушкой слишком сурово и невольно толкнул ее на крайний, необдуманный шаг? Может...

— А что, ей очень плохо? — осторожно спросил я.

— Нет, — сказали из больницы. — Мы просто хотим взять ее на работу.

— Ах, вон в чем дело! — сказал я с облегчением и тут же, забыв о недавних угрызениях совести, спросил: — А какую, собственно, должность вы можете предложить ей? У вас же больница.

— Любую. У Ворожейкиной высшее образование.

— Правильно. Высшее театральное. А вам, по-моему, следовало бы подбирать работников с высшим или хотя бы со средним, но медицинским.

— Так вы что: не рекомендуете брать ее? — удивленно спросила трубка.

— Нет!

— Жалко! Она говорит, что работа в «Скорой помощи» — мечта ее жизни. Может, взять ее все-таки хотя бы санитаркой?

— Берите, только не в московский, а в саратовский филиал «Скорой помощи».

Но саратовский филиал не устроил Ворожейкину, и еще через неделю нам позвонили с Казанского вокзала.

- Вы знаете Веру Ворожейкину?
- Знаю. Кем берете?
- Стрелочницей. Она говорит, что железная дорога — мечта всей...
- Знаю и про мечту...
- Значит, рекомендуете?
- Да, только не на Московский узел, а на Саратовский.

Еще через неделю позвонили из какого-то орска, потом из пуговичной артели.

В общем, в ходатаях не было недостатка. И так как ответить всем по телефону не было никакой возможности, то мы решили сделать это при посредстве печатного слова.

Знаем, и к вам придет глазунья с тремя кляксами. Знаем, и у вас есть сердце, которое скажет: жалко, мечта... высшее образование.

Жалейте, не возражаем, только на работу устраивайте не в Москве, а в Саратове. И не потому, что «это деревня, глушь», а потому, что Саратов — тоже прекрасный советский город.

1949 г.

Укрощение строптивых

Новогодний костюмированный бал был в самом разгаре. Самодеятельный оркестр из трех музыкантов, усевшись для солидности в четыре ряда, томным аккордом закончил очередной вальс. Калькулятор планового отдела Удовиченко, добросовестно изображавший на вечере роль великосветского распорядителя танцев, быстро вбежал на сцену и, оглядев зал, сказал с французским прононсом:

— Полька! Кавалеры, а-друа, дамы, а-гош. Маэстро, — кивнул он в сторону оркестра, — прошу!

И когда зал закружился под звуки баяна, трубы и мандолины, Вася Удовиченко обратил внимание на предосудительное поведение Григория Хмары, одетого в костюм Тараса Бульбы. Григорий стоял в малоосвещен-

ном углу зала и о чем-то интимно беседовал с Джульеттой.

— Пардон, камрады! — крикнул Вася, подбегая к воркующей паре. — Вы искажаете классическое наследие. Джульетта должна флиртовать не с Тарасом, а с Ромео.

Но ни «дочь» Вильяма Шекспира, ни «сын» Николая Васильевича Гоголя не обратили внимания на эту фразу. Распорядитель танцев для ясности перешел с французского на украинский.

— Гриць! — сказал он Бульбе. — Ты чув, шо я казав?

— Чув, та не разумив, — ответил Бульба. И для того, чтобы окончательно внести ясность в этот вопрос, он обратился к Джульетте: — Может, вы хотите, Настенька, пройтись с этим самым Ромео?

— Та хай ему будет лихо! И шо вин за хлопец? Ни сказать, ни танцевать.

— Как знаете, камрады, — пролепетал растерявшийся распорядитель и ускакал к оркестру.

Короче, все на этом вечере шло нормально. Время подходило к двенадцати. Комсорг Проценко готовился уже подняться на сцену, чтобы поздравить молодежь с Новым годом, как вдруг по клубу зловеще пронеслось:

— Чичушка!

Это слово прозвучало, как выстрел на симфоническом концерте. Музыканты прекратили игру, не закончив вальса, и баянист стал предусмотрительно укладывать свой инструмент в ящик. Испуганная Джульетта с надеждой оглянулась на Тараса, но того и след простыл. Он исчез, даже не простившись.

А Чичушка уже действовал. Сначала он влез на хоры и мило обсыпал головы литературных героев кашеной капустой. Затем пустил живого мышонка в муфту Анны Карениной и устроил короткое замыкание, сунув гвоздь в электрический штепсель.

Часы били двенадцать. Но комсорг не поднялся на сцену с поздравлением, и членам комитета пришлось впопыхах выбираться из клуба.

— Надо идти за помощью.

Начальник милиции встретил комсорга как старого, доброго знакомого.

— Небось, опять на Чикушку жаловаться пришел?

— Опять! Вечер сорвал. Капустой кидался. Пробки электрические пережег.

— Ножом никого не ударил?

— Нет!

— Плохо, — мрачно заметил начальник милиции. — Не могу я его за капусту под суд отдать.

— Житья от него нет, — чуть не плача, сказал комсорг. — Девушки в общежитие ходить боятся. Он из-за угла водой их окатывает на морозе.

— Строптивый паренек. Ты его вовлеки в какой-нибудь кружок, — посоветовал начальник, — у него кровь и свернется.

— Куда вовлечь?

— Да хотя бы в духовой оркестр. Пусть человек музыкой занимается.

— Уже вовлекали, — сокрушенно сказал комсорг. — Он у нас барабан пропил.

— Поймали с поличным?

— Нет.

— Тогда могу только сочувствовать. Вот когда поймают его за руку, приходи — помогу.

Нам неизвестно, знал ли Чикушка про переговоры, которые велись между начальником милиции и комсоргом деревообделочного комбината, только чувствовал себя он совершенно спокойно. И хотя действовал Чикушка без ножа, однако весь поселок жил в страхе.

Правда, кровь в этом молодом человеке играла не все триста шестьдесят пять дней в году. Месяц, иногда полтора он вел себя вполне прилично. Вытирал нос собственным рукавом, а не беретом какой-нибудь тихой девушки. Но вот на него находило затмение, и молодежь с семи часов вечера пряталась по общежитиям, держа двери на трех засовах:

— Чикушка идет!

И вдруг Чикушка переродился. Стал тихим, скромным пареньком. Что же оказало такое целебное влияние на хулигана? Кружок кройки и шитья или шесть месяцев тюремного заключения? Ни то, ни другое. Решающее слово в этом деле сказал Миша Кротов — сцепщик близлежащей станции. Миша увлекся Настень-

кой, той самой девушкой, которая была покинута в трудную минуту Тарасом Бульбой. Причем увлекся так сильно, что трижды в неделю, то есть каждый свободный от дежурства вечер, не ленился отмеривать по три километра от железнодорожной станции до поселка, чтобы провести час-другой со своей любимой.

И вот в один из таких вечеров, когда Миша о чем-то тихо шептался с Настенькой, в коридоре общежития был поднят сигнал бедствия.

— Чикушка идет!

— Прячься! — испуганно сказала Настенька.

Миша Кротов в ответ только махнул рукой.

— Обойдется и так.

Не успел он закончить фразы, как в комнату ввалился Чикушка, окруженный тройкой восторженных мальчишек. Он по-хозяйски оглядел комнату и сказал:

— Грязно у вас в коридоре.

И, сдернув с чьей-то койки белую накидку, стал вытирать сапоги. Настенька взвизгнула и забилась в угол.

— Положи на место накидку! — неожиданно сказал Кротов.

Чикушка сплюнул сквозь зубы, даже не подняв головы. Тогда сцепщик взял Чикушку за ворот, приподнял, повернул в воздухе лицом к себе, сказал: «Сморчок!» — и легко перекинул через всю комнату к двери. Затем сцепщик поднял Чикушку еще раз, пронес его через коридор мимо затаивших дыхание девушек и спустил с лестницы.

— Ой, Мишенька, — сказала испуганно Настя, — теперь тебе будет лихо: ударит он тебя ножом из-за угла!

Но Чикушка не стал браться за нож. Он знал: за это судят. Чикушка побежал в милицию с жалобой на обидчика. Через час Миша Кротов был доставлен участковым в кабинет начальника.

— Это ваша работа? — спросил начальник, косясь на разбитый нос Чикушки.

— Извиняюсь. Трошки задел по потылице.

— А за что?

— За хулиганство.

— Зачем же драться? — укоризненно сказал началь-

ник милиции. — Вы бы объяснили гражданину неэтичность его поступка, он исправился бы.

— Ха!.. — сказал удивленный сцепщик. — Он девчат тиранит, а я ему «Отче наш» читать буду?

Начальнику милиции понравился этот плечистый, добродушный парень. Ему понравилось и то, как он отделал Чикушку, но... нельзя же потакать рукоприкладству! В общем, для порядка сцепщик был оштрафован на 10 рублей за нарушение каких-то правил обязательного постановления облисполкома.

— Ну, как, внес он деньги? — спросил я комсорга, который рассказал мне эту историю.

— Я заплатил за него, — ответил комсорг. — Десять целковых за учебу — это, честное слово, не так много. Зато теперь в поселке дышать легче. — И, заметив на себе недоумевающий взгляд, комсорг словно в оправдание добавил: — Я, конечно, понимаю: тихих хулиганов надо вовлекать, чтобы они «росли над собой», буйных — судить. Но есть среди них и такие, которых следует взять за грудки и тряхнуть по-мужски. Да так тряхнуть, чтобы у них веснушки горохом на землю посыпались. Но это, конечно, между нами, не для печати, — сказал комсорг и распрощался.

1946 г.

Дяденька, дай прикурить...

Сын моего соседа Миша устроил на днях банкет по случаю благополучного перехода из седьмого класса в восьмой. На банкет были приглашены только самые близкие из Мишиных товарищей: редактор школьной газеты, двое мальчиков с нашего двора и двоюродный брат Миши — Юра, левый крайний детской футбольной команды стадиона «Строитель». Вечером, когда Мишины родители возвратились с работы домой, гости были уже в явно блаженном состоянии и нестройно подтягивали вслед за несовершеннолетним хозяином «Шумел камыш, деревья гнулись...».

Хор подвыпивших подростков представлял доволь-

но противное зрелище, и Мишина мама при виде этого зрелища сначала заохала, потом часто-часто заморгала и, наконец, заплакала. Мишин папа был скроен значительно крепче. Папа не стал охать. Он подошел к стене и снял с гвоздя толстый солдатский ремень; хоть сыну было не семь лет, а пятнадцать и он давно уже не был порот, папа отстегал его в этот вечер. Воспользовавшись правом родного дяди, папа прошелся несколько раз также и по спине левого крайнего детской команды «Строитель».

Переход в восьмой класс — немаловажное событие в жизни пятнадцатилетнего человека, и тот факт, что Миша решил отметить это событие, вряд ли должен вызывать наше удивление. Отметить событие следовало. Но как?

— Конечно, по-настоящему, — сказали Мишины товарищи.

А левый крайний, этот самый почетный из гостей, прямо показал себе за галстук и с видом бывалого выпивохи многозначительно щелкнул языком.

Миша, зная крутой нрав своего родителя, пробовал перевести разговор на чай с пирожными. Но гость оказался дошлым. Гостю пришла в голову фантазия устроить вечер совсем как у взрослых, и Мише волей-неволей пришлось отправиться на угол в магазин «Гастроном» и истратить там все свои сбережения, предназначавшиеся с давних пор на покупку часов.

Я разговаривал с Мишей через два дня после злополучных событий, когда страсти в соседней квартире улеглись и новоиспеченный восьмиклассник мог откровенно рассказать мне о своем грехопадении. Я слушал Мишу и удивлялся не столько форме самого банкета — мало ли какие фантазии могут взбрести в головы пятерых мальчишек! — меня возмущало то, что эти самые мальчишки, попав в соблазн и во искушение, не были вовремя ограждены от грехопадения людьми взрослыми. А такая возможность была. Первым мог сделать это доброе дело продавец «Гастронома».

Я был в «Гастрономе» и видел этого продавца. Сначала он произвел на меня хорошее впечатление. Высокый, благообразный человек лет пятидесяти. Как знать, может быть, дома у него было несколько собственных

сорванцов, которых он в свободное от торговли время заботливо наставлял на праведный путь в жизни. А вот здесь, за прилавком, этот самый продавец, к сожалению, уже не помнил о своей принадлежности к почетному сословию родителей.

Я спросил:

— Почему в магазине продают водку несовершеннолетним?

Этот простой вопрос удивил продавца и завмага.

— У нас не детский сад, а «Гастроном», и мы люди коммерческие, — сказал завмаг. — Если у человека выбит чек и припасена исправная посуда, то мы обязаны дать ему то, что он требует.

— А своему ребенку вы тоже даете все, что он требует?

Завмаг засопел, покраснел и вместо него ответил продавец:

— Свой не в счет.

Нет, в счет! Советский человек должен радеть о правильном воспитании как своего, так и чужого ребенка. Соблазнов вокруг много. В том же самом «Гастрономе» любой подросток может без всяких помех купить не только вино, но и папиросы. Выбор большой. Есть деньги — бери пачку, мало денег — покупай штучные. И вот маленький человечешка, не умеющий еще навести порядок под собственным носом, тянется к прохожему:

— Дяденька, дай прикурить!

И дяденька делится огоньком, часто даже не поворачивая головы к просящему, не думая о нем.

— Угощайся, разве мне жалко?

А жалеть надо. Не спичку жалеть, а мальчишку, ибо кому-кому, а курильщику-то ведь хорошо известно, какое пагубное влияние оказывает никотин на неокрепший детский организм. Но дело не только в никотине.

Попробуйте как-нибудь вечером пойти со своим сыном или дочкой в кино, скажем, на такой безобидный фильм, как «Конек-горбунок». Вас не пустят. Билетерша извинится и скажет:

— Приходите завтра днем.

— Почему?

— Приказ горсовета.

Есть такой приказ, который делит сутки на две ча-

сти: день — детям, вечер — взрослым. Правильное деление. Детям нечего смотреть фильмы, которые предназначены для взрослых. Этот приказ делал большое и доброе дело до тех пор, пока днем демонстрировались фильмы по специально утвержденной программе. Но вот с недавних пор директора кинотеатров явно в коммерческих целях начали крутить днем «боевики», никак не рассчитанные на детскую аудиторию.

На днях я был на одном таком сеансе в кинотеатре «Колизей». Время каникулярное, зал полон школьников, а на экране «Риголетто» — заграничный фильм, смакующий амурные похождения оперного герцога. В опере есть хотя бы музыка Верди, а здесь ничего, кроме пошлости. Я спросил билетершу, почему она пустила в зал детей.

— А днем это не запрещается, — ответила билетерша.

Подошел директор кинотеатра и вместо того, чтобы сделать замечание билетерше, сделал его мне:

— Воспитывайте своего собственного сына, а о чужих, гражданин, не печальтесь.

Воспитывать нужно не только своего сына, как думает директор кинотеатра. За правильное воспитание детей морально отвечает каждый из нас, и кто бы ты ни был и где бы ты ни был — на улице, в трамвае, в кино, в магазине, — дети должны всегда видеть и уважать в тебе строгого и любящего старшего. А роль старшего определяется не только родственными признаками.

Плох тот отец, который дома читает сыну проповеди о вреде табака, а на улице прикуривает папиросу от одной спички со школьником.

1948 г.

Шиворот-навыворот

Недоразумение началось с шутки. На третьем часу репетиции студенческого самодеятельного коллектива Владимир Ленский устал и вместо того, чтобы спеть: «Куда, куда вы удалились...», — спел:

Вот умру я, умру я,
Похоронят меня...

Изменение, внесенное Ленским в текст оперы, было встречено веселым хохотом. Дирижер постучал по пюпитру и сказал студентке, исполнявшей роль Ольги:

— Пока Ленский отдыхает, давайте повторим арию из первой картины.

Ольга вышла вперед, откашлялась, но вместо того, чтобы приступить к пению, стала держать речь.

— А что, — сказала она, — если нам вместо настоящей оперы подготовить к капустнику шуточную?

— А это как понимать?

— Давайте петь шиворот-навыворот, как пел сейчас Ленский.

Случилось так, что предложение Ольги, которую, как известно, даже Пушкин считал существом легкомысленным и ветреным, было встречено всеобщим одобрением. Обновление текста и музыки «Евгения Онегина» шло так интенсивно, что через две недели состоялся показ спектакля.

Зрительный зал полон. Раздаются звуки знакомой музыки. Поднимается занавес, а на сцене творится нечто непонятное. Ларина поет почему-то не свою арию, а арию Сильвы:

Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?

Татьяна просит няню:

Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?

А няня в ответ поет:

Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой...

Перетасовки арий в опере были очень неожиданны. Зрители смеялись над одной нелепостью, над второй. А нелепостям не было конца. И когда наконец в последней картине Онегин вместо своего знаменитого ариозо спел Татьяне:

Так будьте здоровы,
Живите богато...

чувство самой настоящей неловкости охватило многих

из присутствующих. Люди не понимали, для чего было подготовлено такое представление.

— Как для чего?! — оправдывались участники спектакля. — Для смеха, чтобы повеселиться. Это же капустник.

Такое оправдание мало кого удовлетворило. Профессор Васильев был сконфужен больше других. Ему, ректору института, хотелось сейчас же собрать у себя в кабинете студентов и объяснить всю бестактность перекройки «Евгения Онегина» смеха ради.

Предполагаемый разговор в этот вечер, однако, не состоялся. В последнюю минуту профессор пожалел студентов. Зачем-де портить им капустник? И разговор был перенесен с субботы на понедельник. Потом на пятницу, снова на понедельник...

Так прошел месяц, второй. Неудача со студенческим капустником начала уже забываться, как вдруг в комитете комсомола раздался неожиданный телефонный звонок. Секретаря комитета просили немедленно явиться в горком комсомола, и не одного, а вместе с постановщиком оперы.

— Запоздалый гром, — сказал секретарь комитета.

А постановщик добавил:

— Теперь начнется проработка.

И членам комитета стало жаль участников капустника.

«Ну, хорошо, — думали они, — сделали ребята ошибку — допустили бестактность, так ведь это не злостная ошибка, а случайная. Стоит ли через два месяца после происшествия подвергать ребят проработке?»

Участники капустника отправились в городской комитет одной большой компанией. Вместе грешили, вместе и отвечать. Пришли и остановились перед дверью заведующего сектором культуры. Войти внутрь неловко. Еще бы, старуху Ларину не пожалели — заставили ее петь легкомысленные куплеты. Но тенора и баритоны робели зря. Заведующий сектором Гоша Лисицын оказался молодым радушным человеком. Он вышел из-за своего стола и, широко улыбаясь, двинулся навстречу гостям.

— Привет оперным реформаторам! Так это вы, значит, поставили «Евгения Онегина» в новой редакции?

Реформаторы переглянулись, покраснели, и кто-то из них сказал:

— Да, мы. Но мы больше не будем.

— Почему? — удивился Лисицын. — Горьком просит вас в порядке подготовки к городскому фестивалю выступить со своим представлением в Доме культуры.

— А вы видели наше представление?

— Лично не видел, но мне рекомендовал его знакомый прораб из Жилпромстроя, а он человек со вкусом.

Но случилось так, что человек со вкусом тоже не видел представления.

— Мне хвалила его Агния Ивановна, артистка горэстрады.

А так как Агния Ивановна воздавала похвалы тоже с чьих-то чужих слов, то неудавшаяся шутка оказалась включенной в программу молодежного вечера явно по недоразумению. Студентам следовало отказаться от выступления в Доме культуры. А студенты не отказались.

— Неудачное представление! А так ли оно неудачно? — стали говорить тенора и баритоны. — Может, это кажется только профессору Васильеву.

И вот наступает день молодежного вечера. Зрительный зал полон. Действие только-только началось, а зрители уже в полном недоумении. Зрители видят на сцене знакомую семью Лариных и не узнают ее. Приезд Ленского и Онегина выглядел так:

ОЛЬГА: Чу! Подъезжает кто-то...

ЛЕНСКИЙ: Мы приехали сюда!

Ах, здрасьте.

ОНЕГИН: Добрый вечер, господа!

Ах, здрасьте.

Представление в Доме культуры продолжалось тридцать минут. И что только за это время не успели пережить несчастные персонажи оперы! Их заставляли петь не свои арии и не своими голосами. Танцевать фокетроты.

Водитель автобуса Попков, автор письма в нашу редакцию, не дождался конца представления и пошел к работникам Дома культуры, чтобы узнать, неужели

им нравится то, что они показывают зрителям. А работники ругают Гошу Лисицына:

— Мы надеялись на его вкус, а он даже не видел того, что включил в программу.

— Я советовался с прорабом из Жилпромстрой, — сокрушенно говорит Гоша Лисицын. — Может, слышали, зовут его Григорий Александрович...

Если бы заведующий сектором культуры пришел за музыкальным советом не в Жилпромстрой, а к какому-нибудь из преподавателей того же пединститута, то никакой ошибки не произошло бы. Преподаватель рассказал бы, как в действительности студенты ведут подготовку к республиканскому фестивалю молодежи. Педагогический институт готовит концерт из оперных отрывков. В том числе и из «Евгения Онегина». Причем настоящего, а не трансформированного. И поют в этом «Онегине» те же студенты, которых он, Лисицын, поставил сейчас в ложное положение перед зрителями.

— Но настоящий «Онегин» вряд ли заинтересовал бы Гошу Лисицына. И знаете, почему? — спрашивает автор письма в редакцию. — Настоящий «Онегин» — это не фестивально.

«Не фестивально» — это новый термин из лексикона Григория Александровича и Агнии Ивановны.

Два года назад в педагогическом институте был организован струнный квартет. В репертуаре квартета — Бородин, Чайковский, Шостакович. А Гоша Лисицын морщится. Он предложил включить в состав квартета два саксофона и барабан.

— Будете играть танцы. Танго, мамбо, блюзы.

— Зачем?

— Это фестивально.

Много оркестров будут играть на республиканском фестивале: симфонические, народные, духовые, джазовые. Десятки песен будет петь молодежь, сотни танцев танцевать, и все это с огоньком, весело. Но давайте скажем Гоше Лисицыну: весело — это вовсе не значит «шиворот-навыворот», как пытаются убедить его недалекие советчики.

Феодал

Летом прошлого года, колеся по южным районам Украины, я оказался в Карцеве. Дом приезжих был закрыт по случаю капитального ремонта, поэтому мне волей-неволей пришлось отправиться с чемоданом в райком комсомола.

— Вы на уборочную? — спросил секретарь.

— Так точно.

— Это хорошо. Урожай у нас богатый. И насчет ночлега не беспокойтесь. Обеспечим. У нашего учтата большая квартира.

Я не любил останавливаться в командировках на частных квартирах, поэтому, показав на райкомовский диван, сказал секретарю:

— Разрешите остаться здесь?

— Зря отказываетесь, — сказал секретарь. — Здесь жестко и неудобно. Кроме того, будет неплохо, если вы поближе познакомитесь с нашей Наденькой и как следует проберете ее.

— За что?

— За отсталость во взглядах. По паспорту Наденьке двадцать лет, а по образу мыслей — это давно прошедшее время. Работает она, как департаментский чиновник: от сих до сих. В девять приходит, в шесть уходит.

— Она всегда работала так?

— Прежде Надя была другим человеком. Пела в хоркружке, стометровку бегала за тринадцать с половиной секунд. А сейчас ни о чем, кроме домашнего хозяйства, и думать не желает. И откуда взялась такая метаморфоза? Муж у нее — активист, танцор, весельчак. Ну что там говорить — душа общества! Мы его недавно председателем районного комитета физкультуры выдвинули.

В этом месте стенные часы в кабинете секретаря заворчали, заохали и гулко отбили шесть часов. И вместе с последним ударом из дверей райкома вышла на улицу высокая белокурая женщина.

— Она, — сказал секретарь и, открыв окно, крикнул: — Наденька, на минуточку!

Надя подошла.

— Вы не могли бы приютить у себя на два-три дня вот этого товарища?

По-видимому, секретарь райкома не раз обращался к своему учету с такой просьбой, поэтому учет не удивился и сказал:

— Да, конечно.

Так я познакомился с Наденькой и сразу же подвел ее. Пока я прощался с секретарем и договаривался с ним о завтрашней поездке в колхоз, прошло минут двадцать, а эти минуты имели, оказывается, весьма немаловажное значение в семейной жизни учетного работника райкома комсомола. За это время Наде нужно было дойти до дома, накрыть на стол и разогреть обед, чтобы ее супруг, явившись с работы, мог без задержки приняться за еду.

Я выбил Наденьку из расписания. В этот день первым явился домой муж. Стол оказался ненакрытым. Муж подождал пять минут, десять. Наденьки все не было. Вместо того чтобы пойти на кухню и разжечь керосинку, Виктор Жильцов трагически опустил на диван и стал безнадежно смотреть в верхний угол комнаты. Прошло еще пять минут. Наденьки все не было, безнадежность не рассеивалась, и «душа общества», обреченно махнув рукой, лег на диван лицом к стенке. Ему казалось, что со времени его прихода домой прошло не пятнадцать минут, а пятнадцать суток, что голод сделал уже свое страшное дело и он, Виктор Жильцов, доживает теперь свой последний час. От этих мрачных мыслей ему стало жаль самого себя, молодого, веселого, которому приходится погибать из-за легкомысленного отношения жены к своим семейным обязанностям.

А жена в это время, подстегиваемая угрызениями совести, поднималась уже на крыльцо своего дома.

— Он у меня такой беспомощный, — сказала она и неожиданно замолчала.

Из дальней комнаты послышался тихий, приглушенный стон:

— Умираю...

— Кто умирает? — испуганно спросила Наденька.

— Это я, Виктор Жильцов, умираю, — слышалось в ответ.

Наденька побежала в дальнюю комнату и остановилась около дивана.

— Что с тобой, милый? — спросила она.

Мне тоже стало страшно за жизнь председателя районного комитета физкультуры. Я бросил чемодан в передней и побежал за Наденькой, чтобы быть чем-нибудь полезным ей.

— Где у вас вода?

Но вода оказалась ненужной. Услышав в комнате чужой мужской голос, умирающий перестал стонать и быстро вскочил на ноги. Виктор Жильцов не рассчитывал на присутствие посторонних, поэтому ему было очень неловко. Он растерянно посмотрел на меня, не зная, с чего начать разговор. На выручку пришла Наденька.

— Знакомься, — сказала она мужу и представила ему некто забредшего гостя.

Виктор закашлял, затем вытащил из кармана портсигар и протянул его мне:

— Курите.

Пока мы закуривали, Наденька успела разжечь керосинку и разогреть обед. В половине седьмого Виктор Жильцов занял место за столом и взялся за ложку. С опозданием на двадцать минут жизнь в этом доме вошла в свою обычную колею. Борщ супруги ели молча. После борща муж задал жене первый вопрос:

— А как моя белая рубашка?

— Уже выстирана, после обеда я выглажу ее.

Виктор нахмурился, затем не выдержал и сказал:

— Ты же знала, Наденька, сегодня в клубе лекторий.

Наденька отодвинула тарелку с недоеденной котлетой и ушла на кухню разогревать утюг. Виктору стало неудобно, и, для того чтобы оправдаться, он сказал:

— Женщина она неглупая, а вот простых вещей не понимает. По четвергам в лекторий собирается весь город. Там и райкомовцы и работники райисполкома, и мне нельзя идти туда не в свежевьютенной рубашке.

Но эти оправдания не прибавили мне аппетита. Есть почему-то уже не хотелось. Когда Виктор закончил все счета со вторым и третьим блюдами, белая рубашка оказалась уже выглаженной. Виктор бережно за-

брал ее из рук супруги и ушел в соседнюю комнату переодеваться. Наденька снова пододвинула к себе тарелку. Но котлета уже остыла, да и сидеть одной за столом было не очень-то уютно, поэтому Надя заканчивала еду без всякого удовольствия.

Между тем акт переодевания в соседней комнате подошел к концу. До начала лекции у мужа осталось пять резервных минут, и муж решил посвятить эти минуты жене. Он чуть приоткрыл дверь и громко шепнул из соседней комнаты:

— Я люблю тебя, Наденька!

Затем он сделал паузу и прошептал то же самое вторично. Наденька смущенно смотрела на меня и молча расцветала от счастья. Она, по-видимому, не читала кое-каких рассказов Чехова и поэтому не знала, что такой спектакль уже разыгрывался когда-то для другой.

— Я люблю тебя, Наденька!

Бедная Наденька, она искренне верила, что эту ласковую фразу сочинил ее Витенька для нее одной, и из-за этой фразы она быстро забыла о только что доставленной ей неприятности.

Но вот подошли к концу пять резервных минут, дверь в столовую приоткрылась, в дверях показался красивый, благоухающий Виктор и сказал:

— Я приду в одиннадцать, прощай.

Хлопнула дверь парадного.

— А вы разве не пойдете в лекторий? — спросил я Наденьку.

— Я пойду, но позже, — ответила Надя и стала торопливо убирать со стола.

Но позже Наде не удалось пойти в клуб. Весь вечер она возилась по хозяйству. Штопала, гладила, готовила на завтра обед. Когда Виктор Жильцов пришел в одиннадцать часов из клуба, его жена только-только успела закончить работу по дому.

— А ты зря не была в клубе, — сказал он. — Лектор приехал из области знающий, да и ребята из райкома спрашивали про тебя.

Выпив на ночь стакан молока и закусив его куском пирога, Виктор поцеловал жену в лоб и сказал:

— Смотри, Наденька, отстанешь ты от жизни.

Утром следующего дня, когда муж встал и оделся,

Надя уже ушла на работу. Председатель районного комитета физкультуры сел за завтрак, заботливо приготовленный ему женой. Он лениво ковырнул вилкой в тарелке и сказал:

— Моя мать готовила запеканку не так. Ту с пальцами можно было съесть.

— Ваша мать была раза в три старше и опытнее, — сказал я.

— Дело не в возрасте. Не тому учат девчат в наших десятилетках. Алгебра, физика... — иронизировал Виктор. — А им надо читать лекции по домоводству и кулинарии.

— Э... молодой человек, а вы, оказывается, феодал!

— Ну, вот уже и ярлычок привешен, — обиделся мой хозяин и вышел в переднюю.

Но не прошло и минуты, как он, обозленный, влетел обратно в комнату:

— Вот вы заступаетесь за нее, а она, извольте видеть, даже калоши не вымыла!

— Кому, вам или себе?

Виктор смутился, но ненадолго:

— Пусть моет не сама, но организовать это дело — ее обязанность. Мне же некогда. Я спешу на работу.

— А она разве не спешит?

— Вот я и говорю, раз она тоже спешит, пусть встанет на час раньше и проявит хоть какую-нибудь заботу о муже.

— На час?

— Что же тут удивительного? Моя мать вставала раньше меня не на час, а на два.

Мне хотелось схватиться с этим барчуком напрямую, но я сдержался и сказал:

— Зря вы расстраиваетесь из-за всякой мелочи.

— Домашний уют не мелочь! — вскипел Виктор. — Я в день по двадцать человек принимаю. Меня нельзя раздражать пустяками. А ей хоть бы что. Она знай нервнует!..

— На такую жену, как Надя, грех жаловаться. Она из-за вас отказалась от всего: и от подруг, и от спорта, и от пения.

— Пусть поет, я не запрещаю.

— Но вы и не помогаете ей! Для того, чтобы жена

пела, она должна видеть в муже не повелителя, а товарища.

— Это вы, собственно, о чем?

— Да хотя бы о тех же самых калошах. Возьмите и помойте их. И не только себе, но и ей тоже. Попробуйте хоть раз подмести комнату, принести воды из колодца.

— Ну, нет, увольте! Я с ведрами ни за что не выйду на улицу.

— Почему?

— Это может унижить мое мужское достоинство.

— Да разве в этом мужское достоинство?

— О, вы не знаете, какое на нашем дворе отсталое общественное мнение!

Разговор с председателем районного комитета физкультуры оставил весьма неприятный осадок, и, хотя два следующих дня я провел в колхозах и набрался новых впечатлений, образ бедной Наденьки нет-нет да и возникал перед моими глазами. Наконец, я не выдержал и сказал секретарю райкома комсомола:

— Знаете, а мне совсем не нравится этот самый «душа общества».

— Почему?

— Взгляды у него отсталые.

— Ну, это вы зря! Жильцов активно участвует во всех культурных мероприятиях. Он аккуратно ходит в лекторий, регулярно читает журналы, газеты...

— Значит, плохо читает. И уж если разговор пошел о людях отсталых, то я бы на месте райкома адресовал свои претензии не Наденьке, а ее супругу.

1949 г.

Из семейной хроники

Лет пятнадцать — двадцать назад в выставочном зале на Кузнецком мосту дебютировал молодой способный художник. Он представил небольшую картину, на которой был изображен колхозный сад в момент окопки

деревьев. Несмотря на простой и бесхитростный сюжет, картина останавливала на себе внимание каждого, кто видел ее. Здесь все говорило о весне. И солнце, и небо, и черные ломти только что вскопанной земли.

Но особую прелесть весеннему пейзажу придавала молодая смущающаяся колхозница с милой родинкой на щеке, которая стояла у яблони с садовыми ножницами в руках. Все знали, что прообразом этой колхозницы художнику послужила его жена Машенька, и все поздравляли художника и его жену с успехом.

Успех окрылил художника, и он, не теряя времени, сразу же принялся за новую картину. И хотя новая картина изображала не колхозный сад, а железнодорожный полустанок, автор снова нарисовал на первом плане свою супругу. На сей раз Машенька держала в руках уже не ножницы, а большой гаечный ключ. Правда, образ супруги художника не слишком-то вязался с образом паровозного кочегара. Но у этого кочегара была на щеке такая милая родинка, а из глаз струилось столько лучистой молодости, что зрители решили простить автору его прегрешения перед образом кочегара.

— Ваша Машенька вроде беспронгрышной облигации, — сказал молодому художнику служитель выставочного зала. — При такой натуре художнику и делать нечего, только сиди и стриги купоны.

Молодой художник так, собственно, и делал. К каждой выставке он готовил новые работы, но новым в них было только внешнее оформление, а в центре картины, как и прежде, изображалась супруга художника, в руках у которой был то скальпель хирурга, то скребок сталевара, а то и ранец школьницы.

Шли годы. Машенька превратилась сначала в Манечку, затем в Марию Михайловну. Из ее глаз уже не лучилась спасительная благодать молодости, а милая родинка на щеке стала похожа на бородавку. Художнику виделись новые персонажи, но он не мог рисовать новое. Да если бы он и захотел, то Мария Михайловна не позволила бы ему сделать это. Старуха так привыкла к золотому багету рам и вернисажам, что даже тогда, когда ей по сюжету и не пристало лезть на первый план в картине, она устраивала мужу истерики и

требовала, чтобы он по-прежнему рисовал ее впереди всех других со школьным ранцем в руках.

— Неправда, — скажет читатель, — такого случая не было.

Правильно, в живописи не было. А в других областях искусства?

Одного музыканта назначили главным дирижером театра. И, едва приняв бразды правления, он тут же пристроил свою супругу, весьма посредственную танцовщицу, прима-балериной.

У директора завода прав не меньше, чем у дирижера, но ни один директор никогда не назначит свою жену, пусть даже прекрасного специалиста, главным инженером завода. Да что директор завода! Иной упорядком постыдится использовать власть для того, чтобы назначить свою жену дворником или швейцаром. В соседний дом — да, пусть идет, а в свой неудобно.

Совсем по-другому рассуждают работники искусства.

У жены художественного руководителя Энского оперного театра лирическое сопрано. И этот руководитель вот уже который год подряд не ставит на своей сцене «Кармен», потому что героиня оперы должна петь не сопрано, а меццо-сопрано.

Такие нравы встречаются, к сожалению, не только в театре.

Некоторое время назад режиссер N. докладывал на художественном совете кинофабрики о своем будущем фильме. После того как был прочитан сценарий, режиссер стал рассказывать, кого он собирается пригласить для участия в кинокартине. Режиссер читал список действующих лиц, а на экране в это время демонстрировались снимки актеров, претендующих на ту или иную роль. Собравшимся было приятно, что режиссер так строг в подборе исполнителей, что он выбирает лучших даже из числа народных и заслуженных. А режиссер N. и впрямь был строг, он заснял на пленку по нескольку кандидатов на каждую роль и попросил у собравшихся совета:

— Подскажите, на ком остановить выбор.

И ему охотно стали подавать советы. Все шло на этом обсуждении как нельзя лучше. Отбор артистов на мужские роли подходил уже к концу, и собравшиеся жда-

ли, когда режиссер назовет имя героини фильма. Каждому интересно было узнать, какая из актрис будет играть героиню.

Но, увы, законный интерес собравшихся так и не был удовлетворен. В зале неожиданно вспыхнул свет, и режиссер сказал:

— Ну, вот и все.

— Как все? — удивленно спросили из зала. — А кто же будет играть героиню?

— То есть как кто? Вы разве не знаете?

И тут все вспомнили, что героиней своих фильмов режиссер всегда выбирает только одну актрису — свою супругу. Он и сценарий так кроит, перекраивает, чтобы его супруга была солнцем, вокруг которого движутся актеры-спутники.

Н. — хороший, талантливый режиссер, у него хватает и вкуса и нужной строгости при подборе артистов на все роли фильма, кроме роли героини.

Нам могут сказать:

— У каждого искусства свои традиции.

Неправда! Представьте себе только на мгновение, как нелепо выглядели бы залы Третьяковской галереи, если бы такие дикие нравы существовали в действительности. Тогда вместо «Боярыни Морозовой» мы бы увидели на картине супругу художника. Супруга другого художника писала бы вкупе с запорожскими казаками письмо турецкому султану. Дело дошло бы до того, что в «Сосновом бору» Шишкина стали б резвиться не маленькие Мишки, а старенькие Машки.

Конечно, жена кинорежиссера может быть хорошей, талантливой актрисой. Что ж, прекрасно! Пусть снимается и она, но только не в ущерб искусству и художественной правде.

1951 г.

Дитя домостроя

Иван Кондратьевич Хворостенко с утра был в подавленном настроении. Он отказался от чая, забраковал три проекта решения, составленные к очередному

заседанию бюро, и велел междугородной станции вызвать на провод семнадцать райкомов комсомола.

Междугородный провод был для работников обкома своеобразным прибором, по которому они определяли давление крови в организме первого секретаря.

Заказ на пять вызовов означал: Иван Кондратьевич не в духе; когда заказывались десять вызовов, каждый знал: Хворостенко разговаривал ночью с Москвой, получил за что-то внушение и теперь до вечера будет метать громы и молнии. При пятнадцати вызовах инструкторы, завы и замзавы отделов без всякого понуждения к тому сверху расходились по предприятиям, чтобы не попадаться на глаза Ивану Кондратьевичу. Пятнадцать было максимумом. И вдруг сегодня семнадцать вызовов! К чему бы это? Даже зав. финхозсектором, самый осведомленный человек в обкоме, и тот беспомощно разводил руками:

— Не знаю.

Неопределенность положения усугублялась тем, что Иван Кондратьевич переживал на этот раз свое несчастье, не повышая голоса. Он ушел в самого себя. Молча рисовал чертиков, молча вырывал листики с нарисованным из блокнота и кидал их в корзину. За этим задумчивым занятием я и застал его в то злополучное утро семнадцати вызовов. Хворостенко поднял печальные, страдающие глаза и убитым голосом сказал:

— Нет у нас теперь Васьки Попова.

И хотя я не был знаком с Васькой Поповым и даже не знал о его существовании, мое сердце болезненно сжалось от тяжелого предчувствия.

— Что, умер Васька? — спросил я.

Иван Кондратьевич безнадежно махнул рукой:

— Хуже! На районной конференции прокатили. Не избрали Ваську Попова в Дубровке секретарем.

— А это плохо?

— Зарезали! Без ножа... — И Хворостенко жестом обреченного человека провел ладонью по собственному горлу.

— А что, этот самый Васька Попов был, по видимости, прекрасный человек? — спросил я.

— Да нет, человек он совсем пустопорожний. Двух слов связать не может.

— Вот как! Ну тогда, очевидно, Васька зарекомендовал себя хорошим организатором? Знаешь, бывает на язык человек не боек, но рукаст. В работе никому спуску не дает.

— Одно название — организатор, — сказал Хворостенко. — Всеми делами у него в райкоме учетный работник заправлял.

Я отказывался понимать Ивана Кондратьевича. Конференция провалила кандидатуру плохого секретаря — зачем же было грустить по этому поводу и рисовать безнадёжных чертиков в своем блокноте?

— Тебе очень жалко Ваську?

— Да разве я о нем печалюсь? Не того человека на его место избрали. Знаешь, кто теперь секретарем в Дубровке? Учетный работник.

— Тот самый?

— Тот.

— Да ты же сам хвалил этого парня.

— В том-то и беда, что не парень, — страдающим голосом сказал Хворостенко. — Будь бы этот учетчик человеком мужского пола, я бы сам проголосовал за него обеими руками. А то ведь девушка, а они ее в секретари.

— Ты что же, против выдвижения девушек?

— Ни в коем случае! Учетчиком, инструктором, да же вторым секретарем — не возражаю. Но первым должен быть только парень. Девушка осложняет руководство. Вот Васька Попов слабее, а руководить им проще. Не сделает чего-нибудь или проштрафится — вызовешь его к телефону, подольешь горячего, он и завертелся. А для девицы слова специальные подбирать нужно: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья». В прошлом году я не удержался, брякнул одной напрямик, попростецки, что думал, — она в слезы. Письмо в ЦК ВЛКСМ, мне нахлобучка.

— Это не довод. Держи себя в руках, не расходишь зря горячее.

— Со стороны хорошо советовать. А ты попробуй поработай с ними. Секретарь райкома должен по колхозам бегать, а она не может: у нее муж, трое детей.

Я посмотрел в учетную карточку нового секретаря в Дубровке и сказал:

— О каких детях ты толкуешь? Она даже не замужем.

— И того хуже. Значит, про нее сплетни распустят в районе.

— А ты заступись. Тут тебя никто за язык держать не будет.

Иван Кондратьевич устало поднял глаза. Он ждал от меня сочувствия и не нашел его.

— Я, конечно, понимаю, — сказал он, — девочкам надо создавать соответствующие условия, больше помогать в работе. Но все это осложняет руководство. А я другого хотел. У меня уже в девятнадцати райкомах парни сидели. За каждого драться пришлось. Думал, все, только работай — и вдруг, на тебе, прорыв в Дубровке.

Позвонил телефон. Рапортовал инструктор, посланный в Черемшаны на комсомольскую конференцию.

— Ну, как? — крикнул Иван Кондратьевич в трубку. — Рябушкина не избрали? А кто вместо него?

Секретарь обкома побледнел.

— Девушка?!

В этом месте Хворостенко хотел брякнуть что-то напрямик, по-простецки, но, вспомнив, что в комнате находится корреспондент, взял себя в руки и сказал инструктору, сдерживая негодование:

— Ну и что ж, что она учительница? А куда ты смотрел? Почему не дал отвода? Как нет основания?

Инструктор, как видно, не понимал деликатных намеков, и Хворостенко в сердцах бросил трубку.

Комсомольцы поправляли секретаря обкома, а он все упорствовал:

— Не пуцу! Учетчиком, инструктором, даже вторым секретарем — не возражаю. Но первым должен быть только парень. Не пуцу!

Запоздалое дитя домостроя, ему и невдомек, что комсомольцы могут в один прекрасный день прокатить на областной конференции его самого так же, как они сделали это на районной с Васьной Поповым.

1948 г.

Кукарача

Сначала в редакцию принесли письмо, а дня через два пришел и его автор. Вернее, не пришел, а влетел в образе встревоженного, взволнованного гражданина.

— Помогите! Моему Мальчику семь месяцев, а ему до сих пор не дают золотой медали.

— Семь месяцев? Так за что же ему, собственно, давать медаль?

— За породу. Вы разве не знаете, кто мать моего Мальчика? Кукарача. Не та Кукарача, которая была у Жуховицких, а знаменитая, длинношерстная. И вот из-за гнусных интриг жюри...

Я смотрел на Владимира Васильевича Морева и не понимал. Ну можно ли взрослому, солидному мужчине принимать так близко к сердцу решение жюри собачьей выставки! А Владимир Васильевич волновался день, другой, а потом даже слег в постель, будто золотой медалью обнесли не семимесячную таксу, а его самого.

Все эти переживания были тем более удивительны, что на прядильной фабрике Владимир Васильевич Морев был известен как трезвый, рассудительный человек. И вдруг у этого человека из-за какого-то щенка — сердечный припадок.

— Они не имели права, — жаловался больной. — Мой Мальчик первый кандидат в медалисты. И по ладам, и по стати, и по экстерьеру.

На прядильной фабрике только удивлялись: когда технолог Морев успел сделаться таким знатоком собачьих статей? Ведь до самого последнего времени он с трудом мог отличить таксу от крысы.

Владимир Васильевич пристрастился к четвероногим недавно и неожиданно. Его увлечение щенками началось в то время, когда появился новый директор хлопчатобумажного комбината Кирилл Константинович Пряхин. А новый жил, оказывается, в одном доме с Моревым и был владельцем Кукарачи, той самой знаменитой, длинношерстной... Это он, Пряхин, дважды в день, утром и вечером, прогуливал своего пса по улице, вызывая умиление у жены Морева — Ольги Петровны. И в самом деле, картина была трогательная. Крохотная со-

бачонка семеняла рядом с крупным, могучим мужчиной. И этот мужчина осторожно переставлял ноги, которые колоннами возвышались над таксой, чтобы случайно не задеть ее, маленькую, чуть больше дамской туфельки.

Самого же Морева ежедневные прогулки владельца Кукарачи не умиляли, а коробили. При его-то солидности. И хоть бы пес был псом, а то какая-то каракатица.

И вдруг — неожиданный пассаж. Владимир Васильевич приходит с работы домой, а жена ему навстречу с такой же точно каракатицей в руках.

— Знакомься: Мальчик, сын Кукарачи.

— Зачем? Откуда?

— Пряхин подарил. Еле упростила. Это лучший щенок из помета.

Мореву хотелось взять этого лучшего и выбросить за порог. Но он сдержался и спросил:

— А кто будет гулять с твоим Мальчиком?

— По очереди. Я и ты.

— Я? Ни в коем случае.

Но попробуй не пойдешь. Жены нет дома, а пес скулит. И Морев волей-неволей стал сопровождать каракатицу на прогулки. Впереди бежала она, а сзади на поводке, пытаясь сохранить мужское достоинство, важно шествовал сам Владимир Васильевич.

Двадцать лет прожил Морев в доме текстильщиков и не знал, сколько бетонных тумб установлено на их улице. И вот теперь с помощью Мальчика он наконец произвел точный подсчет и тумб, и фонарных столбов, и троллейбусных мачт. И здесь, не то у столба, не то у тумбы, как-то в воскресный день знаменитая Кукарача встретила после трехмесячной разлуки со своим пока еще безвестным отпрыском. Собаки обнюхались, а мужчинам пришлось приподнять шляпы и раскланяться.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Так технолог прядильной фабрики познакомился с директором своего комбината.

— Ну как? — спросил директор. — Не ругаете меня за собачку?

— Что вы, что вы! Мы все очень рады. И я и жена.

— А чумкой ваш Мальчик еще не болел?

— Чем?

— Э... э... друг, — пожурил технолога директор. — Какой же вы собаковод, если не слышали про чумку.

— Нет, почему же, — спохватился Морев. — Я слышал. Чумка — это то самое, которое... Ну спазмы, посинение... — начал было объяснять Морев и запутался.

— Нет, нет. Не то. Вы лучше сходите в ветеринарную лечебницу, вам объяснят, — посоветовал Пряхин и улыбнулся.

Два дня из-за этой улыбки Морев корил себя:

«Эх ты, шляпа. Встретиться в приватной обстановке с директором комбината — и так глупо оконфузиться».

Для того, чтобы в следующий раз предстать перед начальством более осведомленным человеком, Владимир Васильевич стал восполнять пробелы в своем образовании. Он не только консультировался у ветеринаров, но и в порядке самостоятельных занятий штудировал книжки кинологов, в которых писалось о собаках: об их болезнях, повадках, рационе...

В результате через месяц-другой Морев уже не краснел, сопровождая Кирилла Константиновича Пряхина с его Кукарачей в их утреннем путешествии от тумбы к тумбе. Владимир Васильевич столь бойко рассуждал об экстерьере, прикусе и разных блюдах из собачьего меню, что даже вошел в доверие к Пряхину, и тот пригласил Морева к себе в гости.

— Зайдите посмотрите на новое потомство моей Кукарачи.

После этого приглашения Владимир Васильевич почувствовал себя на короткой ноге с директором, и ему стали приходиться в голову всякие фантазии. Вначале эти фантазии касались только Мальчика.

Хорошо бы выхлопотать этому щенку золотую медаль.

Затем Морев вспомнил и о себе.

— Не плохо бы и мне продвигнуться из простых технологов в главные.

И чем чаще Кукарача семенила рядом с Мальчиком, тем подобоострастнее смотрел Морев в глаза Пряхина: «А чем черт не шутит. Все в воле директорской».

Но Морев старался напрасно. Заботливый владелец Кукарачи оказался мало заботливым директором комбината, и его перевели с руководящей работы на рядовую. И хотя бывший директор продолжал жить в том же доме и гулял с Кукарачей по той же улице, но Морев как-то сразу утратил интерес к этим прогулкам. Мореву хотелось быть на короткой ноге уже не с бывшим, а с нынешним директором. Нынешний же, Сергей Сергеевич Карпов, был не собачником, а футбольным болельщиком. Карпов не чаял души в команде «Торпедо», а самого молодого игрока этой команды, Стрельцова, считал лучшим нападающим Европы.

И вот бывший собаковод в экстренном порядке стал перекрашиваться под болельщика. Морев выписал «Советский спорт», купил кучу футбольных справочников и с помощью этих пособий уточнил, сколько мячей в текущем сезоне забил противникам лучший нападающий Европы. Но одной этой цифры было мало, чтобы стать своим человеком у поклонников автозаводской команды. Истинный болельщик «Торпедо» должен был знать не только, сколько мячей забил Стрельцов, но и чем забил. Сколько правой ногой, сколько левой. И не только чем, но и как забил: носком ли, подъемом, пяткой, коленом, грудью, плечом, бровью...

Такие подробности в официальных справочниках, конечно, не регистрировались. Их держали в своей памяти лишь завсегдатаи Восточной трибуны — мальчишки.

И Мореву пришлось устанавливать связи с незнакомым ему братством несовершеннолетних болельщиков. Он ходил на стадион, смотрел, свистел, постигал. К концу лета мальчишки стали считать странного дядю своим человеком. И не удивительно. Станный дядя сильно преуспел в их обществе. Он изучил биографии не только игроков «Торпедо», но и их жен, родственников, знакомых. Морев с апломбом рассуждал о недостатках защитной тактики, ругал нападающих «Динамо», «Спартак», хвалил Стрельцова. В общем, наступил день, когда Морев понял, что он уже созрел для знакомства с директором. А поняв это, он стал покупать билет не на Восточную, а на Северную трибуну.

Вот здесь мне и довелось встретиться во второй раз

с технологом Моревым, и я поневоле обратил внимание на странное поведение этого человека.

Во время выступлений «Торпедо» Владимир Васильевич садился обычно поблизости от Сергея Сергеевича Карпова и громче всех поощрял действия молодого Стрельцова. А для того, чтобы эти поощрения производили больше впечатления, Морев широко пользовался жаргоном Восточной трибуны. Вместо того, чтобы сказать «бей по мячу головой», он иступленно кричал:

— Мозгой ее, мозгой!

Сначала окружающие посмеивались над неистовым болельщиком. Потом стали привыкать к нему. И если иногда Морева не оказывалось почему-либо на стадионе, постоянцы Северной трибуны справлялись один у другого:

— А куда девалась наша «Мозга»? Не заболел ли он, случаем?

И вот как-то в конце зимы, в это самое тоскливое для болельщиков время, когда прошлый футбольный сезон уже закончился, а новый еще не начинался, Сергей Сергеевич Карпов встретил во время обхода прядильной фабрики технолога Морева и обрадовался ему, как родному.

— Смотрите, «Мозга». Разве вы наш, а не автозаводский?

— Как же, кадровый текстильщик.

— А я и не знал, — сказал директор и, лукаво подмигнув, добавил: — А ну, заходите ко мне сегодня, поговорим о текстиле.

Морев зашел, и болельщики заговорили, и, конечно же, не о текстиле, а о футболе. А это те же семечки. Их можно грызть часами.

Так технолог Морев познакомился с директором комбината, и, когда наступила весна, наши болельщики регулярно стали встречаться после работы на Северной трибуне. Встретятся, улыбнутся друг другу. Дальше улыбок дело у Сергея Сергеевича, однако, почему-то не шло. Морев ждал продвижения по службе, а Карпов об этом ни слова. Кончилась весна, наступило лето, а Владимир Васильевич все еще продолжал жить надеждами.

— Начнет «Торпедо» играть лучше, директор и по-
добрееет, — успокаивал себя он.

И вот на финише футбольного первенства, когда ав-
тозаводцы начали выигрывать один матч за другим
и Морев мысленно считал себя уже главным техно-
логом фабрики, Сергея Сергеевича Карпова совершен-
но неожиданно послали работать в Среднюю Азию, а
на его место был назначен директором Сидор Ивано-
вич Пятницкий.

От обиды Морев чуть не заплакал. Но огорчения не
помешали, однако, ему предпринять энергичные дейст-
вия, чтобы познакомиться с новым директором.

Познакомиться с директором? Чего как будто бы про-
ще. Приходи к этому директору в приемный день и
знакомься. Приходи, а с чем? Если бы у Морева были
мысли и предложения по технологии прядильного де-
ла! Но, увы, таких предложений у технолога Морева
не было. Несмотря на все свои притязания, Владимир
Васильевич был просто маленьким, серым человечком.
И этот человек, не надеясь на свои таланты, делал
ставку на свои знакомства. Была бы у нового директора
такая же Кукарача, как у старого, Морев с радостью
снова снял бы свою шляпу у фонарного столба. Но но-
вый оказался не собачником, а рыболовом-любителем.
В результате через месяц-другой на языке у Морева
было уже десятка три новых слов: лещ, подлещик, ше-
леспер, голавль... Владимира Васильевича интересова-
ли теперь не только новые слова, но и новые проблемы:
не «кто и как забивает мячи», а «кто на что клюет».

У каждой рыбы, как выяснил Морев, был свой
вкус. Одна ловилась на червяка, другая предпочита-
ла мотыля, третья — мормышку. И все это нужно бы-
ло Владимиру Васильевичу изучить, запомнить. Рыболо-
вецкая наука давалась не без труда. Другие любите-
ли ездили рыбачить на машинах. А у Морева ни своей,
ни казенной. Ему приходилось поспешать за рыболова-
ми на своих на двоих. А сколько мук претерпевал Мо-
рев зимой! Пятницкий сидит над прорубью и только
покряхтывает от удовольствия. Ему что? Грудь у Си-
дора Ивановича борцовская, в плечах — косая сажень.
Такой от мороза только здоровеет. А Мореву при его
радикулите — одни страдания. Владимиру Васильевичу

в баньку бы, попарить поясницу, а он каждый выходной вместо отдыха мчится, когда на электричке, а когда и вприпрыжку, за «Москвичами» да «Победами» поближе к природе, туда, где имел обыкновение проводить воскресные дни Пятницкий. Встречи с директором происходили в Звенигороде, на Клязьме, а то и под самой Каширой, на Оке. Сидор Иванович приедет, а любованное им место занято.

— Какая досада! Опять опоздал.

— Садитесь рядом. Рыбы сегодня много, всем хватит.

— На что берет?

— На распаренное пшено.

— А у меня пшена нет, — сокрушается директор.

— Что за разговор, одалживайтесь, — попростецки говорит Морев и придвигает Пятницкому банку.

Рыбаки делят приманку, прикуривают от одного огня и закидывают удочки неподалеку друг от друга. Один смотрит на поплавок и думает о щурятах: пойдут они на распаренное пшено или не пойдут? Другому же в это время мерещится должность главного технолога.

— Господи благослови, кажется, клюнуло! — говорит он и опасливо добавляет: — Лишь бы только министерство не вздумало теперь менять на комбинате директора.

Морев боялся, однако, не только козней работников министерства, но и упрямства своей собственной супруги Ольги Петровны. А споры с супругой шли у него из-за таксы. Привязалась Ольга Петровна к своему Мальчику, и теперь хоть плачь. Три года назад Морев понимал и даже разделял такую привязанность. Но зачем держать каракатицу в доме сейчас? А Ольга Петровна, не считаясь с изменившейся конъюнктурой, продолжала растить и холить свою собаку. В результате на последних двух выставках сын Кукарачи получил две золотые медали. А каждая медаль — это нож в сердце Морева. А вдруг до нового директора дойдет, что он, Морев, был на близкой ноге со старым и даже получил от старого в подарок собачку?

А новому директору и невдомек, чем озабочен Морев. Новый, улыбаясь, смотрит на свой тощий улов —

за целый день два ерша и один пескарь — и говорит:

— На сегодня все. Хотите, подвезу до дому?

И вот машина мчит двух рыбаков-любителей к городу. Один любитель смотрит в окно и восторгается видами, которые раскрываются по обеим сторонам дороги. А второй не обращает внимания ни на запорошенные снегом березы, ни на багровый закат над лесом.

«А что, если привязать этому проклятому Мальчику на шею камень да и ткнуть его в прорубь?» — думает второй, и впервые за весь день на его лице расцветает улыбка.

Шофер останавливает машину у дома текстильщиков. Рыбаки прощаются.

— До воскресенья! — говорит один.

— До воскресенья! — громко, чтобы слышали соседи, отвечает второй и, полный надежд, скрывается в подъезде.

1955 г.

Н. П.—289

Первая книжка стихов — событие в жизни поэта. И пусть в тоненькой книжечке Николая Пояркова не было и сотни страниц, тем не менее каждый, кто знал молодого автора, радовался за него и спешил поздравить с литературным первенцем.

Друзья, товарищи жали Пояркову руку и желали ему в предстоящем плавании по бурным волнам поэтического моря «доброго пути» и «попутного ветра».

Так в поздравлениях прошла неделя, и только когда количество дружеских рукопожатий заметно пошло на убыль, молодой автор вспомнил, что не он один повинен в успехе книжки, и автору стало неловко за свою забывчивость, за то, что он до сих пор не побывал у своего редактора Николая Ивановича и не поблагодарил за помощь, которую тот оказал молодому автору в работе над книжкой.

А помощь была немалая. Скажем прямо, стихи Н. Пояркова в первоначальном виде были не бог весть какой силы. Даже в лучших из них было много ученических строк. Вдобавок неприятный характер автора, который не желал менять в стихах ни одной запятой, ни одного многоточия. Несмотря на сопротивление, редактору все же удалось выместить из стихов поэтический мусор, и тоненькая книжица вышла в свет. Поярков остался доволен книжицей. Он даже сменил гнев на милость и посулил в разговоре с директором издательства поставить своему редактору прижизненный памятник за его муническую работу с неразумным автором.

— Ну вот и хорошо! — решил директор издательства. — Неразумный автор начинает, кажется, уметь.

Но — увы! — эти предположения не оправдались. И для того, чтобы работники издательства не строили на сей счет никаких иллюзий, автор сразу же после разговора с директором отправился в типографию и заказал именной блокнот:

«Николай Варфоломеевич Поярков.

Поэт».

Именной блокнот предназначался Николаем Варфоломеевичем для переписки с поклонницами. Но так как поклонницы пока не беспокоили молодого автора, свою первую записку он адресовал управдому:

«Плата за воду и квартиру завышена на 73 коп. Прошу пересчитать. Ответ посылайте: «Главный почтамт, до востребования».

— Почему «до востребования», — удивлялся управдом, — если Н. В. Поярков живет со всеми нами в одном доме?

Но Поярков не хотел жить со всеми.

«Поэты, как и боги, должны быть прописаны только на Олимпе», — думалось Пояркову, и он давал для солидности всем и каждому такой обратный адрес: «Главный почтамт, до востребования, поэту Пояркову».

Что ни день поэт приходил на почтамт за письмами, и всякий раз работники связи любезно говорили ему:

— Писем на ваше имя еще не поступало.

Поярков ждал не только писем, но и почестей. Ему казалось, что сразу же после выхода в свет его сти-

хов во всех смоленских школах и вузах будут устроены творческие вечера Пояркова. А этих вечеров не было.

Не дождавшись признания своего таланта в областном центре, молодой поэт решил попытаться счастья в районном. И вот в районной газете появилась целая страница, посвященная творчеству Пояркова. На этой странице было все, чего только могла пожелать душа поэта: его портрет, биография, хвалебная статья — все... кроме голоса читателей. Читателям просто-напросто не хватило на этой странице места, ибо все хвалебные статьи по адресу поэта Пояркова были написаны... самим поэтом Поярковым. Что же касается портрета, то клише с портрета было заказано поэтом в областном центре и доставлено лично им в район для опубликования.

Несмотря, однако, на все старания поэта, районный центр, как и областной, остался равнодушным как к его творчеству, так и к его личности.

«Нет, с одной книжкой настоящей популярности не добьешься», — подумал Поярков и решил немедленно издать вторую.

— А редактором вы назначьте мне Николая Ивановича, — сказал Николай Варфоломеевич директору издательства.

Николаю Ивановичу было приятно такое предупредительное отношение со стороны молодого автора, и он тут же принялся за чтение второй книжки Пояркова. Но это чтение не доставило удовольствия редактору. Новых произведений в книжке почти не было. Сборник был составлен из стихов, забракованных в свое время редколлегией областного альманаха. Стихи и в самом деле были очень плохи. В них можно было прочесть такие строчки: «Крупным потом (?) время мчится», «В громе (?) зеленых крон», «Еще вчера ты ладил (?) с черепицей», «Вот ребенок закричал спросонок с оспой привитой — она в пути» (оспа в пути!), «Автомобилям (?) и лошадям под ноги лег гудрон»...

В двадцати семи небольших произведениях было около ста пятидесяти плохих строк. Редактор терпеливо пытался разъяснить автору, что так писать нельзя, что это безвкусно, неграмотно. Но на поэта не действовали никакие резоны. Поярков уже не только спорил

из-за каждой строчки с редактором — он бегал жаловаться на него во всякие учреждения:

— Караул, помогите!

Издательство было вынуждено назначить Пояркову вместо Николая Ивановича второго редактора, за ним третьего, четвертого. Но ни один из них не сумел по-трафить молодому поэту. Каждое отвергнутое стихотворение вызывало с его стороны десятки жалоб. Жалоб было так много, что молодой поэт в целях канцелярской рационализации сопровождал каждое свое письмо специальной припиской: при ответе ссылаться на наш исходящий номер. А эти номера Н. Поярков обозначал своими инициалами: Н. П. — 10 или Н. П. — 20.

В прошлом году последняя исходящая бумага вышла за № Н. П. — 289. А если учесть, что в том же году поэт написал всего девять стихотворений, то нетрудно представить себе, какое страшное разочарование постигнет подписчиков будущего полного собрания сочинений Н. Пояркова. На один тоненький томик посредственных стихов почтальон принесет им семьдесят пять томов жалоб и заявлений поэта.

Кому же пишет жалобы поэт? Всем! Н. Поярков ищет заступничества у знакомых литераторов, ответственных работников...

По знакомству можно получить должность завхоза — стать по знакомству поэтом нельзя. Поэт — это прежде всего труженик. Пушкин работал над «Егением Онегиным» больше восьми лет. Гоголь, Толстой переписывали свои произведения по семь — десять раз. А Николай Поярков диктует стихи на машинку и требует, чтобы они тут же включались в хрестоматии.

— Мне можно, — говорит он. — Я новатор.

Этот новатор нумерует не только свои исходящие. Даже самого себя он называет теперь не иначе, как «поэт № 1».

Самовлюбленность — болезнь возраста. Говорят, композитор Гуно в семнадцать лет заявлял: «Только я». В двадцать лет он смиловивился и сказал: «Я и Моцарт». В двадцать пять лет он стал более объективен и заявил: «Моцарт и я». А в тридцать лет Гуно говорил: «Только Моцарт».

Николаю Пояркову уже под тридцать. Тем не менее болезнь у него, как видно, затянулась и дала неприятные осложнения. Взрослый человек продолжает до сего времени ходить в мальчиках:

— Я, и больше никто другой!

Вот и наводняет Поярков редакции жалобами, требуя, чтобы при ответе обязательно ссылались на его исходящий номер. Что ж, уважим просьбу Николая Варфоломеевича. Считайте эти строки ответом на ваш последний исходящий: Н. П. — 289.

1951 г.

Шурик

В ленинградском журнале было напечатано несколько небольших стихотворений. Мне очень понравились «Ледяные солдатики»:

На крыше сосульки всю зиму висят,
Они, как солдатики, дом сторожат.
Растают солдатики этой весной,
И больше они не вернутся домой.

Они не увидят весною свой дом,
Они не узнают, как мы здесь живем,
Они не увидят зеленых садов,
И им не увидеть на грядке бобов.

Под стихами стояла подпись неизвестного мне автора: А. Троицкий.

Через год я был на концерте в клубе. Ленинградская артистка Воробьева читала сказку «Волк и семеро козлят»:

В лесной избушке маленькой,
Где рос цветочек аленький,
Жила коза с козлятами,
Послушными ребятами...

Старая сказка была в новой поэтической редакции, а бой козлят с волком поэт описал задорно и весело:

— Вперед, вперед, отряд
Воинственных козлят!

Бежим скорее к елке,
Убьем злодея-волка.

— Постой, — сказал тут Бука
И выстрелил из лука.
Стрела влетела в сердце.
Пробила в сердце дверцу.

Убит злодей косматый,
И празднуют козлята.
...Какой счастливый час
У козликов сейчас!

Сидят они у печки,
Сверкают ярко свечки...
А козликов мамаша
На кухне варит кашу.

В углу затихли мыши,
На двор кот Васька вышел,
В окно глядит луна.
Такая тишина
В лесной избушке маленькой,
Где рос цветочек аленький.

По окончании концерта я прошел за кулисы, чтобы узнать у Воробьевой имя автора сказки.

— А. Троицкий, — сказала артистка.

— Молодой, старый?

— А вы познакомьтесь с ним. — И Ольга Ивановна Воробьева, хитро улыбнувшись, дала мне адрес А. Троицкого.

При первой же поездке в Ленинград я наведалься по адресу, записанному у меня в блокноте.

Большой дом по улице Перовской. Три звонка. Дверь открывает молодая женщина.

— Можно видеть поэта Троицкого?

— Поэта?

Женщина как будто удивлена вопросом, но потом, словно вспомнив что-то, мягко улыбнулась и пригласила войти в комнату.

— Шурик, к тебе пришли.

Я оглядываю комнату и никакого Шурика не вижу.

— Шурик! — уже строже говорит женщина и, обращаясь ко мне, добавляет: — Мне пришлось сегодня наказать его. Прихожу домой, а Шурика нет.

— Шурик!

Снизу, словно из погребца, раздается тяжелый вздох, потом наступает пауза, вслед за которой еще вздох, и из-под дивана выползает курносый десятилетний мальчик. Его веснушчатое лицо выражает и злость и недовольство одновременно.

— Знакомьтесь, А. Троицкий, — сказала женщина, приглаживая мальчику взъерошенный чубчик.

Мальчик подал руку и с горечью пробурчал:

— Вот уже и в музей сходить нельзя.

— Он еще оправдывается! — Анна Николаевна, мать Шурика, посмотрела на меня и сказала: — Объясните вы, пожалуйста, ему, как мужчина мужчине, что он не должен бегать в музей.

— В какой музей?

— Зоологический... Это его новое увлечение.

— Разве увлечение плохое?

— Видите ли, Зоологический музей находится за Дворцовым мостом.

Поэт Троицкий был, оказывается, в том неприятном для всякого мужчины возрасте, когда ему строго-настрого было запрещено одному переходить улицу. По этой стороне Невского ходи сколько угодно, а по той — ни в коем случае.

Я смотрю на Шурика с удивлением. Мне не верится, что этот десятилетний мальчуган еще три года назад написал стихи про козлят и «Ледяных солдатиков». Я пришел к поэту, чтобы поговорить о его работе, и оказался в затруднительном положении. Мне еще никогда не приходилось говорить серьезно о поэзии с учеником четвертого класса. Очевидно, поэтому я начинаю говорить с Шуриком не о стихах, а о Зоологическом музее. Мой собеседник быстро, по-мальчишески загорается. Он уже не сердится на мать, а горячо и образно рассказывает о том, что видел в одном из залов музея.

— Стрекоза, — говорит он, — как будто бы доброе, безобидное существо. А она, оказывается, хищник, которому подавай на обед и мошек и мушек. Но стрекозе тоже нельзя зевать. Чуть что — и она уже во рту у лягушки. А за лягушками охотятся ужи, а ужей едят ежи.

Я слушаю Шурика, а сам незаметно листаю тетрадь со стихами. Вот небольшая басня на ту же тему:

Я пошел ловить стрекоз,
сбита стрекоза.
Из калитки на меня
вдруг бежит коза.

Я пошел скорей домой
А она бежит за мной.
Если ты боишься коз,
Не ходи ловить стрекоз.

На рабочем столике рядом с тетрадкой со стихами лежит открытый арифметический задачник — свидетель страдной поры первых экзаменов, сломанный пистонный пистолет (значит, ничто человеческое не чуждо душе поэта) и два чугунных утюга, под которыми сушатся листья липы, березы и ясеня. Пионерский отряд дал поэту задание собрать гербарий из ста растений.

— Самое трудное — это достать в Ленинграде цветок огурца, — жалуется Шурик. — Один мальчик из соседней школы говорит, что у его тетки в деревне есть огород, и он обещал достать мне огуречный цветок.

Над столом Шурика расписание, из которого явствует, что рабочий день ученика четвертого класса Троицкого начинается рано. Он поднимается в семь утра и до самой школы занимается музыкой. Шурик учится в фортепианном кружке и по два часа в день упражняется на рояле. Кроме того, в расписании в дополнение к школьным урокам значатся занятия с учительницей английского языка. Пареньку всего десять лет. Спрашиваю:

— Тебе не тяжело?

— Нелегко, — отвечает он.

— А не лучше ли тебе сократить часы музыкальных занятий и отдать весь досуг поэзии?

Шурик удивленно смотрит на меня.

— А разве поэзия бывает без музыки?

Больше в этот день нам не удалось поговорить с Шуриком о поэзии. О гербарии, футболе он болтал охотно, а от разговора о стихах тактично уклонялся. Чтобы вызвать мальчика на откровенность, надо было, по видимому, завоевать его доверие. Следующий день по

расписанию был свободен от экзаменов, и я предложил ему погулять вместе по городу.

— А в Зоологический мы пойдем?..

Шурик умоляюще смотрит на мать. Анна Николаевна дает разрешение. И вот мы бродим по Ленинграду, заходим в музеи и парки, останавливаемся у киосков с прохладительными напитками. Шурик, так же как и все прочие мальчишки, которых я знаю, может съесть нескончаемое число порций мороженого и запить его нескончаемым количеством газированной воды с сиропом. Он спорит со мной о фугах и прелюдиях Баха и почти тут же совсем по-ребячьи предлагает:

— Давайте сбежим с вышки Исаакиевского собора на одной ножке!

И, не дожидаясь моего ответа, он так стремительно пускается вниз со ступеньки на ступеньку, что я с трудом его догоняю.

Но я быстро забываю, что передо мной мальчик, как только мы перестаем есть «эскимо» и начинаем говорить о поэзии. Я прочел за эти дни почти все, что написал Шурик, и каждое его стихотворение свидетельствовало о поэтической одаренности мальчика, его вкусе, наблюдательности. Здесь были стихи о природе, стихи о школе, были даже поэмы на двести — триста строк. Мальчику трудно было сочинить самостоятельный сюжет для таких больших стихотворений, и он прибегал к помощи сказок Пушкина, Гримма, Перро. Но позаимствованный сюжет был только стержнем, а характеристику действующих лиц, пейзаж он рисовал по-своему, наделяя старые сказки жизнерадостным дыханием нашего времени.

Шурик хорошо знает восторженное отношение окружающих к его стихам. Но восторги маминых приятельниц и соседей по квартире не кружат ему голову. Мальчик очень скромно расценивает свои успехи, и в школе, где он учится, даже не знают о его поэтическом увлечении. Шурик хорошо читает стихи. В прошлом году он получил от городского Дворца пионеров книгу с надписью: «Отличному декламатору». Тем не менее на школьных вечерах «отличный декламатор» читает не свои стихи, а стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева.

Я спросил Шурика, как он сочиняет свои стихи. Шурик ответил:

— Я не сочиняю — я пишу то, что вижу.

Вот сценка, рисующая ночь в лесу из сказки «Красная Шапочка»:

Оглянулась девочка, а кругом темно...
Небо — как пробитое бурею окно.
Лишь кусочек неба лесом не закрыт,
Но и он как будто на нее сердит.
Заблудилась Шапочка, бабушку зовет.
Испугалась Шапочка, бросилась вперед.

А вот как выглядит подводный бал русалок из новой сказки «Морская царевна»:

Дворец открыл свои объятия.
Сегодня там блестящий бал.
Мелькают лица, шляпы, платья,
Как карусель, кружится зал.

Но что не видно ножек милых,
Предмета женской красоты?
Увы, на месте их уныло
Торчали рыбии хвосты.

А вот стих, посвященный Дню Победы:

Пришла весна, запели птички.
Проснулся мир в тот майский день,
Когда все птички-невелички,
Взлетев, запели: «Динь-ди-лень»,
Проснитесь все, сегодня праздник,
Враг побежден, — ликуй, земля!
Пиши, пиши, поэт-проказник,
Всех ребятишек веселя,
Танцуй, перо, в моей тетрадке,
Листайтесь веером, листы.
Бегите, строчки, как лошадки,
В конец до радостной черты.

* *
*

Все, что написано здесь о Шурике, было напечатано в воскресном номере газеты. А на следующий день, чуть только открылись двери редакции, в нашу комнату врывается шумный, словоохотливый мужчина. Прямо от двери, широко раскинув руки, мужчина направляется к фельетонисту, намереваясь с ходу прижать его к груди.

— Спасибо, золотко. Вы открыли мне глаза, ослезливили. Разрешите поцеловать вас.

Прежде чем протянуть губы для поцелуя, фельетонист сделал шаг назад, спросил:

— Простите, с кем имею честь?

— Не признали? Странно. Все говорят, что он очень похож на меня.

— Кто он?

— Шурик! Я отец Шурика, его папаша. Благодарю, что вы не прошли мимо, написали о юном таланте. Господи, какой легкий слог у моего прохвоста, а какие красивые рифмы, образы!

«Постой»,— сказал тут Бука

И выстрелил из лука.

Стрела влетела в сердце,

Пробила в сердце дверцу.

— Ай, пацан! Ай, молодец! Шурик пишет так здорово, что его стихи прямо хоть сейчас читай со сцены.

— А их и читают.

— Кто?

— Артисты.

— Правильно у вас об этом написано. Ай, Шурик, порадовал отца.

— Вы разве не знали, что Шурик пишет стихи?

— Узнал только вчера из вашего фельетона.

— Странно, вы же отец.

— Этот отец четыре года не живет с семьей. Ушел, поссорился с женой.

— С сыном вы тоже в ссоре?

— Нет.

— Почему же не видите с ним?

— У меня вторая жена.

— Если ты боишься коз, не ходи ловить стрекоз,— процитировал я Шурика.

— Козы я не боюсь, но все же. Я ленинградец, коза — москвичка. В ее квартиру милиция меня не прописывает. А раз мужчина находится в зависимом положении от жены, ему лучше не сердить ее. Понятно, золотко?

— Понятно.

И папа Шурика снова протянул губы фельетонисту.

— Вы открыли талант Шурика. Написали фельетон. Это не все. Юному таланту нужно создать условия, чтобы он созрел, набрался сил. Доведите доброе дело до конца. Напишите второй фельетон.

— О чем?

— Заставьте милицию прописать меня в квартире второй жены. Это же ненормально. Отец юного таланта, может, второго Есенина или второго Маяковского, живет с женщиной без всяких прав на ее жилплощадь.

— Это право поможет оформиться второму Есенину?

— Обязательно. Как только меня пропишут, я перестану бояться козы и войду в контакт с сыном.

— Возьмете его из Ленинграда в Москву?

— Нет, он будет жить там, я здесь. Я обязуюсь оказывать благотворное влияние на развитие юного таланта с помощью регулярной переписки. У меня хороший вкус, кругозор. А у нее и вкус грубее и кругозор уже.

— Кого вы имеете в виду?

— Мать Шурика, мою первую жену.

— Кругозор узкий, а вы не побоялись оставить у нее Шурика. Бросили сына, четыре года не вспоминали.

— Господи, я же не знал тогда, что Шурик — талант, что через год начнет писать стихи, которые будут читать со сцены артисты. Шурик был тогда худенький, плохонький. И вот на тебе — плохонький берет и сочиняет такую прелесть, как «Ледяные солдатики».

На крыше сосульки всю зиму висят,
Они, как солдатики, дом сторожат,
Растают солдатики этой весной,
И больше они не вернутся домой...

Золотко, вас просит отец. Напишите второй фельетон. Помогите несчастному прописаться в Москве. Можете?

— Нет.

Отец Шурика круто повернулся и, не попрощавшись, выбежал из комнаты. Через минуту он вернулся и, стоя в открытых дверях, сказал:

— Понимаю, вы не верите в то, что я могу испра-

виться, стать хорошим отцом. Ладно, не помогайте мне как отцу, помогите как соавтору.

— Кто кому соавтор?

— Я родил Шурика, вы написали о нем. Значит, мы не чужие друг другу люди.

И, широко распахнув руки, соавтор чуть ли не бегом бросился к моему столу.

— Ну как, золотко, напишете?

— Нет, — еще раз сказал я.

Много лет я крепко держался этого «нет», скрывая от читателя имя посетителя, который навестил редакцию в понедельник утром. И только теперь, когда выступление печати не может уже повлиять на прописку беглого папаши в новой квартире, я счел возможным прибавить к старым, давно написанным страничкам одну новую и рассказать, как на следующий день после опубликования фельетона о Шурике у автора фельетона неожиданно объявился соавтор.

1947 г.

Обтекаемые люди

Директор Института генетики и селекции тяжело захворал. А так как этот директор был не только большим ученым, но и человеком доброго сердца, то весь институт переживал его болезнь. Вместе со всеми печалился и ученый секретарь института Роман Петрович Кругляков. Но эта печаль была показной, а в действительности Роман Петрович лелеял мечту занять место директора.

«Вряд ли Алексей Петрович встанет с постели, — думал Кругляков, — старику как-никак под восемьдесят».

И Роман Петрович весьма тонко и хитро готовил сотрудников института к мысли, что, кроме него, Круглякова, быть директором некому. Однако претензии Круглякова были малообоснованными. У него не было для роли научного руководителя ни таланта, ни глубоких знаний. Человек холодный, черствый, Роман Петрович все человеческие добродетели подменял лицемерием.

Он не стеснялся спекулировать самыми святыми для советского человека чувствами и понятиями. Но разглядеть подлинное лицо ученого секретаря было не так просто, ибо Кругляков весьма искусно прикрывал пустоту души своей «правильными» словами. И многие верили этим словам, считая Круглякова человеком честным. Но он не был честным, он был гладким, «обтекаемым».

«Надо уметь держать нос по ветру, — думал Кругляков, — иметь хороший нюх».

Этот нюх в конце концов и подвел «обтекаемого» человека. Разоблачить Круглякова, сорвать с него маску помог молодой писатель Леонид Зорин. Причем сделал он это не на собрании, а в пьесе. Леонид Зорин написал о Круглякове сатирическую комедию. Правда, не все в этой комедии было совершенно, некоторые действующие лица были выписаны бледно, тем не менее пьеса удалась, и товарищи поздравили Леонида Зорина с успехом. Художественный руководитель Театра сатиры так и сказал драматургу:

— Чудно, чудно! Это то, что нам нужно. Конечно, кое-что придется дописать, переделать. Вы ведь не откажетесь поработать вместе с театром над окончательной редакцией?

— Конечно, с удовольствием! — сказал драматург.

— Ну, что же, — заявил худрук, — дадим прочитать комедию директору — и по рукам.

Директору пьеса тоже понравилась.

— Она написана специально для нас, — сказал директор. — Остро, хлестко.

Руководителям театра пьеса пришлась по душе. Как будто все, можно приступать к репетициям. Но не тут-то было. Против пьесы выступил артист Эн.

— Неужели вы в самом деле решили показать подльца Круглякова со сцены, при свете прожекторов и софитов? — удивленно задал он вопрос художественному руководителю.

— А что же здесь плохого? Разве гладкие, «обтекаемые» люди не встречаются в жизни?

— Простите меня, но художественный руководитель театра должен думать не только о жизни, но и о рецензентах, — сказал Эн. — Вы как хотите, а я в такой пьесе участвовать не буду. И зачем нам рисковать? Не бы-

ло у нас в репертуаре за последние годы сатирических комедий, пусть не будет и впредь.

— Но ведь мы же Театр сатиры!

— Неважно. Пусть автор громит Круглякова в стеной печати Института генетики и селекции, а для театра надо выбирать темы поспокойнее.

Художественному руководителю хотелось поспорить с Эн, назвать его перестраховщиком, но главный режиссер оказался, к сожалению, человеком невоинственным.

«Зачем мне ссориться с ним? — подумал он. — А вдруг рецензенту и в самом деле не понравится пьеса? Иди тогда оправдывайся».

И художественный руководитель промолчал, не ответил Эн.

Между тем драматург Зорин, не зная о последних событиях в театре, продолжал работать над пьесой. Уточнял характеры действующих лиц, шлифовал язык. Он ждал, что вот-вот позвонят ему, пригласят на читку. Но звонков не было. Когда новый вариант пьесы был готов, Зорин сам наведалься в театр. Но, увы, прежнего радушия здесь уже не было. Ему не сказали ни «нет», ни «да», ему посоветовали ждать.

И молодой автор ждал с весны 1951 года по весну 1952 года. Наконец главному режиссеру театра стало неудобно перед автором, и он честно признался ему:

— Мы бы поставили вашу пьесу, да вот Эн против, а Эн не хочет ссориться с Эн.

— Что делать?

— Если разрешите, я передам вашу пьесу в соседний театр.

— Да, пожалуйста!

— Чудно, чудно! — сказал художественный руководитель Театра имени Ермоловой. — Пьеса мне нравится. Давайте дадим прочитать ее завлиту — и по рукам.

Пьеса Зорина понравилась завлиту. Театр собирался уже включить ее в свой план, но тут неожиданно против пьесы выступил артист Эл. И все с той же самой позицией:

— Зачем рисковать и ставить сатирическую комедию? А вдруг драмсекция Союза писателей или Комитет по делам искусств выскажутся против?

И хотя драмсекция и репертуарно-редакторский отдел Комитета высказались за пьесу, артист Эл продолжал стоять на своем:

— Сегодня они «за», а завтра «против», а отвечать за все нам. Нет, лучше без сатирических комедий.

Вместо того, чтобы дать бой таким рассуждениям, худрук Театра имени Ермоловой последовал плохому примеру худрука Театра сатиры:

— Зачем мне ссориться с Эл из-за какой-то комедии? Не было у нас до сих пор в репертуаре острых пьес, пусть не будет и впредь.

Завлит попробовал уговорить худрука, это не могло, и завлиту пришлось, краснея, сказать автору:

— Мы бы поставили вашу пьесу, да вот беда: Эл против, а руководство не хочет ссориться с Эл.

Когда молодой драматург услышал отказ и в Театре имени Ермоловой, у него чуть было не опустились руки.

«А не зря ли я, — подумалось Зорину, — вообще взялся за комедию? Не лучше ли было написать беззубую семейную драму, которая быстро примирила бы вкусы Эл со вкусами руководства театра?»

Но это были минутные сомнения. Леонида Зорина поддержали в Союзе писателей, в Комитете по делам искусств. Работник редакторско-репертуарного отдела М. Н. Строева оказала автору комедии не только литературную помощь, но и познакомила его с режиссерами Московского театра драмы. В этом театре режиссеры оказались принципиальнее. Они не только приняли пьесу, но и поставили ее.

Пьеса Леонида Зорина называется «Откровенный разговор». И хотя зловключения этой пьесы благополучно окончились, нам хотелось бы продолжить разговор, начатый драматургом. Но уже не о гладком, «обтекаемом» Круглякове из Института генетики и селекции.

Режиссеры некоторых московских театров горько жаловались как-то в Доме литераторов на то, что у них в репертуаре нет острых сатирических пьес.

— Приходите к нам в театр, как в родной дом, — гостеприимно приглашали они драматургов. — Пишите для нас веселые комедии.

Режиссеры должны не только говорить о своей любви к сатире, они должны бороться за нее, а если нужно, то и ссориться с перестраховщиками. А пока режиссер думает, «как бы чего не вышло», сатирических спектаклей в его театре не будет.

1952 г.

Пятно на диссертации

Утром в ресторане «Волна» при уборке банкетного зала буфетчик Сорокин обнаружил под кучей грязных тарелок отпечатанный на машинке пухлый том докторской диссертации. Несмотря на ранний час, буфетчик хотел немедля позвонить автору диссертации, чтобы успокоить его: «Не волнуйтесь. Пропажа обнаружена».

Позвонить, но кому? Темное, густое пятно расплылось по первой странице диссертации, похоронив под собой фамилию автора и название его труда. Буфетчик подошел к себе бригадира официантов Савельича.

— А ну, старик, помоги разобраться.

Старик посмотрел первую страницу на свет. Затем таинственно поднес ее к своему носу, зачем-то понюхал и сказал:

— Грузинское сухое, типа «Кабернэ».

— Это сверху, а под ним что? — спросил буфетчик.

— Под ним салат из крабов и соус-кабуль.

— Ну и сер же ты, Савельич. Я фамилии автора никак не прочту, а ты про соус-кабуль толкуешь.

— А что об авторе беспокоиться, — спокойно ответил Савельич. — Автор проспится и сам прибежит за пропажей.

Но автор не прибежал. В «Волне» ждали его день, два, неделю.

— Странно, — сказал Савельич. — К нам люди за каждой малостью приходят. За забытым зонтом, старой шляпой, калошами. Видно, эта диссертация ничего не стоит, если про нее до сих пор никто не вспомнил.

— Как не стоит, — вскипел буфетчик. — Да из-за этой диссертации одного вина было выпито рублей на триста! А ты прибавь сюда стоимость закусок, горячих блюд, разбитых фужеров...

И буфетчик Сорокин решил во что бы то ни стало найти автора и вернуть ему его труд. Найти, но как?

— Господи, это же проще простого, — сказал директор ресторана.

В этом ресторане докторанты и аспиранты чуть ли не каждую субботу устраивали банкеты, поэтому директор «Волны» прекрасно знал технику производства как кандидатов, так и докторов наук, и директор посоветовал буфетчику позвонить в ВАК (Высшую аттестационную комиссию).

— Там утверждают каждую диссертацию, там тебе скажут все, что нужно, и про автора.

Сорокин тут же поднял телефонную трубку и рассказал работникам ВАКа все, что знал про забытую диссертацию.

— А она о чем, эта диссертация? — спросили его.

— Да тут обо всем понемногу.

— Ясно, — сказали буфетчику работники ВАКа. — Идите в Институт экономики. Эта диссертация оттуда.

И вот мы вместе с буфетчиком Сорокиным идем на Волхонку, № 14.

«То-то будет радости экономистам, — думаю я, — когда у них в руках окажется потерянная диссертация».

Но экономисты вовсе и не думали радоваться. Сорокин стучится в одну дверь, в другую — и все зря. Наконец чья-то сердобольная душа сжалилась над буфетчиком и сказала:

— Не бейте зря ног, дорогой. Ваша находка никому не нужна. По пятну на обложке я вижу, что автор диссертации уже «остепенился» и не возлагает больше никаких надежд на свою работу.

— Но ведь эту работу можно издать?

— Увы, работы нашего института не издаются.

Докторская диссертация должна быть вкладом в науку. За право опубликовать такую работу должны спорить журналы, издательства. Но нет. Творческая продукция Института экономики не пользовалась успехом. За нее никто не дрался, никто не спорил. За пять лет в

этом институте было защищено пятьдесят две докторские диссертации, а из них опубликовано всего двенадцать. Остальные институт вынужден пропагандировать в рукописном виде. Эти рукописи лежат в библиотеке. Их может прочесть любой человек. Может, но не читает. Докторская диссертация Н. М. Кешешвили за три года побывала на руках у четырех лиц. А если учесть, что Кешешвили пробывал в докторантуре свыше трех лет и его диссертация стоила институту десять тысяч рублей, то нетрудно подбить итог: каждое прочтение трудов новопеченного доктора обходится государству в две тысячи пятисот рублей. Кешешвили еще повезло. Его работы читали четыре человека. А диссертации докторов экономических наук Е. Рукавова, В. Перстобитова и вовсе никто не брал в руки.

— Среди наших диссертаций много надуманных, оторванных от жизни, — говорят работники журнала «Вопросы экономики». — Поэтому их не хочется ни читать, ни печатать.

— Кто же утверждает такие диссертации?

— Ученый совет.

Любопытная подробность: большинство членов редакционной коллегии «Вопросов экономики» одновременно и члены Ученого совета. И вот в редакции эти люди бракуют то, за что они голосуют в институте.

Члены ученого совета Института экономики — люди авторитетные, уважаемые. Среди них есть академики, члены-корреспонденты Академии наук, профессора. Но вот беда: эти уважаемые, авторитетные ученые не всегда читают те диссертации, которые утверждают. В обязательном порядке здесь штудируют диссертации только два человека — официальные оппоненты.

Так вот и создается конвейер по штамповке дутых научных величин. В день обсуждения только два официальных оппонента и говорят развернуто о диссертации. Что же касается членов ученых советов, то эти товарищи, бегло перелистав здесь же, на заседании, страницы автореферата, делают два-три незначительных замечания и присуждают диссертанту научную степень.

— Присуждение научных степеней, — говорят работники ВАКа, — идет в Институте экономики согласно существующему положению.

По-видимому, настало время пересмотреть и изменить это устаревшее положение. Позор, когда сорок из пятидесяти утвержденных докторских диссертаций годами лежат на полках в пыли, никому не нужные, представленные грызущей критике мышей!

Завтра в редакцию снова позвонит буфетчик Сорокин и спросит, что ему делать с найденной диссертацией. Бросить в утиль? Ну как посоветовать такое? Ведь за этот утиль кому-то присуждена степень доктора наук.

1955 г.



Отцы
и Дети



Растинька из Таганрога

Из Таганрога в Москву на имя В. К. Жуковой пришло письмо. Вместо того, чтобы доставить это письмо в поселок ВИМЭ, как значилось на конверте, почта по ошибке отправила его на другой конец города — в поселок ВИЭМ. В этом поселке тоже жила В. К. Жукова, но не та, а другая. Она так же, как и почтальон, не обратила внимания на расстановку букв в адресе: ВИМЭ или ВИЭМ. Девушка распечатала письмо, и по мере того, как она читала его, менялось выражение ее лица. Сначала это было только удивление, затем удивление сменилось недоумением, наконец, девушка возмущенно бросила письмо на стол. И хотя адресовано оно было не ей и писал письмо совершенно чужой для нее человек, девушке захотелось отчитать этого человека. И девушка взялась за перо. Но в последнюю минуту она передумала и послала письмо не ему, а нам, в редакцию.

«Вы должны заинтересоваться, — писала девушка, — описанием жизни одного таганрогского студента. Прочитав это описание, я увидела так много пошлости, шкурничества и хамства, что мне было стыдно переправлять письмо той, кому оно было предназначено. Мы, то есть я и мои подруги по институту, решили просить вас: прочтите письмо, доставленное мне по ошибке, и, если мож-

но, опубликуйте его в назидание тем молодым людям, которые ставят личный расчет и личную выгоду превыше всего в жизни».

Вместе с этой запиской в конверт было вложено и письмо из Таганрога, написанное на четырех страничках, вырванных из общей тетради. Письмо касалось многих вопросов: учебы, дружбы, сыновней привязанности, любви. Но, странное дело, о чем бы ни заговаривал автор, как бы витиевато ни писал он о тонких переживаниях своей души, все его красивые рассуждения обязательно сводились к одному: «Что почем?»

«Дорогая моя и любимая мамочка! Получил от тебя письмо. Как я был рад! Я увидел тебя, моя старенькая, под вечерней лампой, склонившуюся вот над этими родными строчками, и на мои глаза навернулись слезы. Я также весьма обрадовался шевиотовому отрезку на костюм, хотя кожаная куртка (лучше бы замшевая с молнией) была бы желательней...»

Или вот в другом месте: «Бедная, бедная тетечка Рая. Одинокая, больная! Представляю, как сейчас трудно ей! На днях постараюсь навестить ее (накопилось много грязного белья, отдам ей постирать; кстати, попрошу ее также залатать кое-что из нижнего)...»

Пятью строчками ниже мы читаем: «Увлекаюсь сейчас, как и в далекие школьные годы, радиолюбительством. Ах, золотая, невозвратимая пора детства! Пришли мне поскорее электролитические конденсаторы, я хочу отремонтировать радиоприемник одному видному лицу (зав. магазином № 11), это очень нужный человек по части дефицитных продуктов».

Переворачиваем страницу, и дальше то же самое: «Насчет учебы не беспокойся, хочу убить и убью сразу двух зайцев: буду электромехаником и механиком по двигателям внутреннего сгорания. В будущем это даст мне если не два, то полтора оклада обязательно».

И даже любовь для него не любовь, а какая-то махинация.

«Твердо решил жениться к осени. Ищу подходящую невесту (ах, как была бы кстати сейчас замшевая куртка с молнией!). Познакомился я в трамвае с одной хо-рошенькой девушкой — Ларисой. Я даже бросил из-за нее гулять с Зиной, так как она, то есть Лариса, во всех

отношениях была идеальной невестой (кончила техникум, имела точеные ножки, голубые глазки и хор. материальную базу). Но мне чертовски не повезло: Лариса заболела и через полтора месяца после нашего знакомства умерла. Все мои планы рухнули, все надежды поломались. Смерть Ларисы — это полтора месяца зря потраченного на ухаживание времени. Я снова начал ходить на танцы в надежде познакомиться с кем-нибудь. Но ничего подходящего не было, и тут я снова встретил Зину — такая веселая, милая. Уговорила меня пойти с ней в кафе. Зашли, я выпил восемь кружек пива, она заплатила. Ну, вот так и пошло. Начал проводить с нею время. Когда в тупике с деньгами, то даю ей намек, и она незаметно сует мне в карман 10 — 15 рублей. Я для виду отказываюсь, но в конце концов беру. Если бы она была состоятельнее, то я, конечно, брал бы больше. Но она работает секретарем на одном заводе и зарабатывает сравнительно мало, а я имею совесть и не хочу брать у нее последнее. Все-таки какая она добрая и чудная! Но ты, дорогая мамочка, не беспокойся: как только я найду более подходящую невесту, сразу порву с Зиной».

Все было гнусно в этом письме, и особенно гнусно было то, что адресовалось оно матери. Сын В. К. Жуковой действовал, руководствуясь только одним правилом: раз это мне выгодно, то чего же стесняться! И он, не стесняясь, подсчитывал в своем письме, сколько рублей и копеек экономит он ежедневно, заставляя любящую его девушку платить не только за пиво, но и за папиросы, за билеты в кино, театр.

Когда сын языком барышника пишет матери о самом сокровенном, то тут и мать во многом виновата. Значит, плохо воспитала сына. И мне захотелось увидеть этого сына, узнать, как выглядит он.

— Ну, что ж, поезжай, — сказали в редакции.

Я быстро собрался и в спешке забыл на редакционном столе конверт с обратным адресом. «Студент Жуков» — вот все, что я знал из письма. А где учится этот студент, на какой улице живет он?

«Таганрог невелик, найду», — думалось мне.

Действительность зло посмеялась над моими устаревшими представлениями о городе. Таганрог за послед-

ние годы сильно вырос. В городе оказалось девять техникумов и два института.

— Жуков? — спросил секретарь парткома института механизации сельского хозяйства. — Как же, есть. Студент первого курса. Мы о нем специальную заметку написали в последнем номере стенгазеты.

— Даже так?

— А как же! Уж больно он хороший паренек.

— Хороший?

— Замечательный физкультурник, отличник учебы, общественник....

— Простите, значит, это не тот Жуков.

— Как не тот?

Я замялся.

— Видите ли, мы получили письмо об аморальном поведении студента Жукова. Вот прочтите.

Парторг прочел и сказал:

— Это действительно не тот. За своего я ручаюсь головой.

— А где же может учиться тот?

— Не знаю, может быть, у наших соседей, — сказал парторг и проводил меня в судомеханический техникум.

Но в судомеханическом тоже сказали «не тот», и я пошел в механический. В погоне за автором письма мне пришлось побывать почти во всех таганрогских техникумах и институтах, и почти в каждом из них оказалось по одному, а то и по два Жуковых. Здесь были Жуковы хорошие, чудные и обыкновенные. Были отличники, рядовые студенты, был даже Жуков с двумя «хвостами» — по математике и литературе. Но и у этого «хвостатого» были заступники.

— Он у нас слабого здоровья, — сказал завуч, — часто болеет. А вот в мае — мы с комсоргом ручаемся за это — он сдаст все. Это человек добросовестный.

Обойти все техникумы и институты оказалось не таким легким делом. Мне пришлось исходить город во всех направлениях и еще раз убедиться в том, как вырос Таганрог. Я ходил по улицам и переулкам — и все безрезультатно. Я злился, но это только для порядка, чтобы успокоить гудевшие от усталости ноги, а в душе я был чертовски рад. Рад за то, что всюду, где я был, и каж-

дый, кто читал письмо Жукова, словно стоворившись, заявляли одно:

— Это не наш. За своего мы ручаемся.

Хорошо жить так, чтобы тебе верили и чтобы за тебя смело и прямо могли заступиться и твои товарищи и твои наставники. Мне было приятно сознавать, что среди нашей молодежи так ничтожно мало низких и бесчестных людей и что, даже напав на след одного прохвоста, я двое суток не мог отыскать его. Да был ли он в действительности? Мне уже начало казаться, что тот Жуков, которого я ищу, выдуман и письмо его тоже выдуманное, и что таких людей вовсе нет среди нашей молодежи. Но увы! Такой все же оказался. Прочли письмо в горьком комсомола и сказали:

— А не тот ли это парень, которому отказал в приеме Ленинский райком ВЛКСМ?

— За что отказал?

— За прыткость.

И мне объяснили: всю жизнь Жуков прожил в городе Шахты и не вступил в комсомол, а приехал в Таганрог — и тут же подал заявление. Такая поспешность показалась подозрительной и мне, и я отправился в школу механизаторов сельского хозяйства, где учился Леонид Жуков.

Я зашел в отдел кадров, поговорил с учащимися, директором школы, преподавателями, и передо мной ярко и отчетливо возник образ автора письма. Это был первый из десяти встреченных мною Жуковых, за которого не пожелал ручаться ни один человек. Правда, вначале за него заступился комсорг Лактионов. Этот комсорг по молодости лет полагал, что главным и решающим в облике учащегося являются его отметки. Хороши отметки — значит, хорош и сам учащийся. Лактионов не анализировал поведение человека, не присматривался к тому, как тот относится к жизни, к товарищам. На все мои доводы он говорил:

— Жуков — отличник!

— А вы не можете познакомить меня с этим отличником? — спрашиваю я Лактионова, и мы отправляемся с ним в классы и мастерские школы.

Наконец, в одной из комнат нам навстречу поднима-

ется стройный, плечистый парень. У него красивое лицо и светлые, большие глаза.

— Жуков, — говорит комсорг, знакомя нас.

Он говорит это таким тоном, словно хочет спросить: «Ну, разве можно человека с такими ясными глазами подозревать в каких-то грязных поступках?»

Я смотрю в ясные глаза Жукова и не знаю, как начать разговор. Да это и нелегко — сказать человеку, что он прохвост. Но разговор начать нужно.

— В нашу редакцию пришло письмо, — сказал я.

— Обо мне?

— Да. Вас обвиняют в нечестном отношении к девушке, товарищам, к школе... — И я пересказал все, что было написано в письме, утаив только имя его автора.

— Клевета, — сказал Жуков. — Комсорг Лактионов может подтвердить...

— Я говорил уже.

— Природа наделяет людей по-разному, — сказал Жуков, — одних деньгами, других талантом. А мой капитал — честность, и я берегу его как зеницу ока.

Жуков минут пять говорил о том, как внимателен он к друзьям по школе, как горячо любит мать и как боготворит свою маленькую, милую приятельницу. «Вы, я думаю, разрешите мне, — попросил он, — не называть ее имени?»

Тут комсорг Лактионов встал и прошелся по комнате. Он искренне верил всем этим сантиментам. Как знать, не поверил ли бы им и я, не будь у меня в кармане разоблачительного письма. А я все еще прячу это письмо и перебиваю гладкую речь Жукова вопросом:

— Нам пишут, что вы ищете невесту «с хор. материальной базой».

— Ложь!

— ...что вы заставляете девушек оплачивать часть своих расходов.

— Имя негодяя, который оболгал меня! — театрально крикнул Жуков. — Я при всех дам ему пощечину!

— Имя? Пожалуйста, — говорю я и протягиваю Жукову его собственное письмо.

Жуков посмотрел на первую страницу, узнал свой почерк и вспыхнул. Его ясные глаза сразу замутились, за-

бегали, но он еще держал себя в руках, надеясь вернуться.

— Вы зря придаете такое значение этому письму, — сказал он. — В переписке с родственниками я всегда пользуюсь шуткой.

— А как вы прикажете понимать вот эту шутку? — спросил я и прочел: — «Дорогая мамочка, не выбрасывайте корочек хлеба, а сушите и присылайте мне. Нам дают всего по 200 граммов».

— Как это «всего»? — удивился комсорг и взял письмо.

— Я хотел написать: по двести граммов к каждому блюду — и описался.

— А насчет корочек тоже описка? Только не пытайтесь лгать. Я уже был в вашей столовой.

Я действительно побывал в школьной столовой. Выбор блюд был там скромный, но кормили сытно.

— О корочках я написал для жалости, чтобы мать присылала мне побольше денег.

— Сколько вы получаете от нее?

— Пятнадцать рублей в месяц.

— Как, и от матери тоже? — спросил комсорг Лактионов, отрываясь от письма.

— А разве Жукову помогает еще кто-нибудь?

— Как же! Тетя Рая из города Шахты присылает ему ежемесячно по десять рублей. Вдобавок к этому он получает пятнадцать рублей стипендии.

— Да пятнадцать рублей от Зины, — добавил я. — Вы извините, что мне пришлось все-таки назвать имя вашей девушки. Итого 55 рублей в месяц. А вы просите корочек!..

Жуков молчит.

— «Старенькая мамочка», «бедненькая тетя Рая»... Эти ласковые слова преследовали у вас, оказывается, только одну цель — сорвать побольше?

Жуков понял, что попался, и пошел в открытую.

— Вы мне морали не читайте! — зашипел он. — У каждого в жизни своя цель, и каждый должен стараться только для себя.

Жуков говорил зло и почему-то шепотом, а я слушал и вспоминал молодого стяжателя Растиньяка. В пестрой веренице бальзаковских героев ярко выделяется эта ко-

лоритная фигура. Чтобы преуспеть в жизни, Растиньяк отказался от всех человеческих добродетелей. Подлость — вот что было главным и определяющим в его облике и поведении. Но насколько Растиньяк был уместен там, в парижском полусвете, среди вотренов, гобсеков, нюсингенов, настолько он выглядел дико и неправдоподобно здесь, рядом с колхозными трактористами, рядом с этим доверчивым и чистым в каждом своем помысле и поступке комсоргом. Но этой доверчивости пришел конец. Лактионов только что дочитал письмо, и у него угрожающе сжались кулаки. Жуков решил не испытывать больше нашего терпения. Он встал и сказал:

— Надеюсь, что разговор останется между нами?

— Почему?

— Потому что вся эта история не имеет общественного интереса и касается только меня, моих родственников и моих знакомых. Это — во-первых, а во-вторых... — В этом месте Жуков сделал паузу и уже тихо, без всякой бравады, закончил: — Мне жалко маму.

— Можете быть уверены, что мы не напечатаем ни строчки, прежде чем не поговорим с вашей мамой.

И вот письмо Л. Жукова снова поехало в Москву, и я начал плутать уже по предместьям столицы в поисках поселка ВИМЭ. Наконец поселок найден, и мать получает письмо от сына. Мать читает, краснеет, плачет. Успокоившись, она рассказывает мне историю своего сына. Я слушаю ее рассказ и начинаю понимать, как в хорошей советской семье могло появиться на свет дешевое издание бальзаковского Растиньяка.

Появился на свет, конечно, не Растиньяк, а нормальный ребенок. Мать не чаяла души в этом ребенке и, хотя она сама была педагогом и умела воспитывать чужих детей, своего единственного растила эгоистом. Отказывала во всем себе, только было бы хорошо ему. И сыну стало в конце концов казаться, что весь мир создан только для него одного. И мать не разубеждала сына в этом.

Вот, собственно, и все. Как говорил Маяковский, так из сына вырос свин.

Человек из прошлого

С недавних пор у Нины Гомзиной появился спутник. Высокий, черноглазый. Достаточно только было Нине выйти на улицу, как он тенью устремлялся за ней. Куда она, туда и он. Нина в школу — тень устраивалась напротив и терпеливо ждала, когда раздастся последний звонок, чтобы идти за девушкой до дома. Такая настойчивость смущала Нину. Ей было неудобно перед подругами, преподавателями. Особенно в те минуты, когда тень, уткнувшись носом в оконное стекло, сосредоточенно следила за тем, что делается в классе. И не дай бог, если преподаватель стоял в это время у Нининой парты, — тень немедленно начинала сопеть, метать ревнивые молнии. Нина краснела, точно была в ответе за поведение черноглазого. А Нина не знала даже, кто он.

— Кто? Поклонник, — сказала подруга. — Ты бы хоть улыбнулась ему.

— Улыбнуться? — Маленький кулачок Нины угрожающе сжался. Ох, с каким удовольствием она выскочила бы сейчас из класса на улицу и надавала хороших подзатыльников этому дуралею, который вот уже вторую неделю донимает ее своим преследованием. А что если узнает мама?

Чтобы отвадить преследователя и от своей школы и от своей квартиры, Нина как-то окатила его из окна ведром воды.

Но вода не помогла. Мама обо всем узнала. Да и как не узнать, если с утра до вечера у дверей ее дома торчала подозрительная тень. Мама рассердилась на дочку. Та в слезы.

— Я тут при чем?

— Прогони его.

— Гнала. Не уходит.

— А он кто?

— Не знаю.

Мама подходит к окну.

— Молодой человек, вас можно на минуточку?

Вы кто?

— Миша.

— Миша, не стойте, пожалуйста, под нашими окнами. Нехорошо. Вы компрометируете девушку, которую любите.

— А я не люблю Нину. Я слезу за ней. Меня просил об этом Хамзат Гацаев.

— А он кто?

— Брат Нины.

Нина вопрошающе смотрит на Мишу.

— Брат?

А Миша уже отошел на ту сторону тротуара и как ни в чем не бывало устраивается в холодке.

Нина бросается к Ольге Николаевне:

— Mamочka, разве у меня есть брат?

А мамочка сама в растерянности.

— Как, ты не знаешь моего брата?

— Нет.

Это и в самом деле было так. Ольга Николаевна сегодня впервые услышала о существовании Нинино брата.

— Mamочka, почему?

И, как ни крепилась Ольга Николаевна, ей пришлось открыть Нине то, что скрывалось от нее. Нина была не родной, а приемной дочерью. Ольга Николаевна впервые увидела Нину четырнадцать лет назад в детском приемнике. Такую маленькую, хилую, что никто не мог даже определить, сколько ребенку лет: год, два, три... Ольга Николаевна пожалела больную девочку и стала навещать ее по воскресным дням. И так как девочка значилась в приемнике круглой сиротой, то Ольга Николаевна вскоре и удочерила ее. У девочки появились имя, фамилия, семья. Новая мама выходила, вылечила Нину. Биолог по образованию, Ольга Николаевна и своей названной дочери привила любовь к живой природе. Нина была самым активным участником кружка юных натуралистов. За шесть лет учения в школе она получила от гороно шесть грамот, а перейдя в седьмой класс, Нина была уже настоящим селекционером. Она вывела три новые породы домашних голубей и стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Ученице седьмого класса школы № 4 сюда, на восток страны, писали письма юннаты Москвы, Ленинграда, Киева, Еревана, Алматы... С Ниной делились опытом, у нее спрашивали со-

вета школьники Болгарии, Чехословакии, ГДР. О юной хозяйке голубиной стаи не раз печатались заметки и корреспонденции в «Пионерской правде», в областной комсомольской газете. А в «Дружных ребятах» был помещен даже большой портрет Нины. По этому портрету Хамзат Гацаев и узнал о существовании сестры. Еще бы, сестра как две капли воды была похожа на брата. Четырнадцать лет Хамзат не видел сестры. Родичи подбросили ее в трудный год в детский приемник и ни разу не справились о ней. Хамзат так же, как его отец, дяди, думал, что Нина умерла, а она, оказывается, жива, здорова. Брату порадоваться бы за сестру, а он нахмурился и, вытащив из кармана нож, мрачно стал строгать палочку.

— Портрет девушки народа нахчи в газете, какой позор!

Нахчи — значит чеченцы. Хамзат Гацаев — человек молодой. В старое дореволюционное время он не жил. Однако этот молодой человек демонстративно подчеркивал свою приверженность к старым родовым обычаям. А согласно этим обычаям, нахчийской девушке надлежало жить замкнуто. Только в кругу семьи и для семьи. А его сестра Нина была в переписке чуть ли не со всем миром. Ей писали, она отвечала и, быть может, отвечала не только девочкам, но и мальчишкам. Что из того, что мальчишкам-голубеводам по двенадцать — четырнадцать лет. По древним обычаям, девушке запрещено переписываться даже с двенадцатилетними, даже с голубеводами.

А может, отступление от обычаев не ограничивается только перепиской? И вот добрый брат, еще даже не видя сестры, организовал за ней слежку. Так за спиной у Нины появилась тень, которая ежевечерне являлась к Хамзату с докладом.

— Нину вызвал к доске учитель...

— И она вышла? И она отвечала ему, мужчине? Но ты хотя бы подслушал, о чем говорили эти презренные?

— Подслушал, но ничего не понял. О каких-то синусах и косинусах.

Хамзат схватился за голову:

— О я, несчастный брат!

А на следующую вечер новый донос:

— Утром на стадионе состоялся волейбольный матч...

— Моя сестра играет в волейбол? Неужели в майке, трусах?

— Совершенно точно, в майке.

— О, позор на твою голову, Хамзат!

Нужно было принимать какие-то экстренные меры, чтобы вырвать сестру из века двадцатого и вернуть ее назад — в век девятнадцатый. И вот Миша ведет Хамзата Гацаева в дом Гомзиных.

— Знакомьтесь, это брат Нины.

Ольга Николаевна горячо жмет руку гостю. Он и в самом деле очень похож на сестру. А сестра как увидела брата, так сразу же бросилась к нему на шею.

— Дорогой, как я рада!

А брат резко отстранил сестру.

— Что ты! Что ты! Нахчийская девушка не имеет права обнимать никого, кроме своего будущего мужа.

— Но ты же мой родной брат!

— Даже брата нельзя. Это противно законам шариата.

— Бог с ним, с шариатом. Жили мы без него. Будем жить и дальше так.

— Дальше ты будешь жить и не так и не здесь.

— Ты хочешь разлучить меня с мамой?

— Твоя мама давно умерла.

— А Ольга Николаевна?

— Вместо нее мы найдем тебе другую мать, знающую наши обычаи!

— Мне не нужно другой.

— Как, ты собираешься послушаться брата? — сказал Хамзат и полез в карман за ножом. Он всегда, когда злился, принимался строгать палочку. — Имей в виду, — продолжал наставлять Хамзат, — неподчинение воле старшего брата строго карается шариатом.

— Но я люблю Ольгу Николаевну, — сказала Нина и заплакала.

Слезы сестры, по-видимому, смягчили сердце брата, и он согласился не разлучать ее с названной матерью, но только при том условии, если дочь и мать примут к неуклонному исполнению три его требования: первое — немедленно прекратить работу в кружке натуралистов, так

как работа по селекции увеличивает число писем, входящих в адрес Нины, а переписка по почте противопоказана девушке древними обычаями; второе — бросить с завтрашнего дня школу, ибо в школе с Ниной каждую минуту может заговорить учитель-мужчина, а это запрещается шариатом; третье — не выходить из дому с непокрытой головой.

— Как, ты хочешь надеть на меня паранджу?

— Паранджу носят в Узбекистане, а ты должна прятать лицо от посторонних под черным платком.

Хамзат сказал и ушел, и снова за спиной у Нины появился соглядатай, который следил, как сестра выполняет наставления брата. А Нина и не думала подчиняться сумасбродным требованиям брата. Хамзат просто-напросто забыл, в каком веке и в какой стране он живет.

Непослушание сестры бесило брата. Он снова отправился к сестре.

— Собирайся, едем.

— Куда?

— К Гирею.

— А он кто?

— Гирей — твой муж.

— Да вы что, в своем уме? — бросилась на защиту дочери Ольга Николаевна. — Какой муж? Нина — ребенок, девочка. Она учится еще в восьмом классе.

— Если девочка может без посторонней помощи поднять одеяло с подушкой, то старший брат по законам шариата может выдать ее замуж. И я уже нашел жениха. Это Гирей. Правда, Нина будет у него не старшей, а лишь третьей женой. Но третья — это тоже не последний человек в доме. И у третьей немало приятных обязанностей. Нина будет штопать и стирать мужу, кроме того, дважды в неделю старшая жена разрешит ей мыть Гирею ноги.

Нина вскочила и сказала:

— Я не пойду к Гирею в жены.

— Не забывайся, Нина! Ты дочь народа нахчи.

— Неужели все дочери этого народа бросают школу и с пятнадцати лет моют ноги своим мужьям?

— К сожалению, не все. Есть такие, которые кончают школы, университеты и становятся врачами, учи-

телями, инженерами. У этих девушек были плохие, слабохарактерные братья. А твой брат, Нина, не такой. Гордись им и не подводи его, тем более что аванс за тебя с Гирея уже получен.

— Ты продал меня?

— Ну и что же тут удивительного? Тебя же продал не чужой человек, а родной, любящий брат.

Нина смотрела на любящего брата и не понимала, говорит он с ней всерьез или зло шутит. А тот без улыбки во взоре уже предъявляет девушке ультиматум:

— Тебе дается на сборы три часа. К десяти вечера муж Гирей придет за тобой. Не поедешь с ним добровольно — тебя свяжут и увезут силой.

— Я буду кричать, драться.

— Не советую. У моего соседа была сестра. Она тоже решила жить по-новому, по-своему. Где теперь эта своевольница? Исчезла. Испарилась. Полгода никто не может найти следов ее. Вот что значит для девушки послушаться старшего брата, — сказал Хамзат и, вытащив из кармана нож, стал строгать палочку. — Кстати, не вздумай жаловаться милиции. Это не поможет.

Несмотря на предупреждение, Ольга Николаевна с Ниной сейчас же, как только ушел гость, побежали в милицию. Дежурный принял встревоженных женщин, выслушал их и сказал:

— Этого Хамзата нужно было бы задержать, наказать. А я не могу. Угроза — это еще не содеянное преступление.

— Значит, мне можно не бояться за дочь? — спросила Ольга Николаевна.

— Нет, что вы! Пережитки в сознании — дело страшное.

Дежурный встал, прошелся по комнате, затем плотно притворил дверь и шепотом сказал:

— Уезжайте отсюда, да так, чтобы Хамзат не знал вашего нового адреса. Это человек из далекого прошлого. От него можно ждать мести и коварства.

Работники милиции не только дали совет. Они были так предупредительны, что купили двум несчастным женщинам железнодорожные билеты и помогли им незаметно ускользнуть из города. Легко сказать — ускользнуть. Ольга Николаевна бросила в этом городе, где

прошла большая часть ее жизни, все: друзей, работу, любимых учеников, квартиру — и все это только для того, чтобы спасти Нину от преследований брата.

Трудно пришлось старой, больной учительнице на новом месте. Остановилась она у знакомых в Гатчине, под Ленинградом. Чтобы устроиться на новом месте, нужны были деньги. Женщины выехали из родного города внезапно, не взяв с собой вещей, документов. Написать письмо в город Ольга Николаевна боялась: а вдруг Хамзат узнает, где они прячутся. Хорошо, что в милиции не забыли старую учительницу и ее дочь. Начальник облотдела объявил розыск и выслал по новому адресу Гомзиных и вещи и документы. Жизнь в Гатчине стала помаленьку налаживаться. Мать с дочерью думали, что все страшное и плохое уже позади. Но увы! Над ними уже снова собирались тучи. Хамзат Гацаев ходил по городу и говорил:

— Я найду ее даже на дне моря.

И Хамзат нашел сестру, нашел при посредстве того же самого адресного стола, который помог установить местопребывание Гомзиных и начальнику областного отделения милиции. И вот на имя гатчинского прокурора приходит заявление с требованием задержать Нину и отправить ее по этапу к старшему брату. Гатчинский прокурор не вянул, конечно, этому требованию. Он вызвал к себе мать и дочь, выслушал их и сказал:

— Живите спокойно в Гатчине. Я не стану отправлять Нину к брату.

— Но брат приедет сюда сам. Он грозит Нине за ослушание местию.

Прокурору нужно было тут же связаться с семипалатинской милицией и привлечь Гацаева к ответу, а прокурор только посочувствовал Гомзиным.

— Я бы привлек, наказал прохвоста, да не могу. Угроза — это еще не содеянное преступление.

И вот две женщины снова стали перед дилеммой: что делать дальше? Бежать? Куда? Адресный стол в нашей стране работает исправно. Он поможет Хамзату найти сестру и на дне моря.

Неужто и в самом деле этой сестре махнуть рукой на свое будущее, на школу? А ведь девушка мечтала стать биологом. Так почему бы и не сбиться этим мечтам?

Старший брат против! Ну и что ж, что он старший? Кстати, а он кто, этот старший брат, этот рьяный поборник шариаата?

Хамзат Гацаев, как мы установили, студент Семипалатинского мукомольного техникума. Живет этот студент в общежитии, на улице имени поэта Демьяна Бедного. У этого студента зачетная книжка, и в ней значится, что экзамен по Советской Конституции сдан на пятерку. Да что зачетная книжка! В кармане Хамзата Гацаева есть и вторая книжка — члена комсомола. А знает ли про деяния этого «комсомольца» комитет комсомола? Знает и разводит руками.

— Что делать? Пережитки!

Комитет комсомола выражает сочувствие Нине. От этих сочувствий ни тепло, ни холодно. Ни сестре, ни брату. Сестра живет в вечном страхе, а брат уверен в своей безнаказанности.

— Ставь воду на огонь, — говорит брат Гирею. — Третья жена уже ползет из Гатчины на коленях мыть тебе ноги.

— А что если сестра и на этот раз послушается старшего брата? — спрашивает Гирей.

— На этот раз не посмеет, — отвечает Хамзат и, осторожно проведя пальцем по острию ножа, мрачно начинает строгать палочку.

1958 г.

Косой дождь

Все было готово для переезда на новую квартиру. Ордер получен, машины для перевозки вещей у подъезда. Не было у Федора Степановича только кота. А кот, это знают все, должен переступить порог новой квартиры первым. Попробуй нарушь традицию, и у тебя через неделю заведутся плесень. Федор Степанович решил не рисковать и позвонил мне:

- Кот есть?
- Чомка. Только он черный.
- Вези, я не суеверный.

И вот, сунув Чомку в кошелку, я мчусь с Пресни к Абельмановской заставе. Рогожский вал № 13. Новый пятиэтажный дом. У подъезда стоят машины. Вещи сгружены, капает дождь, но никто — ни новоселы, ни рабочие-грузчики, ни представители домоуправления — не спешит под крышу. Все знают: без кота входить в новый дом нельзя.

Наконец заветная кошелка прибывает на место. Техник-смотритель торжественно передает ключи хозяину, не менее торжественно черный Чомка переступает порог новой квартиры, а за Чомкой входим и мы.

— Ну, дай боже! — говорит Федор Степанович и открывает бутылку шампанского.

Посуда еще не распакована, поэтому хозяева, грузчики, работники домоуправления пьют из одного стакана. Затем Федор Степанович кропит вином углы во всех комнатах. Это тоже так положено у несуеверных людей. На счастье.

Но счастье в новой квартире было недолговечным. С первыми осенними дождями на светлых, веселых обоях зацвели розы из плесени. А под балконной дверью за ночь набегала такая большая лужа, хоть кораблики пускай.

Новоселы, а это были железнодорожники, взволновались. Побежали с жалобой в управление дороги. Там создали комиссию. Члены комиссии два месяца изучали вопрос, заседали и наконец пришли к выводу.

— Признать виновной за появление сырости тетю Грушу.

— А кто такая тетя Груша?

— Штукатур. Плохо она заделала швы на стыках стен, поэтому при косом дожде вода через щели попадает в комнаты.

— Как быть дальше?

— Терпеть. Потому что нельзя же через полгода после заселения требовать в Министерстве путей сообщения деньги на капитальный ремонт нового дома.

Машинисты электровозов и дежурные по станции терпели. Каждый по мере сил применял подручные сред-

ства борьбы с косым дождем. Ставили под балконные двери корыта, замазывали щели в стыках цементом, гипсом, затыкали их старыми кофтами.

Прошло полгода — и новая напасть. Прогнул лестничный марш на втором этаже. А так как марши были поставлены один на другой наподобие детских кубиков, то достаточно был выскочить со своего места одному кубику, как пришли в движение, закачались и остальные.

Была создана вторая комиссия. Эта тоже заседала, изучала и пришла к выводу.

— Считать виновным за ступеньки дядю Гришу.

— А это кто?

— Рабочий домостроительного комбината. Плохо дядя Гриша следил за дозировкой компонентов при отливке лестничных маршей.

Жители дома уже не спрашивали, как быть дальше. Ради экономии времени они сразу же обратились к подручным средствам. Притащили с соседней стройки два бревна и подперли ими аварийный марш.

Не успели новоселы взнудать лестницу, как начали прогибаться бетонные перекрытия. Из плоских они становились не то выпуклыми, не то впуклыми. Само собой разумеется, пришлось создавать третью авторитетную комиссию, которая, отзаседав и изучив вопрос, сделала вывод.

— Считать виновным за прогиб перекрытий мальчишка Ледю.

— А это кто? — спросил Федор Степанович.

— Сын соседа, который живет над вами. Сосед купил Леде трехколесный велосипед, и мальчик по легкомыслию сделал крут по комнате. А бетонные перекрытия этого типа не рассчитаны на дополнительную нагрузку, поэтому они и прогнулись.

А если учесть, что прогнувшиеся перекрытия лежали не на жестком каркасе, а прямо на стенах комнаты (тех самых, в стыки которых проникал косой дождь), то бедный Федор Степанович вынужден был зажмуриваться и говорить «Пронеси, господи», не только становясь на ступеньку лестничных маршей, но и садясь за обеденный стол под впуклым потолком своей квартиры. Что если трехлетний Ледя сделает на велосипеде еще

один легкомысленный круг по своей комнате — и тогда...
Что будет тогда, думать уже не хотелось.

Дом по Рогожскому валу, № 13 был типа «1-335». Новаторский. Честь и хвала строителям-новаторам. У нас и в других отраслях промышленности есть новаторы. Они конструируют новые виды станков, машин, кораблей, электровозов, придумывают новые фасоны туфель и платьев. Но как бы соблазнительно ни выглядели эти платья на картинках, прежде чем пустить их на конвейер, портных-новаторов заставят шить образцы. Манекенщицы продемонстрируют эти образцы на публике, потом новые платья будут проверены в носке, стирке, глажке, и только после этого новой модели скажут «добро».

Платье в сравнении с домом пустяк. Цена платью от силы 30—40 рублей. А пятиэтажный дом типа «1-335» стоит несколько сотен тысяч рублей. В отличие от обычного типа домов тип «1-335» не строится, а собирается из крупных панелей. Проект этого дома разработала группа ленинградских инженеров. Проект сулил в будущем и удешевление домов и укороченные сроки строительства.

Как известно, каждый новый проект требует тщательного изучения, а бывшее руководство Госстроя так загорелось посулами авторов проекта, что забыло об осторожности. Вместо того чтобы построить по этому проекту несколько экспериментальных домов и проверить их и при прямом дожде и при косом, оно поспешило послать чертежи авторской заявки строителям с предписанием: воздвигать дома для работников системы Министерства путей сообщения только из панелей типа «1-335».

Здравомыслящие люди — а они были и среди строителей и среди железнодорожников — пробовали урезонить работников Госстроя:

— Сначала давайте устраним недостатки проекта, а потом пустим постройку крупнопанельных домов на большой конвейер.

Но на таких людей шикали, вешали на них ярлыки консерваторов. Не потому ли члены многочисленных комиссий, которые бывали в доме по Рогожскому валу, № 13, признали виновниками несчастий Федора Степано-

вича, тетю Грушу, дядю Гришу, мальчика Ледю, старательно замалчивая другие имена?

Между тем строители начали сдавать новые дома типа «1-335». Один, второй, третий... десятый...

А железнодорожники не радуются новому жилью, а плачут. Плачут и работники управлений дорог. Дома только что построены, а новоселов нужно уже переселять, чтобы ставить новостройки на капитальный ремонт.

Работники Министерства путей сообщения, нужно отдать им справедливость, не побоялись того, что их зачислят в лагерь консерваторов, и написали письмо в Госстрой с требованием не строить больше для железнодорожников дома типа «1-335», а заменить их более доброкачественными. Через год они повторили свое требование.

Бывший заместитель председателя Госстроя Баранов, ныне зам. председателя Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре, вместо того, чтобы заставить авторов исправить проект и только после этого строить по нему, ответил железнодорожникам примерно следующее:

— Стройте. Исправлять недостатки проекта будем параллельно. Указания авторам даны.

За три года было внесено около восьмидесяти исправлений в проект «1-335». Но исправления были скороспелые. Не успеют новые чертежи прибыть на домостроительные комбинаты, как вслед за ними приходит телефограмма:

«Эти новые не считать «новыми». Ждите новой партии «новых».

Федор Степанович прожил в новом доме по Рогожскому валу всего два года, и его вместе с соседями пришлось переселить. Новый дом стоит пустой. Начался ремонт.

И сейчас, когда в доме вскрыты полы и обнаружены заржавевшие стыки панелей, работникам Госстроя легко будет определить, в чем виноваты авторы проекта, в чем строители, в чем — черный кот Чомка, который первым отважился переступить порог нового дома типа «1-335».

Свадьба с приданым

В бледно-розовом овале — два воркующих голубка. Он и она. А под розовыми голубками нижеследующий текст:

«Свадебное приглашение. Уважаемый товарищ! Просим вас пожаловать сего месяца, 11-го дня к 9 часам на бракосочетание наших детей — Яши и Илли.

С почтением родители: Д. А. Туашвили и Л. Д. Коман, г. Поти, Джорджиашвили, № 27».

Но прежде чем сыграть свадьбу, а именно за два месяца до нее, там же, на улице Джорджиашвили, № 27, состоялась торжественная встреча вышепоименованных родителей на предмет определения статуса бракосочетания. Высокие договаривающиеся стороны заключили соглашение, состоящее всего из двух пунктов:

1. Не ударить лицом в грязь перед Самтредия.

2. Пусть будет завидно Сухуми.

Для того, чтобы веселый шум свадьбы дошел из Поти до Сухуми, требуется немалое количество денег. А где их взять?

— Не беспокойтесь, — сказали будущим молодоженам папа № 1 и папа № 2.

Хорошо, предположим, деньги на обед и музыку будут, а где собрать гостей? Поти — город небольшой, и все его достопримечательные здания приноровлены к нуждам районного масштаба. Самая большая шашлычная рассчитана человек на сто. Банкетный зал в ресторане вмещает двести.

— А не снять ли нам для свадьбы помещение городского театра? — внес предложение папа № 1.

— Идти в горсовет? Просить, унижаться? — сказал папа № 2. — Не стоит.

И вот на той же улице Джорджиашвили, рядом с собственным домом папы № 2, в экстренном порядке начал сооружаться специальный свадебный павильон. Следует отметить, что даже в далеком прошлом не все члены царствующих фамилий позволяли себе такую роскошь. Павильон на одну ночь только для одного свадебного пиршества! Последним, кто разрешил себе такое строи-

тельство, был Людовик ...надцатый, воздвигший специальную веранду для своей свадьбы не то в Тюильри, не то во дворце Сен-Клу. Но Людовики вообще отличались легкомысленностью, и всем известно, как плохо они кончили.

Плохой конец Людовиков, однако, не остановил двух пап из Поти, и соревнования начались. Следует отметить, что папы следовали за Людовиками не вслепую. Опыт Бурбонов осваивался творчески. Веранда в Сен-Клу была украшена гобеленами, а папы повесили на стенах своего павильона ковры. Людовик любил розы, а папы засадили аллею в своем саду пальмами.

Но вот, наконец, строительство подходит к концу. Свадебные приглашения разосланы. Наступает долгожданный день бракосочетания. Папа № 1 командует на кухне целым взводом поваров и виночерпиев. Бараны режутся на шашлыки штуками. Куры идут в кастрюли дюжинами. Фрукты подвозятся к десерту пудами. Вино подкатывается к столам бочками. Смотри, Самтредия, и завидуй.

А папа № 2 встречает гостей в воротах дома. Жмет им руки, улыбается:

— Милости прошу к нашему шалашу.

А в шалаше вовсю гремят оркестры. В Сен-Клу играл один, а здесь три. Духовой, восточный, джаз. Хотите музыки, пожалуйста. У нас на все вкусы. От горской лезгинки до буги-вуги.

Гости рассаживаются за столами, ждут первого гостя, чтобы начать дегустацию вин и закусок. А гостя не слышно. На месте тамады стоит радиомикрофон, а самого тамады М. Товарашвили нет. Гости ищут заместителей тамады. А тех тоже не видно.

— Что случилось? Где тамада?

А случилось непредвиденное. В магазин № 27 внезапно явились общественные контролеры и установили, что директор магазина, он же тамада М. Товарашвили, продает дешевый габардин по цене дорогого, наживая по десять рублей на метре. В то самое время, когда контролеры составляют в магазине № 27 акт, первый заместитель тамады по свадебному столу, директор магазина № 17 К. Мумия, продавал женские туфли вместо 16 рублей за пару по 24. Тем же занимался и второй

заместитель тамады — директор магазина № 36 Н. Ворамия.

Общественные контролеры идут к начальнику «Потиторга» И. Позория и говорят, что директора подведомственных ему магазинов продают шерсть, обувь, галантерею без ярлыков и артикулов.

— Это они по неопытности, — успокаивает Позория общественных контролеров и отправляет составленные ими акты в самый дальний ящик стола.

Свадебный тамада и два его заместителя благодарят начальника «Потиторга» за доброту и мчатся на улицу Джорджиашвили, № 27. Празднество в самом разгаре. Третий заместитель тамады — тоже, кстати, директор магазина Г. Зезиашвили — провозгласил уже бесчисленное количество тостов. За молодых, их пап и мам, родных и двоюродных братьев, за их дядей, тетей. Наконец, третий заместитель тамады временно прекратил провозглашение тостов и открыл прием подарков для молодоженов.

— Кто сделает почин?

— Я, — говорит опоздавший М. Товарашвили и добавляет: — Дарю жениху от имени магазина № 27 отрез габардина на пальто артикул № 1508, стоимость метра 43 рубля.

Вслед за тамадой вышел вперед его первый зам, затем второй.

— От имени магазина № 17... — От имени магазина № 36... — От имени магазина № 5... — говорили один за другим директора и называли товары, которые они дарили молодоженам.

— Отрез трико «люкс» артикул № 1302, стоимость метра 43 рубля.

— Отрез файдешина невесте...

— Отрез жениху...

И всюду директора магазинов называли номер артикула и цену за метр, потому что и папа № 1 и папа № 2 были не так наивны, как начальник «Потиторга», и подсунуть им дешевый товар вместо дорогого было трудно.

В середине вечера внезапно раздался из-за стола голос гостя:

— А что дарят детям родители?..

И тогда поднялся папа № 1 и сказал:

— Я дарю невесте золотой браслет, осыпанный бриллиантами.

А папа № 2 добавил:

— А я дарю жениху легковую автомашину.

Папа № 2 хлопает в ладоши, и к свадебному столу подкатывает роскошный подарок. Но жених не так прост, как кажется. Жених поднимается с места и, как заправский барышник, начинает смотреть подарку в зубы. Он поднимает капот мотора, стучит каблуком по туго накаченными шинам, проверяет ногтем краску на дверцах. Все как будто бы в порядке.

— Позвольте, а почему спидометр не на нуле? Почему он показывает полторы тысячи километров? Автомашина что, не новая?

— Почти новая. Старый хозяин ездил на ней всего два месяца.

Но жених не слушает оправданий папы № 2, он холодно кланяется невесте и отходит в сторону.

— Меня «почти» не устраивает, — говорит он, — я не возьму машину с чужого плеча.

На свадьбе воцаряется минутная пауза. Что делать, как быть?

Папа № 2 вторично хлопает в ладоши. И к жениху подкатывает вторая автомашина.

— Вы хотите совсем новую, пожалуйста, получите.

И тут все три оркестра грянули разом туш, гости закричали «ура!», и свадебный шум дошел не только до Сухуми, но и до Москвы.

Вот, собственно, и все о свадьбе в Потти. Нам осталось только выяснить и сообщить читателям некоторые сведения о двух папах, которые с такой грациозной легкостью истратили на свадьбу свыше десяти тысяч рублей. Кто эти папы? Как зарабатывают деньги?

Борис Константинович Данелия, житель Сухуми, пришедший нам письмо с описанием свадьбы в Потти, был на улице Джорджиашвили, № 27, где проживает папа № 2, и установил, что папа № 2 не сын турецкого подданного, получивший из-за границы большое наследство. Папа № 2 — всего лишь агент по снабжению «Вонторга» со ставкой 65 рублей в месяц.

На какие же капиталы скромный агент мог устроить свадьбу в стиле Людовика ...надцатого?

Данелия задал этот вопрос начальнику Потийского отделения «Военторга». И тот ответил так:

— Сам не пойму! Сам удивляюсь!

Данелия пришлось сделать немало километров, чтобы установить, где живет и работает отец жениха. Папа № 1 оказался еще более скромной личностью, чем папа № 2. Он числился крутильщиком канатного цеха местпрома в селе Сартачалы, Сагареджойского района. Однако жил этот крутильщик почему-то не в селе Сартачалы, а в Тбилиси, в собственном доме из девяти комнат по Серебряной улице. Но девяти комнат крутильщику было мало, и он вместе с папой № 2 купил за десять тысяч еще две комнаты с верандой.

— Это в приданое нашим детям-молодоженам.

Я позвонил из Москвы в Тбилиси начальнику ОБХСС Кировского района и спросил:

— С каких пор сельские крутильщики стали дарить своим детям такое богатое приданое?

И работник милиции ответил то же, что и начальник «Военторга»:

— Сам не пойму! Сам удивляюсь!

На свадьбе Яши Туашвили и Илли Коман было четыреста гостей. Приглашение получили не только работники торгов, заведующие базами, складами, директора магазинов и прочие материально-ответственные лица. Несколько приглашений предприимчивые родители вручили на всякий случай работникам суда, милиции и прокуратуры. Однако никто из официальных лиц на свадьбу не пошел. И зря. Пойти на улицу Джорджиашвили, № 27 нужно было обязательно. Конечно, не с поздравлениями, а хотя бы затем, чтобы посмотреть, как живут и процветают в Поти дельцы и выжиги. Главное, и живут-то они неподалеку, бок о бок с городскими властями.

1958 г.

Бледнолицый брат

Жил-был на свет мальчик. Мальчик как мальчик. По имени Юра, по прозвищу Фитиль. Да он, по правде, и был похож на фитиль: длинный, тощий, нескладный. Всегда один, как огонек под ламповым стеклом.

Любил Фитиль по-настоящему только книги, а из книг — главным образом Фенимора Купера и Майн Рида. Фитиль пользовался всякой оказией, чтобы почитать. А читать он мог везде: дома, в школе, на трамвайной подножке. Достаточно было ему раскрыть книгу, как мальчик мгновенно забывал об окружающей обстановке и уносился в прерии, к своим друзьям: Кожаному Чулку — Грозе оленей, Черному Орлу... В такие минуты Фитиль совершал самые головокрумные путешествия и показывал чудеса храбрости в битвах с разбойниками.

Мысленно Фитиль бежал быстрее мустангов, прыгал, как кенгуру, и лазал по скалам не хуже горных туров. Но достаточно было только Фитилю захлопнуть книгу и спуститься на бrenную землю, как храбрый бледнолицый брат превращался в самого жалкого трусишку.

Житель прерий, оказывается, никогда не ходил босиком, чтобы не поцарапать себе ноги. Он не бегал с мальчишками наперегонки, не прыгал с ними через канавы и скамейки, так как боялся при прыжке споткнуться и расквасить себе нос.

Фитиль боялся не только канавы, но и многого другого: например, воды, потому что она холодная, солнца — оно горячее, воздуха — он свежий.

Ходил друг Черного Орла триста шестьдесят пять дней в году в теплом шарфике и с насморком. Но чем больше Фитиль кутался в шарфик, тем чаще хворал. Папа и мама водили своего Фитилька к докторам. Один доктор прописал ему капли, но капли не помогли. Второй велел ставить горчичники. Горчичники тоже не помогли. Фитиль худел и желтел. Трудно сказать, до какого состояния довела бы мальчика трусость, ежели бы за его врачевание не взялся сосед по квартире — отец тринадцатилетнего Вовы.

Вовин папа повел лечение довольно необычным путем. На листе чистой бумаги он нарисовал скаल्प и два томагавка и подбросил Фитилю под дверь письмо такого содержания:

«Бледнолицый брат! Старейшины хотят избрать тебя, сына Льва и Орлицы, предводителем краснокожих. Если ты согласен, то завтра, когда солнечный луч, пробившись сквозь ветви густого чаппареля, пробудит тебя ото сна, подымись на старый дуб и, надевая мокасинов, трижды стукни голой пяткой о первый сук».

Письмо было подписано: «Друг Черного Орла Повин Вапа».

Фитиль не верил собственным глазам. Два раза он перечитал письмо. Да, так и есть. Стоит ему только три раза стукнуть о сук голой пяткой, как он из Фитиля превратится в предводителя племени.

Фитиль в большом волнении провел ночь и чуть свет был уже в саду, возле старого дуба. Первый сук был на высоте пяти метров от земли. В это утро Фитиль попытался в первый раз в своей жизни влезть на дерево. Он мучился, срывался по стволу вниз и все же не сдавался. Ровно в полдень исцарапанный, но счастливый Фитиль добрался наконец до заветного сука и трижды стукнул по нему голой пяткой.

Но испытания Фитиля на этом не кончились. Вечером он получил второе письмо.

«Бледнолицый брат, — писал Повин Вапа, — ты на верном пути. Рано утром отсчитай пять локтей на север от высохшей яблони и выкопай яму два на два. На глубине метра с четвертью ты найдешь записку от Черного Орла с указанием, что делать дальше».

И Фитиль чуть свет принялся за земляные работы. Орудую лопатой, он упарился, и ему пришлось сбросить с шеи теплый шарфик. Затем он снял рубашку и подставил свою худую спину под солнечные лучи и прохладный ветер. На этот раз Фитиль не думал уже ни об ожогах, ни о простуде. Три дня он копал яму, пока не довел ее до нужной глубины. На четвертый день из ямы была извлечена небольшая коробочка с запиской: «Бледнолицый брат, произошла ошибка. Указания Черного Орла ты найдешь не здесь, а в большой купаль-

не. Нырни под корягу и поищи там консервную банку. Твой друг Повин Вапа».

Фитиль от досады чуть даже не заплакал. Хорошо сказать, нырни, а как это сделать, ежели ты не умеешь плавать? Целую неделю храбрый друг Черного Орла ходил с мальчишками на речку. Он лежал вместе с ними на песке, бегал по берегу, но влезть в воду никак не решался: вода по-прежнему вызывала у него страх.

На восьмой день Вовин папа пришел на помощь трусишке. Он прислал ему два бычьих пузыря со следующей запиской: «Бледнолицый брат, Черный Орел шлет тебе в подарок два чудодейственных пузыря от двух убитых им бизонов. Воспользуйся этими пузырями, и ты будешь плавать быстрее форелей. Твой друг Повин Вапа».

Фитиль с трудом уговорил себя влезть в воду, и то лишь потому, что у него в руках были настоящие бизоньи пузыри. Сначала учеба шла туговато. Но потом *мальчик так вошел во вкус, что уже не хотел вылезать из речки*. Через две недели предводитель краснокожих обходился уже без бизоньих пузырей, а еще через месяц он нырнул под корягу и вытащил оттуда консервную банку с запиской.

«Бледнолицый брат, — писал Повин Вапа. — Черный Орел доволен твоими успехами. Еще десять лет такой жизни — и сын Льва и Орлицы станет сильнейшим в прериях. Привет тебе от старейшин».

Но Фитилю не надо было ждать десять лет, чтобы стать сильнейшим в прериях. Главное уже было сделано. Фитиль поборол преждевременную старость, которая жила в нем, и перестал страшиться солнца, воздуха и воды. Он безбоязненно бегал теперь наперегонки с мальчишками, плавал с ними в купальне, играл в волейбол. Через два года от его фитилеобразности не осталось и следа. Так из маленького трусишки вырос сильный, ловкий и смелый человек.

Тем, кому вся эта история покажется сказкой, мы можем сообщить, что она записана нами на стадионе «Динамо» со слов чемпиона по штанге Юрия Копченого.

1946 г.

«Мой бывший сын»

Грипп гулял по городу разномастный. Среди старых знакомцев Кати Морозовой — гриппа температурного и бестемпературного — на этот раз были и такие виды болезни, по ходу которых температурная кривая поднималась вверх не один раз, а дважды и трижды. Звались эти гриппы в народе двугорбыми и трехгорбыми, именно они-то и доставляли Кате больше всего хлопот, заставляли ее бегать с утра до вечера по Балашову. В один дом Катя приходила с пенициллином, в другом ставила банки, в третьем делала внутривенные вливания.

Как-то утром Катя сама почувствовала сильное недомогание. Случись это с обычным жителем города, Катя тут же заставила бы его измерить температуру, показаться врачу. А Катя была не обычным жителем, а медицинской сестрой. Взять в эти трудные для медиков гриппозные дни больничный бюллетень Кате было неловко, и она решила махнуть рукой на недомогание.

— Похожу, побегаю, разомнусь, может, станет лучше, — сказала она и пустилась со своим чемоданчиком в обычный рейс по городу.

Но Кате не стало легче. Наоборот, у нее разболелась голова, появился озноб, ломота в суставах. К вечеру все признаки двугорбого гриппа были уже налицо, а до конца работы еще далеко.

Но вот Катя ставит банки последнему больному и выходит на улицу. Усталая, разбитая, добирается наконец Катя до своего дома и видит в освещенном окне комнаты одинокую мужскую фигуру.

— Ваня!

Ваня — муж Кати. Два часа назад Ваня вернулся с работы, а стол к его приходу оказался ненакрытым. Ваня — на кухню, а в кастрюлях пусто.

— Смотрите, ей было лень купить даже сосиски! — крикнул он соседям.

Ей — это Кате. Когда Ваня злится, он всегда говорит о жене в третьем лице. Ваня Морозов не медик, а столяр-железнодорожник. В эти трудные для медиков дни Ваня легко бы мог взять на себя часть забот по

дому: сбегать купить те же сосиски, сварить их. А Ваня вместо этого два часа стоял голодный у окна и ждал жену. И, как ни тяжело было в этот вечер жене, она даже не вошла в дом, а повернула назад в город за сосисками на ужин мужу.

А двугорбый грипп бушует в крови больной все сильнее. Высокая температура туманит Кате голову, и она вместо того, чтобы повернуть из города назад к дому, оказывается почему-то на станционных путях. Стрелочница кричит ей: «Куда вы! Куда?» А Катя не слышит ни криков стрелочницы, ни шума приближающегося поезда.

В два часа ночи соседка поднимает с постели Ваню Морозова.

— Беги скорей в больницу: с Катей случилось несчастье.

Ваня бежит, стучит в дверь больницы, а его не пускают внутрь.

— Не имеете права! — кричит Ваня. — Я муж.

Дежурный врач передает этому мужу связку сосисок и говорит:

— Сегодня нельзя. Вашей жене очень плохо.

Ваня трахает сосиски об пол и снова рвется в палату. Но дежурный врач тверд в своем решении:

— Нельзя.

Врач поит Ваню успокоительными каплями и отправляет его домой. Ваня идет, но до дома не доходит, возвращается назад. Он сидит всю ночь у больничных дверей. Утром приходит главный врач. Ваня говорит с ним. Просит, умоляет и добивается своего. На Ваню надевают белый халат, и у постели жены появляется муж в незнакомой ему роли брата милосердия.

А положение жены тяжелое. Со вчерашнего дня Катя еще не приходила в сознание. Глаза открыты, а она никого не видит, никого не узнает. Лишь на третьи сутки утром больная задержала взгляд на муже, узнала его, улыбнулась.

— Моральный фактор! Он помогает выздоровлению несколько не меньше медикаментозного лечения, — сказала доктор Калинина и ласково потрепала по щеке брата милосердия.

Ах, если бы у этого брата было чуть больше терпения. А он — что ни день, то мрачнее. Две недели провел брат милосердия у постели больной, а она за это время не поправилась, не стала на ноги. Лежит по-прежнему без движения и только тихо стонет.

— А может, Катя вообще никогда не выздоровеет?

— Выздоровеет, — успокаивает брата милосердия Калинина, — обязательно выздоровеет.

— Когда, доктор?

— Примерно через полгода.

Ваню словно кто обухом ударил по голове.

— Через полгода!

Ваня смотрит на больную, а у него перед глазами топка, подтопок, дымоход. В прошлом месяце молодые супруги стали перекладывать в своем доме печь. Ваня был за главного мастера, а Катя носила ему в ведрах со двора кирпич, глину. Как же быть теперь главному мастеру с подноской кирпича?

Рядом лежит и мучается жена, а муж жалеет не жену — муж клянет злой случай, который лишил его в самый разгар ремонтной страды подсобной рабочей силы. Мужу, конечно, стыдно за свои жестокие мысли, муж пытается даже выкинуть их из головы, забыть и не может сделать этого. Только-только Ваня решил, как быть с печкой («Топку и подтопок мне поможет переложить сосед»), а в голове у него возник уже новый хозяйственный вопрос: как быть с овощами?

Молодые супруги решили заквасить на зиму бочку капусты. Ваня купил и капусту и бочку. Но бочку нужно еще пропарить, капусту нашинковать. Все это должна была сделать жена, а она вышла из строя. И ведь не на неделю, а на целые полгода...

С этого дня брат милосердия уже не прибегал к больной жене ежевечерне после работы, а стал навещать ее через день, потом раз в пять дней, потом раз в десять... Катя придет в сознание, ищет глазами Ваню, а вместо Вани пустой халат висит на гвоздике... Доктор Калинина стала посылать за братом милосердия санитарку. В первый раз брат пришел, посидел для приличия у кровати больной минут десять и ушел. А во второй раз он отказался прийти даже ради приличия:

— Некогда, занят по хозяйству!

Так с тех пор Иван Морозов больше не появлялся в больнице. Белый халат брата милосердия пришлось снять с гвоздика, чтобы он не напоминал Кате о ее муже. Но это не спасло положения. Катя затосковала. День ото дня ей становилось все хуже.

— Моральный фактор! — сказала доктор Калинина. — Если мы не сможем установить душевное равновесие больной, нам не спасти ее жизнь.

Душевное равновесие... А как добиться его? Врачи обратились за помощью к товарищам и подругам Кати Морозовой по поликлинике, где она работала. Если прежде эти товарищи приходили к Кате только в приемные дни, то теперь они установили в ее палате постоянное дежурство. Доброе дело подхватили работники горкома комсомола, комсомольцы больницы, в которой Катя лежала. Так у постели больной вместо одного фальшивого брата милосердия оказалось двадцать настоящих.

И все же этим двадцати не так-то легко было заменить одного. Вероломное поведение мужа сильно ранило Катю, ей не хотелось уже ни пить, ни есть, ни бороться с недугом. Жизнь молодой женщины висела на волоске. Два месяца она провела «на кислороде», почти в бессознательном состоянии. Но ни врачи, ни товарищи не теряли надежды. Когда бы Катя ни открыла глаза — днем или глубокой ночью, — она всегда видела рядом друзей. Такая преданность не могла остаться незамеченной. Наступил день, когда Катя снова улыбнулась.

— Ну, слава богу, — шепнула доктор Калинина комсомолкам, — опасность, кажется, миновала.

Но она не миновала. Критическое состояние продолжалось еще больше полугода. Однако моральный фактор действовал теперь рука об руку с врачами. Катя уже не отказывалась больше от еды, от лекарств. И, как ей ни было тяжело, она мужественно перенесла три сложные операции одну за другой. Терпеливо лежала, не двигаясь, на досках, чтобы дать возможность сломанным позвонкам срастись без перекоса. И все эти нелегкие месяцы друзья-комсомольцы были рядом. Они прибегали к Кате после дежурств в поликлинике, после

рабочего дня в горькоме, после занятий в школе. Друзья кормили больную с ложечки, читали ей книги, газеты, держали в курсе всех городских новостей. Когда кости наконец срослись, комсомольцы стали учить Катю сначала сидеть, потом стоять. И вот наступил день, когда Катя начала учиться ходить. Первому шагу Кати радовалась не только она сама — радовались все обитатели больницы, товарищи, врачи. Это и в самом деле было медицинским чудом — сшить, срастить, воскресить искромсанное и изломанное паровозом тело человека, доставленного в больницу почти без всяких признаков жизни. И вот человек поднялся с больничной койки. Конечно, это была еще не прежняя Катя. Прежняя летала со своим чемоданчиком из одного конца города в другой, а эта Катя пока с трудом передвигает ноги. Но доктор Калинина верит в полное исцеление.

— Вам нужно пройти еще один цикл лечения, — говорит доктор Кате. — Конечно, не сейчас. Сейчас я советую вам переменить больничную обстановку, набраться сил. Вот если бы вы могли достать путевку в санаторий.

— Достали, — сказала Рая Булычева.

Комсомольцы, оказывается, уже позаботились и о санатории.

— С какого числа путевка?

— Хоть с завтрашнего.

— Нет, с завтрашнего не нужно, — сказала Катя. — Я хочу пожить недельку дома. Поговорить с Ваней.

Комсомольцы переглянулись. Они думали, что с Ваней все уже кончено, а Катя, как видно, еще на что-то надеялась. На следующее утро подруги везут Катю домой. Навстречу исцеленной выходят соседи, обнимают, поздравляют ее. Катя целует соседку, а сама смотрит поверх ее плеча в комнату:

— Где Ваня?

А Ваня, оказывается, еще не вернулся со вчерашней вечеринки. Кате горько это слышать, и она, опустив глаза, медленно входит в дом. А дом — словно плац перед парадом. Все в комнатах начищено. Недостроенная печь достроена и побелена. На старом днище ведра яркая латка из желтой жести.

На кухне два новых табурета. В сенях новое цинковое корыто.

«Хозяином Иван был всегда хорошим, — думает Катя. — Осталась ли только у этого хозяина хоть капля его прежних чувств к жене?»

И вот хозяин появляется наконец в дверях комнаты. Катя смотрит на него: что он будет делать, что скажет? Не виделись-то с прошлой осени!

Муж подошел к жене, оглядел ее, сказал:

— Костыли? Они выписали тебя из больницы на костылях? И ты согласилась?

— Согласилась.

— Странно! Как же ты будешь на костылях мыть пол?

Катины подруги чуть не взвились к потолку от такого вопроса.

— Ты чудовище, — сказала Морозову Шура Захарова и, повернувшись к Кате, добавила: — Пойдем, поживи пока у меня.

Но Катя отказалась от этого приглашения.

— Я буду жить дома.

В этот день Иван Морозов не нашел времени поговорить с женой.

— Прости, бегу на работу.

А после работы Ваня снова пошел на вечеринку, вернулся домой, как и накануне, только утром.

— Тебе не стыдно? — спросила мужа Катя.

— За что? Разве это я? Это говорит во мне мужская природа!

Говорила, однако, не природа — говорило животное. Соседка стала укорять Ивана:

— И путаешься ты черт знает с кем — с шалапутной Лизкой. Вся улица смеется.

— Ну и что ж, что она шалапутная, — ответил Ваня, — зато она мне рубашки, наволочки стирает. Я заранее договорился с Лизкой: дружить только со стиркой.

Катя решила провести еще одно испытание, и хотя ей было трудно, она взялась за стирку. Иван пришел с работы, посмотрел на развешанное белье и улыбнулся:

— Молодец, хорошо.

А потом увидел костыли и спросил:

— А кто тебе воды натаскал?

— Девочки из поликлиники.

Глаза у Ивана сразу потускнели.

— Не то, Катя, — сказал он. — Полноценная жена сама должна ходить к колодцу. А ты пока инвалид.

Через несколько дней Катя уехала в санаторий. Ее провожали друзья из поликлиники, больницы, горкома комсомола. Не было среди провожающих только одного человека — мужа, Вани. Почти два месяца провела Катя в санатории. Она принимала ванны, делала лечебную гимнастику. Каждый день Катя получала по нескольку писем из Балашова от своих подруг, товарищей, и единственным, кто не написал ей за эти два месяца ни строчки, был ее муж — Ваня.

У этого Вани оказалась душа кулака-хозяйчика. Пока жена была здорова, Иван Морозов оказывал ей любовь, уважение. Заболела жена — и муж готов был, говоря языком плохих завхозов, «сактировать» ее как вышедшее из строя тягло.

«Урод, не человек. И в кого только он такой?» — спрашивают товарищи по работе, соседи, родные.

А мать Ивана Морозова перестала называть этого урода своим сыном. Мать говорит: «Мой бывший сын».

— Мой бывший сын опозорил меня. Мой бывший сын ушел от больной жены!

— Не ушел, — оправдывается Иван Морозов. — Я переехал к Лизке временно, месяца на два, на три. Как только Катя бросит костыли, я вернусь к ней.

Катя приехала из санатория окрепшей, поздоровевшей, и ее отправили в Саратов — пройти еще один цикл лечения. Сейчас ни у кого нет сомнения — ни у врачей, ни у друзей Кати, что она в конце концов совсем поправится, и жители Балашова снова увидят на улицах города быстроногую и легкокрылую медицинскую сестричку с неизменным чемоданчиком в руках.

— Вот тогда-то она снова будет нужна мне, — говорит Морозов.

А будет ли тогда нужен он ей?

1959 г.

Петя-Пятачок

Петька был бойким, жизнерадостным ребенком. Если бы Петькины родители серьезнее занялись его воспитанием, Петька мог бы вырасти вполне приличным сыном. Но Петькины папа и мама вспоминали о своих родительских обязанностях только тогда, когда их вызывали в школу: «Ваш сын опять не приготовил уроков» или в домоуправление: «Заплатите штраф за разбитое стекло».

На вызовы всегда ходила Петина мать, Ольга Павловна. Причем Петька знал наперед все, что будет дальше. Сначала мать будет кричать на домоуправшу и поплачет в домоуправлении. Потом будет кричать на Петьку и поплачет вместе с ним, и, наконец, дождет-ся прихода отца, покричит и поплачет при нем.

Петькин отец, Василий Васильевич, всякий раз устало выслушивал мать, сопел, стегал Петьку ремнем и уходил в двадцать шестую квартиру к бухгалтеру Минкину играть в преферанс.

Так было в прошлом месяце, позапрошлом, так было всегда — скучно, однообразно; поэтому ни материнские слезы, ни отцовский ремень не производили на Петьку благотворного влияния. Петька по-прежнему не готовил уроков, умывался не чаще двух раз в неделю, терроризировал соседских кошек.

И вдруг произошло событие, которое не на шутку взволновало родительское сердце Василия Васильевича. Петька разбил витрину в молочном магазине. Завмаг задержал малолетнего хулигана, пригласил милиционера, и с Василия Васильевича потребовали семьдесят пять рублей за вставку нового стекла. Пока штрафы ограничивались трешницами, Василий Васильевич мог отделяться сопением и ремнем. Но семьдесят пять рублей — это уже ЧП. И отец решил серьезнее взяться за воспитание сына. В этот вечер Василий Васильевич не пошел к Минкиным на преферанс. Он остался дома вдвоем с Петькой. Сначала Василий Васильевич потянулся было к ремню, но... остановился. Он взглянул на задорный вихор сынишки и подумал: «А что, если поставить перевоспитание этого сорванца на какие-то

договорные начала? Заинтересовать его самого благородными поступками?»

Василию Васильевичу так понравилась эта идея, что он тут же обратился к сыну с такой речью:

— Ну, вот что, голубчик: мне надоело с тобой нянчиться. Хороших слов ты не понимаешь, поэтому я вынужден применить к тебе особые меры воздействия. Хочешь иметь карманные деньги, есть мороженое, покупать себе конфеты, семечки — будь хорошим. Сегодня я составляю прейскурант, и с завтрашнего дня ты начнешь жить по нему. За тройку я буду платить гривенник, за четверку — двугривенный, за пятерку — полтинник. Вычистишь утром зубы — с меня гривенник, не вычистишь — с тебя.

Василий Васильевич сдержал слово. К утру он составил подробный прейскурант цен, в котором была точно обозначена стоимость всех хороших и плохих поступков ученика третьего класса Петра Кузнецова.

Так началась новая жизнь Петьки. Нужно сказать, к чести Петьки, что сначала он воспринял договор с отцом как какую-то новую игру в пяточки. Ему было интересно следить за собой, запоминать все хорошее, что он сделал за день, а вечером писать отцу:

Отчет

Петра Кузнецова за 20 мая

Встал в семь	10 коп.
Умылся	5 коп.
Сказал после завтрака спасибо маме	15 коп.
Уступил в трамвае место инвалиду	20 коп.
Дал нищему 10 коп.	15 коп.
Получил четверку по русскому	20 коп.
Прочел 20 страниц Робинзона Крузо	10 коп.
<hr/>	
Итого получить:	95 коп.

Василий Васильевич в расчетах с сыном был скрупулезно точен. Каждый вечер после преферанса он просматривал отчет и, сделав две-три небольших поправки, отправлял его к Ольге Павловне для оплаты. А поправки эти были такого порядка: к пункту, где говорилось «Уступил в трамвае место инвалиду», Василий Васильевич делал приписку: «Указать свидетелей», — или «Оплату за Робинзона Крузо произвести по прочтении всей книги из расчета полкопейки страница».

Петька менялся на глазах: его хвалили в школе, домоуправша, встречаясь с Ольгой Павловной, восторженно восклицала:

— Золотой мальчик! Не сглазить бы только!

А «золотой мальчик» начал уже входить во вкус финансовых операций. Договор становился для него уже не итрой, а сделкой. Хорошие поступки подразделялись у него на выгодные и невыгодные. Дать нищему гривенник было выгодно, ибо за это можно было получить пятиалтынный. Уступить в трамвае место инвалиду следовало только в присутствии знакомых свидетелей, во всех остальных случаях место можно было не уступить, так как это не оплачивалось.

Ольга Павловна с опаской стала наблюдать за тем, как менялся характер ее сына. Как-то она послала его проведать бабушку. В тот же вечер Петя написал в отчете: «Был у бабушки — 30 коп. Купил для нее в аптеке камфару — 20 коп. Итого получить 50 коп.». Пете так понравилось торговать своими добродетелями, что он стал подумывать о более широких финансовых операциях. Как-то он приобрел несколько пачек папирос и распродал их поштучно. На этом деле ему удалось заработать двадцать копеек. Затем он стал перепродавать не только папиросы, но и театральные билеты, ученические тетради. В школу Петька уже ходил по привычке, для проформы, а настоящая жизнь у него началась после обеда, у дверей кино «Аврора». Здесь у Петьки объявились новые друзья, с которыми он завязал и новые договорные отношения.

И вот снова на горизонте появилась милиция, и снова Василию Васильевичу пришлось оторваться от преферанса. На этот раз дело оказалось куда сложнее. Петька обвинялся уже не в озорных поступках, а в перепродаже краденых папирос. Правда, крал не он сам, а его новые друзья, но факт остается фактом: спекулировал он. На сберкнижке Петра Кузнецова оказалось 50 рублей.

— Ваш сын утверждает, — сказал начальник отделения, — что все эти деньги он получил от вас по этому вот преysкуртанту.

Василий Васильевич густо покраснел.

— Да, я давал ему деньги, — тихо сказал он, —

но не так много. Моих здесь не больше двадцати рублей.

— Нехорошо! — сказал начальник. — Началось дело с копеек, а кончается уголовным кодексом.

— Неужели будете судить?

— Не его, он еще несовершеннолетний, а вас будем. И этот прејскурант приложим к делу.

Василий Васильевич шел домой молча. Рядом семенил Петька.

— Ты не бойся суда, папа, — обнадеживающе сказал Петька. — Больше тридцати рублей штрафа на тебя не наложат. А я эти деньги быстро заработаю. «Беломор» я от участкового все-таки упрятал.

И Петька самодовольно показал на ранец. Василий Васильевич от удивления даже остановился:

— Так они же краденые!

— Ну и что ж? — как ни в чем не бывало ответил Петька. — Продать-то этот товар все равно можно.

Василию Васильевичу было и тяжело и совестно. Рядом с ним стоял чужой ребенок. Холодный, циничный, с повадками заправского барышника.

Но дело было не в краденых папиросах. И даже не в пятачках и гривенниках. Зло состояло в том, что Василий Васильевич забыл о священном долге родителя и придумал все эти пятачки и гривенники только для того, чтобы снять с себя заботы отца и воспитателя.

1948 г.

Так сказал Костя

Пока маленький Миша постигал в школе азбуку, жизнь в доме шла нормально. Родители радовались каждой новой букве, выученной сыном, и незаметно прочли вместе с ним нараспев почти все страницы букваря.

— «Мы не ра-бы. Ра-бы не мы».

Первый год учения закончился благополучно, и мальчик, к радости родителей, был переведен с круглыми пятерками во второй класс. Здесь-то все и началось.

Произошло это не то в конце сентября, не то в начале октября. Школьный звонок только-только успел оповестить Мишеньку и его товарищей об окончании последнего урока, как в их класс решительным шагом вошли Алик и Костя. Алик постучал согнутым пальцем по столу и сказал:

— Ученическая общественность серьезно обеспокоена вашим поведением. Жизнь в нашей школе бьет ключом, а во втором «Б» подозрительная тишина. Ваш класс замкнулся в себе, отвык от самокритики...

— Как, разве во втором «Б» нет стенной печати? — удивленно спросил Костя.

— Ну в том-то и дело, — сокрушенно ответил Алик.

— Непонятно, — сказал Костя, обращаясь к ученикам второго «Б». — Как же вы общались до сих пор друг с другом без стенгазеты? Как доводили свое мнение до общественности?

Пристыженные ученики молчали.

— Да, прошляпили мы со вторым «Б», — сокрушенно сказал Алик, а Костя добавил:

— Положение, конечно, тяжелое, но я думаю, что нам удастся вытянуть этот класс из болота академизма.

Он был человеком действия, этот Костя, и для того, чтобы не оставлять второй «Б» ни одной минуты в вышеназванном болоте, он тут же в лоб задал малышам вопрос:

— Вы читать, писать умеете?

— Умеем, — не очень уверенно ответил второй «Б».

— Все! — сказал Костя. — Тогда давайте приступим к выборам редакционной коллегии.

Это предложение было встречено малышами с восторгом. В классе сразу поднялся невероятный шум. Через час, несмотря на интриги двух мальчиков с первой парты, ответственным редактором будущей газеты второклассники единодушно избрали Мишу.

У Миши была живая, увлекающаяся душа ребенка. Он находился в том святом, безмятежном возрасте, когда человек не может еще вгонять свои страсти в строгие рамки календарей и расписаний: «С 3 до 5 пригот. домашн. уроков, а с 5 до 7 выполнение обществ. поручений».

Став редактором, мальчик так сильно увлекся литературным творчеством, что на изучение таблицы умножения у него почти совсем не оставалось времени. Да и откуда было взять время, если всю газету Мише приходилось заполнять самому!

— Почему самому? — спрашивал Мишин папа. — Надо попросить мальчиков, чтобы они тоже писали.

— Мальчики не будут. Им неудобно.

— Почему?

— Они еще не знают грамматики.

— А ты сам-то знаешь?

— Так я же сам не пишу, — отвечал Миша. — Я диктую заметки бабушке, а она у нас грамотная.

В первые месяцы редакторства литературная деятельность сына страшно импонировала его маме.

— Вы знаете, — гордо говорила она сослуживцам, — вчера мой Мишка продиктовал бабушке прямо на машинку чудесную передовицу. Гладкую, со всякими рассуждениями, ну прямо как в большой газете.

Маме хотелось, чтобы Миша диктовал бабушке свои передовицы из головы, а он, прежде чем начать диктовку, всегда обкладывался целым ворохом газет. Мама как-то не выдержала и сказала:

— Когда редактор одной газеты списывает статью у редактора другой газеты, люди называют это литературным воровством...

— А вот и нет, — ответил Миша. — Если бы я списывал из одной газеты, ты была бы права. А я списываю из многих, и это уже не воровство, а сочинительство. Так сказал Костя.

Что же представлял собой этот всеильный Костя? Мальчик Костя был на несколько лет старше Миши. Он учился в шестом классе. В начале учебного года совет дружины прикрепил Костю ко второму классу «Б» для работы с малышами. Костя был первым вожатым, которого Миша видел на таком близком расстоянии от себя. А так как Костя был еще и лучшим горнистом отряда, то само собой разумеется, что не влюбиться в него было попросту нельзя. И второй «Б», конечно, влюбился. Дома и в школе только и было слышно: «Костя сказал», «Костя велел», «Костя придумал».

Фантазии у отрядного горниста было так много, что он каждый месяц потчевал мальчиков какой-нибудь новой затеей.

Стенгазета была лишь началом, а главные мечты и устремления Кости были связаны совсем с другим. Костя любил промаршировать впереди своих малышей в ярко освещенном клубном зале, подняться под звуки горна и барабана на сцену и белым стихом при поддержке детского хора поздравить собравшихся с наступающим праздником. А так как клубов в городе было много, то второй «Б» все больше и больше отрывался от таблицы умножения. Бедным мальчикам было не до нее. То они разучивали приветственное слово медицинским работникам, собирающимся в районной поликлинике на отчетный доклад месткома, то Костя заставлял их рисовать картинки в специальный альбом, который готовился для подношения намечающейся конференции управдомов.

— Ты не помнишь, как выглядела Венера Милосская? — неожиданно спрашивал Миша у отца, застыв с карандашом в руках над чистым листом альбома.

— А ты откуда знаешь про Венеру?

— Нам про нее Костя на кружке естествознания рассказывал.

— Естествознания? — удивлялся папа.

— Ну да. Как о полезном ископаемом. Костя говорил, что эту Венеру древние греки из земли добыли.

Трудно сказать, какое впечатление произвел бы на управдомов альбом с «древнегреческими ископаемыми», ежели бы таковой был преподнесен им. Но Венера Милосская так и осталась недорисованной. Слет управдомов был неожиданно отнесен райжилуправлением на следующий год, и Косте срочно пришлось искать второму классу «Б» новый объект для поздравлений.

Так у Мишеньки прошел год, другой. Из второго класса в третий мальчик перешел не на пятерки, а на четверки, а при переходе в следующий класс у него были уже не четверки, а тройки.

Бойких взлетов Костиной фантазии боялась вся квартира. Папа и мама с волнением ждали по вечерам Мишиного возвращения из школы. Они внимательно смот-

рели в глаза своему сыну, пытаюсь прочесть, что нового придумал сегодня, к их родительскому несчастью, этот неугомонный отрядный горнист.

— А у меня двойка по арифметике, — доложил вчера за ужином Миша.

— Дожили, — мрачно процедил папа. — Ну, что же теперь сказал твой Костя?

— Костя велел захватить завтра в школу иголку и нитки, — как ни в чем не бывало ответил Миша.

— Зачем?

— Мы будем вышивать шелком первую главу из книги «Сын полка» писателя Катаева.

— Я, кажется, начинаю сходить с ума, — сказала мама. — Но ведь двойка-то у тебя не по вышиванию, а по арифметике?

— Не знаю. Так сказал Костя.

— Ну, нет, — заявил папа, вскакивая с места. — Говорил твой Костя, да отговорился. Хватит!

Папа, схватив пальто и шапку, побежал в школу. В школьном коридоре Мишин папа столкнулся с Костиным папой.

— Вот где первоисточник зла, — сказал Мишин папа, готовясь к атаке.

Атаку, однако, пришлось отменить. У Костиного папы был такой убитый вид, что Мишин папа забыл о своих воинственных намерениях.

— Что с вами?

— Двойка.

— Как, и у вашего тоже?

— Тоже.

И тут Мишин папа понял, что они с Костиным папой совсем не враги, а товарищи по несчастью. А раз товарищи, то им и действовать надо сообща. Придя к такому заключению, папы взяли друг друга под руки и двинулись вперед по коридору. Они не успели сделать и трех шагов, как раскрылась одна из многочисленных школьных дверей и на ее пороге показался сам Костя. Отрядный горнист, увидев грозное шествие отцов, бросился назад, в пионерскую комнату, чтобы укрыться под защитой Алика.

Старший вожатый школы Алик Беклемишев, в отличие от Миши и Кости, был уже не мальчик, а вполне зре-

лый двадцатидвухлетний молодой человек. В этот вечер молодой человек сидел в пионерской комнате в окружении ученического актива и вместе с активом вышивал заглавный лист книги. Время было уже позднее, и маленький Зюзя, постоянный член трех каких-то высших комиссий, из второго класса «А», сладко зевнув, сказал:

— Я хочу домой.

— Зачем?

— Меня мама ждет.

— Ай-ай-ай, Зюзя, как нехорошо, — укоризненно сказал Алик, отрываясь от пальцев. — Вчера тебя ждала мама, позавчера. Смотри, засосет тебя семья.

Сзади раздалось многозначительное мужское покашливание.

— Так вот, значит, кто первоисточник зла, — сказал Мишин папа, сердито глядя на Алика.

Застигнутый врасплох за отправлением несвойственных зрелым мужам вышивальных функций, Алик Беклемишев смутился и, пряча в кулаке наперсток, сказал:

— Через две недели районная конференция комсомола, и мы хотели вышить ей в подарок вот это литературное произведение.

— Литературные произведения не надо вышивать, — сказал Костин папа. — Их, молодой человек, следует читать.

— Вы, что же, против внешкольной работы учащихся? — недоуменно спросил Алик.

— Я за пятерки, — твердо ответил Мишин папа, а Костин папа добавил:

— Мы не против внешкольной работы, мы против плохих внешкольных работников, которые мешают нашим детям учиться.

Тут Костин папа вытащил своего сына из-за спины вожатого и сказал:

— А ну, марш домой готовить уроки!

Папа сказал эту фразу строго, давая понять не только своему сыну, но и всем другим мальчикам, что принятое им решение окончательное и никакому обжалованию не подлежит.

1948 г.

Диамара

Чертеж был сделан безукоризненно. Точно, аккуратно. И тем не менее профессор не поставил Диамаре зачета. Он недоверчиво посмотрел на студентку и спросил:

— Вам кто помогал, папа?

— Ни-ни. Я сама, — ответила Диамара.

— Сами? Вы же не умели и не любили чертить.

— Это было раньше, а сейчас, профессор, я из-за вашего предмета даже с подругами перессорилась. Они приглашают меня в гости, на танцы, а я из дому ни шагу. Сажу целыми вечерами и черчу.

— Ой ли?

— Честное комсомольское. Вы такой добрый, что я решила не огорчать вас больше плохими отметками.

Профессор смутился, покраснел.

«Теперь все, — сказала про себя Диамара. — Раз старик клюнул на лесть, значит, мой чертеж проскочит».

Радость была преждевременной. Профессор оказался не так прост. Он покраснел, но не сдался и предложил Диамаре сделать второй чертеж.

— Когда?

— Сегодня.

— Разве мне успеть! Пока я доеду до дому да пока приеду обратно...

— Домой ездить не нужно. Вы будете чертить за моим столом.

— За вашим?

— Да, за моим столом и на моих глазах, — сказал профессор, давая этим понять, что он не верит больше ни самой студентке, ни ее домашним.

Два часа сидела Диамара рядом с профессором, выводя тушью на ватмане какие-то жалкие каракули. Разоблачение было полным. Второй чертеж получился таким плохим, что его неловко было даже положить на стол рядом с первым. Кто же вычертил первый? Папа?

Нет, Диамарин папа на сей раз был ни при чем. Три последних дня папа поздно приходил из министерства, и дочке пришлось заказать чертеж какому-то надомнику. И вот обман раскрылся. Теперь наступила очередь краснеть Диамаре. И она покраснела, но ненадолго. Через

час девушка уже не помнила о своем позорном провале и как ни в чем не бывало щебетала о каких-то пустяках со своими подругами.

А ведь это был не первый провал Диамары Севиной. Три года девушка училась в строительном институте имени В. В. Куйбышева. За эти три года она добралась всего-навсего до второго курса. Трудно подсчитать, сколько раз имя Диамары появлялось на доске неуспевающих.

— Вы что, не хотите учиться? — спрашивали ее в деканате.

— Нет, почему же? — отвечала она. — Хочу.

Диамара давала слово исправиться, а через час забывала о своем обещании и убегала с лекции в кино.

Беда девушки была в ее беспечности. И здесь следовало винить не ее одну. Люди приучаются к труду с детских лет, а Диамара прожила жизнь на готовеньком. Рядом с ней все и всегда работали: папа, мама, няня. Другие дети убирали за собой постель, мыли чайную посуду, пришивали к пальто оторванную пуговицу. Диамара была освобождена даже от этих несложных обязанностей.

— Она у нас такая бледненькая, такая худенькая, — оправдывалась мама.

Девочка была хоть и худенькой, но здоровой. Тем не менее она охотно пользовалась привилегиями, которые ей раздавались. Утром всегда залеживалась в постельке.

— Вставай, в школу опоздаешь, — говорила няня.

— Не опоздаю, — отвечала девочка, глубже втягивая голову под одеяло.

Да и зачем, собственно, было Диамаре спешить, если она твердо знала, что в самую последнюю минуту мама позвонит в министерство, вызовет папину машину, которая быстренько доставит Диамару к школьному подъезду.

Школьные годы остались позади. Диамара выросла, но осталась капризной, избалованной девочкой. Лекции у нее до сих пор подразделяются на «чудненькие» и «скучненькие». Первые она достаивает своим посещением (теперь Диамара вызывает папину машину сама, без маминого содействия), вторые пропускает. Она и за учебниками сидит так же. Те страницы, которые

даются легко, она проглатывает залпом, а те, на которых попадает что-либо непонятное, она ни за что не прочтет вторично.

Если бы ей разрешили, Диамара с удовольствием стала бы приглашать надомников не только для изготовления чертежей, но и для сдачи всех прочих зачетов. Но, увы, к зачетам готовиться надо было самой, поэтому на первой же экзаменационной сессии Диамара Севина провалилась по всем предметам.

Беда усугубилась тем, что папа вырастил дочку не только беспечным, но и безвольным человеком. Вместо того чтобы исправить плохие отметки, Диамара капризно фыркнула и сказала папе:

— Я не хочу учиться в строительном, я хочу поступить на курсы иностранных языков.

И так как дома никогда и ни в чем не отказывали Диамаре, то она сделала, как хотела. Она надеялась, что на курсах будет легче, что там не придется сидеть за учебниками. А там, оказывается, тоже было не так уж легко. Поэтому Диамара очень быстро разлюбила языки и бросила ходить на курсы.

Наступил новый учебный год, и снова в семье Севиных встал вопрос: что делать Диамаре?

— Я снова хочу поступить в строительный, — сказала она.

Родители переглянулись, и папа понял, что ему надо ехать в деканат. А там удивились:

— Позвольте, но ведь ваша дочка больше полугода не была в институте! Она что, болела?

— Да, — смущенно сказал папа. — Вы же знаете, она у нас такая бледненькая, такая худенькая.

Декан поморщился и тем не менее, в нарушение всех правил, снова принял Диамару Севину на первый курс. Принял, конечно, не ради нее, а ради ее папы, человека в строительном мире уважаемого и авторитетного.

Двадцать два года — возраст, когда человеку уже неловко прятать свои грехи за широкую папину спину. Папа может выручить из беды раз, два, но папа не может передать своей дочери на веки вечные уважение, которого она не заслужила и которое, кстати, не передается по наследству.

Папа легко и бесхлопотно помог дочери восстановиться в институте. И благодаря той легкости, которая всю жизнь сопровождала Диамару, она и на сей раз не сделала никаких полезных выводов.

В прошлом году перед самыми каникулами в строительном институте была сыграна веселая комсомольская свадьба. Диамара вышла замуж за студента четвертого курса гидротехнического факультета Бориса Берзина. Молодые люди любили друг друга, и брак, по всем данным, должен был быть счастливым. Но счастья не было в доме молодых, несмотря на то, что жили они в хорошей, уютной комнатке, которую папа устроил им, пользуясь своим высоким положением в министерстве. Молодой муж никак не мог привыкнуть к образу жизни своей супруги. Целыми днями Диамара ничего не делала. Не варила, не стирала, не подметала. Всем этим приходилось заниматься Борису. Он подметал и думал: «Еще день, ну, еще неделю, а там жене надоест бездельничать и она возьмет на себя часть забот по дому».

Но жена не спешила менять привычки.

— Ты бы хоть чулок заштопала себе, — говорил в сердцах молодой муж. — Пятка наружу.

Жена краснела, начинала искать иголку и, не найдя ее, снова укладывалась на тахту. Муж терпел месяц, два, полгода, а потом разозлился и уехал на каникулы из Москвы к своим родителям.

— Борис хотел припугнуть Диамару, — сказал нам комсорг факультета. — Или берись за ум, или прощай. И она, конечно, образумилась бы, — добавил он, — потому что кому же охота расставаться с любимым человеком? Да вот горе: вмешался папа.

Это и в самом деле было большим горем для молодоженов. Представьте, муж возвращается в Москву, а у него ни жены, ни квартиры. И. А. Севин так разгневался на зятя, что не только перевез к себе дочь, но и выписал зятя из домовой книги.

«Сейчас Диамара Севина, — пишут нам студенты строительного института, — снова живет у папы. Как и прежде, она не варит, не стирает, не убирает за собой постель. Мамушки и нянюшки штопают пятки на ее чулках и делают за нее зачетные чертежи. Кого собирается вырастить из своей дочери И. А. Севин? —

спрашивают студенты. — Неужели папа не понимает, что его дочь не может жить всю жизнь на всем готовом?»

И. А. Севин был у нас в редакции и читал письмо студентов. Это письмо сильно взволновало его. Так, собственно, и должно было быть, ибо сам товарищ Севин не был ни барчуком, ни белоручкой. Папа Диамары работает с пятнадцати лет. Так же, как и дочь, папа был в свое время и пионером и комсомольцем. Но этому пионеру не подавали легковой машины, когда он собирался на сбор отряда. Днем комсомолец Севин работал у станка, а вечером учился в институте. И прежде чем стать заместителем министра, И. А. Севин работал слесарем, бригадиром, сменным инженером, прорабом. Товарищ Севин вырос в труде и не мыслил жизнь своих детей вне труда. Ему хотелось, чтобы дочь его была достойным человеком нового, социалистического общества, и он даже назвал эту дочь Диамарой, что значило диалектический материализм.

Папа и мама думали о новом обществе, а дочь свою растили и воспитывали по старому образцу, так, как это было заведено когда-то в мелкопоместных дворянских семьях.

1950 г.

Б у р ь я н

У Ивана Исаева дети были людьми деловыми, поэтому они не стали медлить с разделом отцовского имущества. На следующий день после похорон дети с утра сели за стол и начали подсчитывать, кому что приходится. Те из наследников, которые жили подальше от родного села, взяли свою долю наличными, а ближним пришлось довольствоваться живностью. Когда раздел был закончен, наследники встали из-за стола и поклонились соседям:

— Прощайте, не поминайте нас лихом, а мы поехали по своим хатам, нам пора.

— Поехали одни? — удивились соседи. — А как же Домна Евсеевна?

Наследники переглянулись. В самом деле, как? В пылу дележки кур и поросят они забыли про родную мать. Первым пришел в себя старший из Исаевых, Николай.

— А разве наша мать не остается в колхозе? — спросил он.

— Да как же она останется? — сказали соседи. — Хату ее вы продали, хозяйство поделили. А потом Домна Евсеевна в таком возрасте, что ей одной жить будет трудно.

Старший Исаев тяжело вздохнул и с надеждой оглядел младших: не объявится ли среди них доброволец взять родную мать к себе в дом. Но добровольцы не объявлялись. Каждый из Исаевых сосредоточенно рассматривал землю под ногами. А мать, маленькая седенькая женщина, тихо сидела в углу у печи, ожидая решения своей судьбы. Мать ждала от детей радужного приглашения, а дети ни слова. Наконец старший сын не выдержал, сказал.

— Вы, мама, будете жить с Таисией. Она вам дочь, а дочери для матери всегда ближе, чем сыновья.

— Со мной? Ни за что! — крикнула с места Таисия. — Я при разделе получила всего-навсего телку. Пусть мать живет с Виктором: ему досталась корова. Но Виктор тоже закричал:

— Ни за что! Я младший в семье, пусть мне покажут пример старшие.

А старший брат тоже не захотел взять к себе мать. Старший спорил, ругался, но так как младших было больше, то он вынужден был подчиниться их решению.

Так Домна Евсеевна попала в дом к Николаю Исаеву. Полгода она жила в этом доме, ни разу не услышав доброго, ласкового слова. Домна Евсеевна делала все, что могла, по хозяйству, а старшему сыну все было не так. Больше того. Если к сыну приходили гости, то он не приглашал мать за общий стол, а отправлял ее куда-нибудь в закуток.

— Неудобно, — оправдывался он перед старухой. — Вы из деревни, еще не так скажете, осрамите перед людьми.

И вот как-то раз старший сын посадил мать в поезд и привез ее к младшему брату, Виктору.

— Жила мать у меня полгода, и хватит, — сказал он. — Пусть теперь поживет у тебя.

У младшего сына Домне Евсеевне было несколько не лучше, чем у старшего. Каждый день Домна Евсеевна слышала за своей спиной те же попреки, что и прежде. А тут еще и жена младшего сына стала доносить старуху:

— Почему вы живете у нас, разве у вас других детей нет?

— В самом деле, почему? — вслед за женой задал вопрос и младший сын.

И младший сын отправил письмо сестре.

«Поживет мама немного у тебя, — писал он, — потом поедет к Петру».

Виктор Исаев решил передавать мать из дома в дом, как эстафету.

«Детей у нее много, — рассуждал он, — пусть только не ленится, ездит».

Но дети Домны Евсеевны были себе на уме. Ни один из них не подал о себе вестей матери. Ни Таисия, ни Петр.

«Да кто же они в конце концов: люди или волки? — думала мать про детей своих. — Ни совести у них, ни жалости».

Домне Евсеевне было так горько от своих мыслей, что с тоски она даже занемогла. Ни пить ей, ни есть не хотелось. Болезнь матери была на руку младшему сыну. Он тут же посадил Домну Евсеевну в поезд — и в город. Приехал — и прямо в больницу.

Доктор выслушал старушку, осмотрел ее. Сердце у Домны Евсеевны работало с перебойями, да и глаза от возраста видели уж не так хорошо и часто слезились.

— Ну что ж, оставьте больную у нас, — сказал доктор. — Попробуем ей помочь.

И вот впервые за последние два года старушке легко и спокойно вздохнулось. Еще бы! Никто в больнице не попрекал ее, никому она здесь не была в тягость. Наоборот, врачи, сестры, няни, соседи по палате старались обласкать ее, ободрить. То ли от радушно-

го, хорошего отношения, то ли от лекарств больной день ото дня становилось лучше. И Домна Евсеевна стала ждать сына, чтобы уехать домой. Но сын, живший недалеко от Харькова, не приезжал. Тогда дирекция больницы послала Виктору Исаеву телеграмму, а Виктор — ноль внимания. Ему посылают вторую — и опять никакого ответа. И всем тогда стало ясно, что сын привез мать в больницу не для лечения, а только для того, чтобы отделаться от нее.

Но мать не хотела верить этому. Мать ждала. Сначала младшего сына, потом среднего, наконец, старшего. Она ждала дочь. Но никто из них не приходил, не приезжал. Так прошел месяц, второй, третий. В палате сменилась уже не одна партия больных. Ко всем этим больным приходили с визитами родные. Всем приносили письма, цветы, гостинцы, и только одна Домна Евсеевна жила в больнице, как отверженная. Снова тоска стала одолевать старушку, и она опять слегла в постель. Правда, и больные и врачи по-прежнему были к ней предупредительны и заботливы, но эта предупредительность уже не успокаивала.

«Почему ко мне добры эти отзывчивые, но чужие люди? — думала мать. — Разве я сирота? У меня же есть четверо детей, которых я вскормила, вырастила, вывела в люди».

Дети Домны Евсеевны оказались прохвостами. За все хорошее, что сделала им мать, они ответили ей черной неблагодарностью. Сыновья и дочь не только бросили старую, больную женщину на произвол судьбы, они скрывали от нее даже свои адреса, чтобы мать вдруг ненароком не приехала к ним из больницы.

«Один из сыновей Домны Евсеевны, Петр, живет, кажется, в Москве, — пишут нам больные из харьковской больницы. — Постарайтесь найти его, пристыдить. Заставьте вспомнить о родной матери».

И хотя данных о месте работы и жительства в полученном письме было мало, мы все же постарались разыскать этого сына и пригласить его в редакцию. И вот Петр Иванович Исаев сидит перед нами. Он невысок ростом, напыщен, самодоволен. Петр Иванович

еще не знает о письме, пришедшем из Харькова, и поэтому, не стесняясь, плетет небылицы о своем мягком, отзывчивом сердце. Послушать его, так добрее и лучше сына, чем он, еще и не было на свете. Я показываю этому «добряку» полученное редакцией письмо, и «лучший из сыновей» моментально линяет.

— Я не возьму мать к себе, — говорит он. — У Николая и Таисии квартирные условия лучше. Я комод бельевой, и тот с трудом втиснул между окон.

Для комода у «доброего» сына место в квартире все же нашлось, а для родной матери — нет.

И вот уже больше полугода Домна Евсеевна находится в больнице. Мать тоскует, мать ждет, когда кто-нибудь из детей приедет к ней. А дети не едут.

Кто же они, эти дети? Может быть, темные, некультурные люди? Да нет! У всех Исаевых есть аттестаты, дипломы. Что же касается старшего сына Домны Евсеевны, Николая Ивановича, то он является работником прокуратуры. Уж кто-кто, а этот работник должен как будто стоять на страже добра и честности. Брат Николая Ивановича, Петр Иванович, преподаватель одного из московских институтов и тоже должен как будто сеять в сердцах молодежи разумное, доброе, вечное. Но что доброго можно ждать от посевов братьев Исаевых, если в их собственных сердцах растет бурьян.

1953 г.

Синяя борода

Иннокентий Дмитриевич Сахно состоит в родственных отношениях чуть ли не со всем Советским Союзом. В Белгороде живет Александра Алексеевна Сахно, в Макеевке — Галина Павловна Сахно, в Щекине — Капитолина Ефимовна Сахно, в Богодухове — Прасковья Николаевна Сахно-Луценко, в Туле — Зинаида Андреевна Сахно-Акишина, в Москве — Капитолина Ивановна Сахно-Крутова.

— Ну вот, собственно, и все мои жены, — скромно говорит Иннокентий Дмитриевич.

— Как все, а Сахно-Сергеева?

— Помилуйте, — обижается Иннокентий Дмитриевич, — с Сергеевой я не прожил даже полгода, ну какая же она мне жена?

— А Сахно-Иванова?

— Иванова? Что-то запомнил я про такую. Может, вы напомните мне ее имя-отчество?..

У Иннокентия Дмитриевича Сахно плохая память не только на жен. Он не помнит и родных детей. Когда забывчивому отцу пытаются напомнить о родительском долге, он начинает считать по пальцам:

— Правильно, сын Эмир у меня от брака с Александрой Алексеевной, дочь Людмила от Прасковьи Николаевны. От брака с Галиной Павловной у меня еще одна дочь по имени... — и, порывшись в записной книжке, Иннокентий Дмитриевич добавляет: — по имени Светлана.

— Разве у вас только трое детей?

— Нет, четверо, — говорит отец и снова начинает листать записную книжку. Но имя четвертого ребенка, оказывается, не записано.

— Вы не беспокойтесь, — говорит Иннокентий Дмитриевич, — сейчас мы все уточним.

Быстро соединившись по телефону с бухгалтерией, он без тени смущения просит кого-то из счетных работников:

— Иван Иванович, голубчик, посмотри в исполнительный лист, как зовут девочку, на которую с меня взывается алименты Зинаида Андреевна Акишина? Спасибо. Эмма, — говорит он и, чтобы не забыть, тут же записывает имя дочери на бумажку. — Память что-то начала пошаливать, — виновато говорит Иннокентий Дмитриевич и добавляет: — Стройка. Объем работы большой, разве все упомнишь?

Иннокентий Дмитриевич зря сетовал на стройку. Дело было не в объеме строительных работ, а в образе жизни главного инженера строительного управления. А жил этот инженер наподобие турецкого паши. Помимо официальных жен, у него были полуофициальные и неофициальные. Официальных

Иннокентий Дмитриевич хотя бы помнил по имени-отчеству.

— Здесь у меня все в порядке, — говорит он. — Каждой я плачу по суду алименты.

Хуже было с неофициальными. С ними Иннокентий Дмитриевич поступал так. Понравится ему какая-нибудь из подчиненных сотрудниц, он ее приблизит. Наскучит — без сожаления отправит куда-нибудь в Богдухов.

— А какой же здесь грех? — удивленно вопрошает Иннокентий Дмитриевич. — Ведь я же с ними в загсе не регистрировался...

Сахно относился к женщинам с гусарской лихостью. Быстро увлекался и быстро расставался.

— Что делать? Не сошлись характерами.

Со своими детьми он поступал так же. Как его ребенок будет расти, воспитываться, Иннокентию Дмитриевичу было наплевать.

— На это есть мать, пусть заботится.

Товарищи много раз пытались образумить Сахно. Его вызывали в партийный комитет, предупреждали, но на Иннокентия Дмитриевича ничто не действовало. В конце прошлого года Сахно был даже привлечен к суду и получил за многоженство год принудительных работ. Чаша терпения переполнилась, и коммунисты решили поговорить о грязном поведении главного инженера на партийном собрании. Сахно понял, что на этот раз ему несдобровать, и бросился искать покровителей. Как ни странно, таковые нашлись. За главного инженера Щекинского стройуправления встала горой Полина Георгиевна Гудкова, управляющая «Тулжилстроя».

В день партийного собрания Полина Георгиевна командировала из Тулы в Щекино на выручку Сахно целую спасательную экспедицию во главе со своим заместителем. Но деньги на командировку были потрачены зря. Коммунисты-строители проявили твердость, и, несмотря на все старания спасательной экспедиции, Иннокентий Дмитриевич Сахно за скотское отношение к женщине, бытовую распущенность и пьянство был исключен из рядов Коммунистической партии.

— Они вмешиваются в частную жизнь коммуниста! — воскликнула Полина Георгиевна и бросилась с жалобой в обком.

Работникам Тульского обкома партии покритиковать бы Полину Георгиевну за обывательские рассуждения, разъяснить, что частная жизнь коммуниста должна прежде всего быть честной жизнью и что крупные хозяйственники никаких льгот в этом отношении перед другими членами партии не имеют. Но работники обкома рассудили по-другому.

— Строгий выговор с предупреждением! Пусть это будет вам последним сигналом, — сказали Иннокентию Дмитриевичу на заседании бюро обкома.

За шесть лет пребывания в партии Сахно имел уже три предупредительных сигнала. У него был выговор, строгий выговор и даже выговор с последним предупреждением. И вот теперь новое, последнее предупреждение. Ну как не поблагодарить за это членов бюро?

Полина Георгиевна Гудкова восприняла решение обкома как полную амнистию Иннокентию Дмитриевичу и сообразно с этим решила не снимать его с должности главного инженера.

— Мы хозяйственники. У нас на первом месте план, а как человек ведет себя дома, — нас это не касается.

Быт человека не отделяется каменной стеной от его производственной работы. Руководители «Тулжилстроя» считали Сахно хорошим инженером, а он уже давно перестал им быть. Щекинское строительное управление все последние годы не выполняет производственной программы, о которой так много говорит Гудкова. Это и не удивительно, так как главный инженер управления думает не столько о производстве, сколько о личных утехах.

— Мне очень трудно, — пожаловался фельетонисту, прощаясь, Иннокентий Дмитриевич Сахно и пояснил: — Пятьдесят процентов моей зарплаты взыскивается по исполнительным листам на алименты четырем детям, дополнительно к этому двадцать пять процентов удерживается по суду за многоженство. Жить буквально не на что. Еле-еле свожу концы с концами.

— Если не секрет, как?

— Трачу сбережения жены.

— Какой? Капитолины Ефимовны?

— Нет, с этой мы уже разошлись. Теперь я женат на Тамаре... — говорит Сахно и начинает быстро листать записную книжку.

Но фамилия девятой жены оказывается незаписанной.

— Я сейчас уточню, — говорит Иннокентий Дмитриевич и поднимает телефонную трубку.

На этот раз он звонит уже не в бухгалтерию, а в отдел кадров и спрашивает:

— Как фамилия нашей новой табельщицы? Нет, другой, молоденькой... Спасибо! Красова, — говорит он и, чтобы не забыть, записывает эту фамилию на бумажку.

1952 г.

Шалаш с мезонином

Жизнь свою Иордан Самсонович провел в переездах. Был он молод, жил в казармах, в палатках. Сделался старше, начал селиться в домах военных городков. Но настало время, когда Иордан Самсонович стал пенсионером и должен был освободить гарнизонную квартиру. И он освободил бы, выехал, да некуда.

— А вы постройтесь, — сказал отставному полковнику горвоенком.

— Мне строить собственный небоскреб? Да за кого вы меня принимаете?

Через час Иордан Самсонович, смеясь, рассказывал жене, Таисии Ивановне, о предложении горвоенкома.

— И ты отказался? — удивилась та. — Да знаешь ли ты, в каком чудесном месте нарезают участки? В кипарисовой роще.

— Да пусть хоть в райских кущах. Строиться — значит стать домовладельцем. И это мне — противнику частной собственности.

— Правильно, — сказала дочка Белла и наградила отца за стойкость звонким поцелуем. — Лучше жить в шалаше, — заявила Белла матери, — чем омещиваться, обзаводиться недвижимостью.

— Жалко, — сказала мать, — горсовет помог бы нам, дал бы ссуду.

— Ссуду?

Неплохой человек был Иордан Самсонович — скромный, хозяйственный, рассудительный. Но была у этого человека слабость к банковским и казначейским билетам. Конечно, не такая сильная, как у скупого рыцаря, но все же... Услышав от жены о денежной ссуде, Иордан Самсонович всю ночь беспокойно проворочался на кровати. А утром, чуть только забрезжил рассвет, наш пенсионер быстрым шагом устремился к кипарисовой роще. Местечко здесь и в самом деле оказалось чудесным. Сухумский горсовет не пожалел для застройщиков субтропического пейзажа. Он выделил им большой кусок зеленой возвышенности. С одной стороны этой возвышенности поднимается старинный замок Баграта. С другой — расстилается голубая гладь Черного моря. Иордан Самсонович оглядел всю эту прелесть, отмерил шагами участки, нарезаемые застройщикам, и у него защемило сердце.

«А что, если...»

Конечно, строить он, Иордан Самсонович, будет не небоскреб, а маленький домик. Нет, даже не домик, а шалашик. Так он и скажет дочке Белле. Четыре стены и крыша. Не больше.

— Правильно, — говорит жена.

— Собственный шалаш, — рассудила дочка, — это, конечно, тоже нехорошо, но ссориться из-за него с отцом не стоит.

Теперь уже папа целует дочку. Затем папа идет в горсовет и получает участок, ссуду. В кипарисовой роще появляется архитектор, и начинается выбор места для стройки. Тут на Иордана Самсоновича находит первое сомнение:

— Хорошо, пусть шалаш, но почему в одну комнату, а не в две?

— Ни в коем случае, — категорически заявляет дочка Белла.

— Милая, не будь формалисткой, — говорит дочке папа. — В конце концов, что такое две комнаты? Это та же одна, только перегороженная стеной.

Архитектор приступает к составлению проекта, а на будущего домовладельца находит новое сомнение.

— Почему мой шалаш должен быть из двух комнат, а не из трех?

Однако дочка Белла и слушать не хочет о трех комнатах:

— Это будет уже не шалаш, а самая настоящая частная собственность.

— Хорошо, — говорит папа. — Сегодня ты девушка, и тебя шалаш в одну комнату устраивает. А как нам быть завтра, когда ты выйдешь замуж?

— Я... замуж?

И дочка Белла перестает думать о проблемах частной собственности и начинает думать о замужестве. А папа, пользуясь временным замешательством дочери, заставляет архитектора пририсовать к трем комнатам шалаша четвертую, а затем дает ему задание воздвигнуть над шалашом еще и мезонинчик.

Беллиному папе, бывшему противнику частной собственности, неловко. Папа даже краснеет, но ненадолго.

— В конце концов частная собственность страшна не количественной стороной, а качественной, — говорит папа дочке. — Важно, не сколько у нас комнат, а как мы этими комнатами распорядимся. Вот если бы мы стали сдавать комнаты квартирантам, наживать на них, тогда ты была бы права.

Совесть дочки усыплена, и папа приступает к стройке по Дачному проезду, № 11. Стройка — дело нелегкое. Она требует материалов, а их не всегда достанешь. И Беллин папа перестает быть папой, которым когда-то гордилась Белла, и становится зауряд-снабженцем при своей собственной стройке. И чем выше поднимаются стены, тем меньше и меньше узнает своего папу Белла. Папа уже не ходит с Беллой в кино, в театр.

— Тратить два часа на фильм? Да что я, сумасшедший? — говорит папа. — Я лучше схожу поищу, достану алебастр.

Папа перестает читать книги, газеты, ходить на собрания: все думы, помыслы папы завязли там же, в ведре с раствором и в кульке с гвоздями. Жена спрашивает мужа:

— Ты слышал сегодня радио, что там говорили про спутник?

А муж не слышал радио, муж с утра сидел и подсчитывал, выгодно ему или невыгодно обменять две сотни кирпича на кубометр половой доски.

Дочка просит у папы двугривенный на эскимо. А папа говорит:

— Потерпи дочка. Нам сейчас такой расход не по карману. Мы строим дом.

Но вот злополучный дом наконец выстроен. И первой, кто приходит поздравить Иордана Самсоновича, оказывается Елизавета Кондратьевна Нестеркина. Елизавета Кондратьевна — личность с подмоченной репутацией. Она работает на процентах у сухумских домовладельцев, вербуя к ним на жительство курортников. Иордан Самсонович, как увидел Нестеркину, так сразу нахмурил брови:

— Это еще что за явление?

А «явление» кланяется, спрашивает:

— Жильцы вам не требуются?

Иордан Самсонович ударяет кулаком по столу:

— Как вы смели!

— Жильцы мои не даровые, — объясняет Нестеркина. — Они по тридцать рублей в месяц за угол платить будут.

И снова слабость к кредитным билетам подводит Иордана Самсоновича. Новоиспеченный домовладелец производит в уме несложное арифметическое действие и устанавливает, что в каждой его комнате имеется по четыре угла. «А что, если сдать курортникам не одну комнату, а две? — думал он. — Но почему две, а не три? А что, если сдать внаем весь дом, а самому с семьей переехать в предкухонную комнату?»

И вот Елизавета Кондратьевна Нестеркина перестает быть с этой минуты личностью с подмоченной репутацией и становится дорогим гостем Иордана Самсоновича. Он приглашает гостью за стол, наливает рюмку конь-

яку ей, рюмку себе, и договаривающиеся стороны приступают к заключению торговой сделки. Иордан Самсонович спорит о процентах, а сам нет-нет да вспоминает о дочке-комсомолке. Что он скажет ей?

И вот дочка-комсомолка возвращается после лекции домой, а здесь из каждого угла смотрят на нее квартиранты. У дочки навертываются на глаза слезы. Еще бы: уходила дочка утром в институт дочерью пенсионера, а возвратилась дочерью частного предпринимателя. Белла даже не знает, может ли она теперь состоять в комсомоле.

— Можешь, можешь, — успокаивает Беллу Иордан Самсонович и добавляет: — Вот если бы я держал квартирантов круглогодично, тогда другое дело. А я сдаю комнаты только летом, и не каким-то буржуям, а трудовым людям, курортникам, у которых в нашем городе ни родных, ни знакомых. А это уже не предпринимательство, а гостеприимство.

Так с этого дня и пошло. Все лето, а лето в Сухуми тянется большую часть года, дом по Дачному проезду № 11 выглядит шумным караван-сараем. И хотя квартиранты заселяют здесь уже и каждый угол и каждую щель, гостеприимство по-прежнему продолжает распира́ть Иордана Самсоновича. К бархатному сезону владелец караван-сарая решает открыть в своем доме столовую.

«А что, если в моей столовой не будет платного повара? — думает он. — Завтраки, обеды, ужины пусть готовит курортникам жена».

Правда, жена, Таисия Ивановна, человек немолодой, и ставить ее на целый день к горячей плите бессердечно. Однако борьба благородства с жадностью в душе мужа длится недолго. Штатная должность повара ликвидируется, и Иордан Самсонович записывает в приход семьдесят рублей, сэкономленных на зарплате.

Вслед за поваром ликвидируется и должность официантки.

— Сейчас лето, каникулы, — говорит Иордан Самсонович, — пусть столующихся обслуживает Белла.

Мать Беллы просит мужа пожалеть, не срамить дочь-студентку:

— Она невеста. А на курорт приезжают и озорные люди и распущенные. Иной норовит ущипнуть девушку. Иной заигрывает с ней.

Но Беллин папа теперь уже не поддается сантиментам. Он кричит жене:

— Довольно, хватит! — и записывает в приход тридцать рублей, сэкономленных на официантке.

Когда-то у Иордана Самсоновича была честь, гордость. Когда-то он думал о будущем своем, своей дочери. Ему хотелось быть лучше, добрее, хотелось отблагодарить свою страну за все, что она дала ему. Теперь о добрых делах Иордан Самсонович думает мало. Теперь он больше складывает, умножает, высчитывает проценты.

У Иордана Самсоновича в Дачном проезде много соседей. Это тоже застройщики. Не спекулянты, а трудовые люди: врачи, рабочие, педагоги, пенсионеры — гражданские и военные. Они тоже живут в собственных домах, построенных с помощью государственной ссуды. Но в том-то и разница — эти люди живут, а не наживаются. Этим людям совестно за соседа. С этим соседом уже не здороваются, его не приглашают в гости.

Прежде деньги были слабостью Иордана Самсоновича, теперь они стали целью его жизни. Этим летом Иордан Самсонович наживы ради решил распространиться даже с Нестеркиной:

— Зачем платить ей по пять рублей с каждого квартиранта, не лучше ли записывать и эти пятерки себе в доход?

Иордан Самсонович сам выходит теперь к приходу поездов на вокзал, сам вербует себе жильцов.

— Могу предложить угол в интеллигентном доме, с трехразовым питанием, — говорит он курортникам тихо, почти шепотом, так, чтобы не услышал фининспектор.

Дочка Белла плачет, просит:

— Папа, образумься, папа, стыдно!

А папа забыл слово «стыдно». Папа знает новое слово — «выгодно».

Пожалейте Марину

Весь день имя Георгия Константиновича Кублицкого не давало покоя работникам института. По поводу этого имени звонило изрядное число всяких ответственных работников министерства: завыв, замзавыв, начальники отделов. И все с одной просьбой:

— Не отправляйте Георгия Константиновича из Москвы. Он очень нужен нашему замминистра.

Наконец к вечеру залыхавшийся курьер принес в дирекцию института официальную бумагу от самого замминистра:

«Георгия Константиновича Кублицкого немедленно направить в наше распоряжение...»

Кто же такой Кублицкий? Может быть, Георгий Константинович прославленный академик, и замминистра ищет помощи и совета этого маститого ученого по вопросам производства? Да ничего подобного. У Кублицкого нет ни учености, ни маститости. Кублицкому всего двадцать один год, и товарищи по институту зовут его не Георгий Константинович, а много проще: одни Юрой, другие Жорой. Тогда, по-видимому, этот самый Юра-Жора учится в каком-нибудь железнодорожном институте, и замминистра попросту спешит закрепить будущего специалиста за своим министерством? В том-то и дело, что нет. Г. К. Кублицкий учится в Московском юридическом институте, а это учебное заведение, как известно, готовит не железнодорожников, а судебно-прокурорских работников. Как ни странно, а именно этот контингент работников с недавних пор вдруг позарез понадобился разным московским учреждениям и организациям, весьма далеким от дел уголовных и следственных.

Дирекцию юридического института донимают звонками работники многих министерств. Будущих следователей и прокуроров стали с легкой руки разных заводов и замзавов переквалифицировать не только в железнодорожников, но и в корректоров, живописцев, спортсменов. Директор «Углетехиздата» требует командировать к ним студента Крючкова, директор Московской скульптурно-художественной фабрики № 2 — студентку Круг-

лову, председатель московского городского совета общества «Спартак» — студента Зарухина.

Почему будущие прокуроры должны становиться корректорами и футболистами?

На этот вопрос отвечает письмо, случайно попавшее в руки студентов и пересланное к нам в редакцию. Вот оно в его подлинном виде:

«Дорогой Петр Григорьевич (он же дядя Петя)! Пишет тебе «Планетарий» (он же дядя Костя). Поздравляю с наступающим праздником 1 Мая и желаю здоровья тебе и глубокоуважаемой твоей супруге Марии Васильевне... Как всегда бывает в таких случаях, я обращаюсь с великой просьбой: дочь моя Марина завершила все экзамены последнего курса Московского юридического института. Марине 23 года. Она на хорошем счету в институте. Комсомолка. Общественница. Хорошо поет! (Где-то сядет?) Это меня и беспокоит. Вот-вот должно быть распределение, и ее любезно обещают за то, что она получала стипендию, послать куда-нибудь подальше... ну, например, на Алтай и проч. Иными словами, ее хотя бы «доконать» в деканате. Прошу тебя изобрести что-нибудь такое, что послужило бы ей спасением, то есть придумай способ посылки запроса в адрес директора Московского юридического института, ориентируясь на оставление ее в Москве или Ленинграде».

Не надеясь на прозу, дядя Костя решил воздействовать на чувства дяди Пети стихами собственного сочинения:

Я знаю, Петя, с давних пор
Ты очень важный прокурор...
Тебя с супругой я люблю,
Целую крепко и молю:

Не наноси удар мне в спину
И пожалей мою Марину!
Ты перед ней, о прокурор,
Зажги московский семафор.

Твой до гроба. Дядя Костя.

Расшифруем псевдонимы. «Дядя Костя» — это кандидат физико-математических наук К. Н. Шерстюк, а «дядя Петя» — работник прокуратуры Петр Григорьевич Петров.

Нужно отдать справедливость прокурору Петрову: он устоял перед стихами кандидата физико-математических наук и не послал запроса директору института. А вот другие, к их стыду, не устояли. Комиссия по распределению молодых специалистов юридического института решила направить Калерию Симанчук следователем в Марийскую АССР. А родители Симанчук — ни в какую!

«Зачем нашей дочери уезжать из Москвы, — подумали они, — если у нас есть именитые знакомые?»

И вот на свет появилось еще одно послание:

Я знаю, Муркин, с давних пор
Ты важный генерал-майор...

Важный генерал-майор Муркин клюнул на лесть. Он послал директору института запрос с просьбой оставить К. Симанчук в Москве в распоряжении управления, в котором А. Муркин занимает видный пост.

В прошлом году, так же, как и в этом, Московский юридический институт направил в московские учреждения по запросам их руководителей десятки своих воспитанников. Только в отделы и ведомства двух министерств было откомандировано пятнадцать человек. Я решил проверить, что же делают будущие прокуроры на чужой и неинтересной для них канцелярской работе. И что же? Из пятнадцати выпускников только один оказался на месте, а остальные даже не появлялись в министерствах.

Что же делали они весь этот год? Ничего. Каждый пробавлялся чем мог. Этим выпускникам важно было не кем работать, а где работать. Дяди помогли им остаться в Москве. И вот они служили. Кто переписчиком, кто заведовал баней, а кто и вовсе ничего не делал, живя с дипломом на иждивении родителей.

В этом году все повторяется сначала. Не успела комиссия по распределению молодых специалистов приступить к работе, как со всех сторон посыпались запросы.

Я спросил директора швейной фабрики Рахимова:

— Разве юрист Силаев умеет шить или кроить?

— Нет, шить он не умеет.

— А зачем швейная фабрика послала на него запрос?

Рахимов развел руками и честно сознался:

— Мать Силаева попросила у меня протекции, а я не смог ей отказать.

Протекция... Мы, по совести, успели даже и забыть о таком слове, а вот кое-кому это слово потрафило, и они решили воскресить его.

Тебя с супругой я люблю,
Целую крепко и молно:
Не наноси удар мне в спину
И пожалей мою Марину...

1954 г.

Рядом с нами

У мальчика был сильный характер. Он жил, пытается не вспоминать про обиду, которая была нанесена ему много лет назад. За последние два года Вова сделал даже большие успехи в учебе. Он оканчивал ремесленное училище и параллельно сдавал в вечерней школе экзамены за седьмой класс. Все как будто было хорошо, и директору училища стало даже казаться, что рана в сердце мальчика окончательно зажила и зарубцевалась.

Но рана не зажила. Мальчик скрывал свою боль как мог, и, если бы не болезнь, мы, по всей видимости, так никогда и не узнали бы эту печальную историю.

А болезнь прогрессировала. Каждый день к вечеру температура у Вовы поднималась. Его ломило, лихорадило, и когда жена директора, приютившая у себя в доме мальчика, приходила в комнату, чтобы пожелать ему перед сном спокойной ночи, лоб Вовы и его грудь были обыкновенно мокрыми от пота. Добрая женщина меняла мальчику рубашку и сидела у его постели до тех пор, пока он не засыпал.

Мальчику были приятны любовь и внимание, которые проявляла к нему эта женщина. Он ценил ее забот-

ливость, ежевечерне ждал ее прихода, и тем не менее где-то в душе у него зрела горькая обида.

«Почему обо мне печалится, — думал он, — почему рядом со мной по ночам сидит не родная мать, а вот этот добрый, милый, но все же чужой человек?»

И вот в одну из таких беспокойных ночей, когда в доме все уже спали, Вова встал с кровати, сел за стол и написал нам небольшое письмо.

«Дорогая редакция! К вам обращается с просьбой ученик житомирского ремесленного училища № 3. Помогите мне найти мою маму Тамару Михайловну Никитину и моего папу Якова Александровича Фертмана. Они бросили меня много лет назад, и с тех пор я жил только в детских домах и общежитиях. Дорогие товарищи, если бы вы только знали, как тяжело жить сиротой и знать, что у тебя есть живые и здоровые родители, которые не проявляют к тебе ни ласки, ни внимания.

Я прошу вас, если возможно, найдите мою маму и моего папу, они живут где-то в Москве, рядом с вами, и скажите, что у них есть сын, незаметно для них выросший, что он сейчас заболел туберкулезом и что ему тяжело оттого, что он не знает, как выглядит его отец и какой цвет волос у его матери.

Вова Фертман».

Рядом с нами! Но где именно? Вова дал слишком мало данных для того, чтобы в большом столичном городе отыскать его родителей, и тем не менее мы взялись за поиски.

— Не может быть, — говорили мы, — чтобы родители не испытывали такой же тоски по своему ребенку, какую испытывал ребенок по родителям.

Был грех в молодости. Тогда и отец и мать поступили подло, подбросив родного сына в чужой дом. Так неужто до сих пор их не гложет раскаяние, не мучит совесть? А может, они ищут сейчас и не могут найти своего ребенка?

Мы пошли в адресный стол, навели справки в милиции, и нам помогли найти Вовиноного папу. Яков Александрович работал в конторе автогрузового транспорта. Это был человек занятой. Так, между дел, он выкроил десять минут для того, чтобы поговорить с нами о своем сыне.

— Вы сообщили мне по телефону про письмо, — сказал он. — Мог бы я познакомиться с его содержанием?

— Пожалуйста!

Яков Александрович прочел письмо, смутился и, непроизвольно погладив карман пиджака, спросил:

— Сколько?

— Что сколько?

— Сколько стоит путевка в туберкулезный санаторий?

Отец не видел сына четырнадцать лет и не спросил, как он выглядит, как живет, учится, как протекает его болезнь. У отца нашелся только один вопрос: «Сколько?» Отец хотел откупиться путевкой, чтобы иметь право не вспоминать о сыне еще четырнадцать лет...

— Дело не только в путевке. Мальчик очень болен и хочет увидаться с вами.

— Он где, в Житомире? Нет, у меня не будет времени, чтобы поехать туда.

— Может, у вашей жены найдется время навестить сына?

— Вы хотите сказать, у моей бывшей жены? Не знаю. Мы с ней не встречаемся.

— А вы не знаете, где она живет?

— Как же, знаю.

Яков Александрович назвал адрес, иронически улыбнулся и добавил:

— Ваш визит вряд ли доставит Тамаре Михайловне большую радость. Эта женщина никогда не думала о сыне. Жила только для себя и в свое удовольствие.

И, уже прощаясь с нами, Яков Александрович неожиданно сказал:

— А путевку в санаторий для Вовы, по-моему, удобнее всего было бы приобрести Министерству трудовых резервов. Их ученик заболел, пусть они и заботятся о лечении.

— У этого ученика есть отец.

— Отец! А разве мать здесь ни при чем? Кстати, раз вы уж встретитесь с Тамарой Михайловной, то передайте ей, что я согласен приобрести путевку на полковинных началах. Пятьдесят процентов платит она, а пятьдесят — я.

Было неловко слушать этого крупно скроенного хо-

рошо обеспеченного человека. Впервые за четырнадцать лет он должен был истратить на сына несколько десятков рублей, и вместо того, чтобы сделать это с достоинством, он начал торговаться у постели больного ребенка, как на рынке. Яков Александрович, по-видимому, понял, что переборщил, и решил исправиться:

— Вы ничего не передавайте Тамаре Михайловне о путевке. Я сам позвоню ей и договорюсь о процентах. Муж у нее сейчас с деньгами, пусть и он раскошелится.

Я не видел нового мужа Тамары Михайловны, но то, что я слышал о нем, характеризует его так же скверно, как и его супругу. Владимир Михайлович Никитин уже давно наложил на всех близких строгое-престрогое табу:

— В моем доме запрещается произносить имя Вовки.

И мать Вовы с легким сердцем подчинилась этому запрещению. Она не вспоминала сына, не писала ему писем. Даже больше. Несколько лет назад совсем еще маленький Вовка совершил тяжелое, многодневное путешествие на крышах товарных вагонов, чтобы увидеть свою маму. Он разыскал ее в Москве, но Тамара Михайловна отказалась тогда принять сына и отправила его назад в детдом.

Вот и теперь, встретившись с нами, Тамара Михайловна торопится поскорей закончить неприятный для нее разговор.

— Мы уже договорились с Яковом Александровичем обо всем по телефону, — говорит она. — Путевка в туберкулезный санаторий Вовке будет куплена, так и напишите ему.

— А разве вам не хочется навестить больного сына?

Тамара Михайловна прямо смотрит мне в глаза и спокойно отвечает:

— Нет! Вова еще молод. Он поправится. У него впереди своя жизнь, а у меня своя. Зачем же ее портить? А насчет путевки не беспокойтесь. Завтра она будет у вас в редакции.

Но завтра путевки в редакции не было. Не было ее и послезавтра. Трижды мы были в доме Никитиных, чтобы напомнить Вовиной маме об ее обещании, но, оказывается, зря.

— Тамары Михайловны не будет в городе до осени, — сказал нам дворник. — Она отдыхает на даче.

И опять случилось так, как это случалось в жизни Вовы в течение последних четырнадцати лет. При живых, здоровых и хорошо обеспеченных родителях о судьбе мальчика вновь пришлось беспокоиться Советскому государству. И вот на днях мы получили еще одно письмо от Вовы. Мальчик благодарит Министерство трудовых резервов за путевку в санаторий и снова спрашивает о своем:

«Вы, наверное, были дома у моего папы, — пишет он. — Скажите, как он выглядит? Говорят, я очень похож на него».

Ну что ж, ответим на этот вопрос прямо:

— Дорогой Вова! Твой отец, к большому нашему сожалению, выглядит весьма отвратительно. Он недостойн твоей любви и твоих страданий. Расти, милый мальчик, поправляйся, здоровей и старайся не быть похожим ни на своего отца, ни на свою мать.

1948 г.

В комнате напротив

В жизни Анюты сегодня большой день. Девочке исполнилось шесть лет. В связи с таким событием мама привезла Анюту домой, вплела ей в косички два голубых банта и села с Анютой играть в «дочки-матери». Анюта очень любит играть с мамой, но такое счастье выпадает девочке не часто. Домой Анюта приезжает редко, только в гости, а весь год она живет у своих бабушек: с сентября по апрель у Жозефины Кузьминичны, на Арбате, а с апреля по сентябрь где-то под Серпуховом, у Прасковьи Петровны. Анюта так и говорит:

— У меня две бабушки: одна зимняя, другая летняя.

Я люблю эту бойкую, сообразительную девочку, и хотя видимся мы с ней не часто, встречаемся всякий раз, как добрые приятели. Вот и сегодня, пока ее ма-

ма разговаривала по телефону, Анюта пересекла коридор и постучала в мою дверь.

— Можно?

— Пожалуйста.

Анюта вошла, роскошная и важная в своем новом платье, и устремилась прямо к окну.

— С днем рождения, Анюта, — говорю я, чтобы обратить на себя внимание гостьи. — А ну, говори, что тебе подарить: куклу или книжку?

— И краски тоже, — не теряясь, отвечает Анюта и забирается на подоконник, где лежит коробка с акварелью.

Я достаю чистый лист бумаги, и Анюта прямо с разгону делает кистью несколько смелых, широких мазков. Не проходит и пяти минут, как на белом листе ватмана вырастает желто-зеленый город, на кривых улицах которого начинают двигаться большеголовые, тонконогие уродцы. И вдруг рука Анюты останавливается, она смотрит на меня и совсем неожиданно спрашивает:

— А на берлинском небе что светится: звездочки или свастики?

— В небе светят только звезды.

Анюта удивлена.

— А как же в ихней зоне? — недоумевает она.

В комнату входит Анютина мама, Наталья Сергеевна.

— Ты почему не выпила свое молоко? — спрашивает мама.

— Я не хочу. Оно снятое.

— Что?

— Я знаю. Мы с бабушкой сами всегда снимаем пенку.

— С какой бабушкой?

— С летней. Пенку снимем, а молочко возьмем и продадим. Только ты никому не говори про это, — заговорщически шепчет Анюта, — а то у нас дачники молоко покупать не станут.

Наталья Сергеевна слушает дочь растерянно.

— Как, бабушка таскает тебя на рынок?

— Таскает, — говорит Анюта. — И на николин день таскала и на варварин.

— Это еще что за день?

— Мученицы Варвары, — объясняет нам покровительственным тоном Анюта.

В дверях вырастает фигура отца Анюты, Олега Константиновича. Папа слушает дочь, улыбаясь.

— Это та самая злая Варвара, — говорит он, — которая обижала доктора Айболита. Лесные жители взяли и стали называть ее за это Варварой-мучительницей.

— Вот и нет, — отвечает Анюта. — Это другая Варвара: не мучительница, а мученица. Нам про нее отец Николай в божьем храме рассказывал.

Папа с мамой переглянулись.

— Ты что, и в храм ходила? — робко спросила мама.

— Ходила! — гордо ответила Анюта. — Мы с бабушкой и святым мощам поклонялись.

Папа перестал улыбаться и сказал:

— Все это глупости, дочка, и я прошу тебя не болтать того, чего ты не знаешь.

— А вот и знаю! — обиделась Анюта. — Мощи — это такой бог, только он не нарисованный, а высушенный.

Папа хотел что-то сказать дочери и не сказал.

— Эх... — пробормотал он и вышел из комнаты.

Наталья Сергеевна восприняла это как упрек по своему адресу и моментально вскипела:

— Ты не убегай, а скажи о ней! Это она губит нашу дочь! — прокричала Наталья Сергеевна и выскочила в коридор вслед за мужем.

«Она» — это мать Олега Константиновича. Наталья Сергеевна относилась к «летней» бабушке Анюты неприязненно и говорила о Прасковье Петровне только в третьем лице. Между тем невестка многим была обязана своей свекрови. Вот уже который год подряд инженер Чумичев по поручению своей жены отвозил Анюту в деревню и оставлял ее там на полное попечение бабушки. Бабушка терпеливо возилась с внучкой с весны по осень: кормила ее, стирала ей платица, рассказывала на ночь сказки. Бабка, конечно, зря ввела внучку во все секреты своих торговых операций, но и в этом винить следовало не ее одну. Старуха нуждалась в помощи. А как помогал ей Олег Константинович Чумичев? Он приезжал с дочкой в деревню, оставлял матери десятку и говорил:

— Продержитесь с Анютой как-нибудь месяц, а там я вам еще что-нибудь пришлю.

Месяц проходил, «что-нибудь» не присылалось, и бабке приходилось добывать деньги так, как она была приучена к тому с давно прошедших времен, то есть поить дачников снятым молоком.

С того же самого давно прошедшего времени у бабки сохранился и второй порок: старуха верила и в мощи, и в мучениц, и в домовых, и в леших.

Выход был как будто бы простой: не возить больше Анюту к Прасковье Петровне. Наталья Сергеевна так, по-видимому, и решила.

— Довольно, хватит! — кричала она мужу. — Мы должны, наконец, создать ребенку нормальную обстановку для воспитания!

— Это где же ты нашла нормального воспитателя? — иронически спрашивал в ответ Олег Константинович. — Не на Арбате ли?

На Арбате жила Жозефина Кузьминична. И хотя «зимняя» бабушка была так же добра и внимательна к Анюте, как и «летняя», и заботливо возилась с внучкой с осени по весну, зять не питал к ней никаких теплых чувств и считал ее вздорной, никчемной старухой.

Жозефина Кузьминична была не так стара, как старомодна. Ее комната была заставлена тьмой-тьмущей всяких ненужных вещей: вазочек, козеток, жардиньерок, статуэток. Но не гипсовые пастухи и пастушки определили отношение Олега Константиновича к теще. Беда была в том, что хозяйка дома когда-то училась в закрытом женском пансионе и с той поры считала французскую школу воспитания наилучшей. Жозефина Кузьминична давала на дому уроки музыки, и каждой приходящей к ней девочке она внушала одну мысль:

— Старайся быть милой, так как истинное призвание женщины в женственности.

«Зимняя» бабушка учила девочек не столько игре на фортепьяно, сколько реверансам. Больше всех доставалось Анюте. С сентября по апрель, подчиняясь бабушкиным причудам, она должна была носить не косички, а локоны и говорить не «доброе утро», а «бонжур». Зимой, когда Чумичевы привозили свою дочь на день

или на два домой, ко мне в комнату стучалась не простая, милая девчушка, какой я привык видеть Анюту, а маленькое жеманное существо, которое, строя глазки, просило у меня разрешения порисовать акварельными красками.

Это жеманство больше всего и бесило папу. В зимние месяцы уже не Наталья Сергеевна, а ее супруг имел обыкновение кричать на всю квартиру:

— Довольно, хватит! Мы должны наконец создать ребенку нормальную обстановку для воспитания.

Нормальную обстановку можно было создать без всякого крика; для этого родителям следовало только меньше злоупотреблять гостеприимством бабушек и больше заниматься дочерью самим. Но в том-то и завыва, что ни папе, ни маме не хотелось посвящать свой досуг Анюте.

— Нет, нет, я не могу. После работы у меня спорт, — говорил папа, хотя всем было хорошо известно, что под громким словом «спорт» Олег Константинович понимает две «сидячие» игры: футбол и хоккей, в которых папа Анюты принимал участие только в качестве непременно го зрителя.

Наталья Сергеевна в отличие от мужа увлекалась не спортом, а пением. Из-за этого увлечения она бросила работу чертежницы и все последние годы провела в различных вокальных школах и кружках. Учеба, по-видимому, не шла ей впрок, тем не менее Анютина мама не теряла надежды.

— Я тоже не могу остаться дома с Анютой, — говорила мама, — сегодня вечером у меня спевка.

— Но что же делать? — сокрушенно спрашивал папа.

— Не знаю, придумай сам, — говорила мама.

— Хорошо, — говорил папа, — давай тогда воспитывать дочь через день. В четные числа — ты, в нечетные — я.

— Согласна.

Родители жали друг другу руки, и договор на воспитание вступал в силу. Папа шел на кухню греть Анюте кашу, а мама отправлялась в клуб на спевку. Целую неделю Анюта чувствовала себя самым счастливым ре-

бенком на свете. Да и не счастье ли это — жить в своем доме и играть, когда тебе хочется, в «дочки-матери» с папой и с мамой?

Но вот наступал такой воскресный день, который, как назло, приходился на четное число. В связи с этим Наталье Сергеевне все утро приходилось быть весьма предупредительной по отношению к супругу. И уже по одной этой предупредительности вся квартира чувствовала приближение грозы. Гроза обыкновенно раздражалась у моих соседей за обеденным столом, между первым и вторым блюдами.

— Олег, — говорила бархатным голосом Наталья Сергеевна, накладывая на тарелку мужу лишнюю ложку гарнира. — Ты не смог бы сегодня вечером остаться вместо меня с Анютой?

— Случилось что-нибудь серьезное?

— Да, очень. Сегодня наш хор должен выступать вместе с кружком чечеточников в клубе текстильщиков.

— Пусть чечеточники попляшут хоть один раз без тебя.

— Это невозможно, я запеваю в двух хороводах.

— А петь хорошей матери следует не каждый день недели, а только по нечетным числам.

— Значит, нет? — угрожающе спрашивала мама.

— Нет, — отвечал папа и, сняв с вешалки кепку, уходил из дому.

Вот и сегодня, в день рождения Анюты, разговор о воспитании дочки закончился в комнате напротив так же, как он заканчивался и прежде. Родители поспорили, поругались, но так как сегодняшнее воскресенье пришлось не на четное, а на нечетное число, то последнее слово осталось за мамой. Она сказала «нет», надела шляпку и ушла в клуб, крепко стукнув дверь. Анюта сидела в это время на кухне и печально смотрела в окно. Бедная девочка хорошо знала, что последует за тяжелым стуком парадного. Папа взволнованно пройдет несколько раз по комнате, затем посмотрит на часы, и так как до начала футбольного матча останется не так много времени, то он начнет поторапливать Анюту со сборами, чтобы успеть до футбола забросить ее к бабушке. По-видимому, в этот раз до футбольного матча осталось совсем мало времени, так как папа даже не прошел-

ся по комнате. Он выскочил на кухню тотчас же вслед за уходом мамы и сказал Аняте:

— Давай, доченька, торопись! Времени у нас с тобой в обрез.

Но время здесь было ни при чем. И Анятиному папе и Анятиной маме не хватало другого — обыкновенного родительского сердца. Именно поэтому они не занимались воспитанием своей дочери, легкомысленно подбрасывая ее к бабушкам «летней» или «зимней».

1948 г.

Живучее полено

«Не ходите, где не положено. Берегитесь поезда!»

Правильное предупреждение. Ходить следует только там, где положено. Таким положенным местом для перехода пассажиров с одной стороны железнодорожной платформы на другую с давних пор служат переходные мостки. Заботливые начальники станций знают про это и строят переходы там, где их нет. А на подмосковной станции Клязьма вместо мостков поставили на платформе громкоговоритель, который за минуту до подхода каждого поезда к станции делает предупреждение:

«Осторожно, берегитесь поезда!»

Если б эти предупреждения делались вполголоса, то жители рабочего поселка, может быть, и не возражали бы против нововведения. Но клязьминский громкоговоритель не мог говорить вполголоса. Он умел только греметь и орать. По просьбе читателей нашей газеты я специально съездил на Клязьму, чтобы проверить, как далеко разносится предупреждающий глас железной дороги. Был в поликлинике (полтора километра от станции), школе (два километра), на территории санатория (два с половиной километра), и всюду по моим ушам стегали громоподобные призывы.

Подсчитано: каждый житель пригородного поселка пользуется услугами электрички в среднем два раза в

день. Для поездок на работу и с работы. А слушать предупреждающий глас начальника станции жителям приходится сейчас 202 раза.

— Почему 202? — поправляет меня зам. начальника пассажирской службы отделения Цапин. — Станция Клязьма пропускает ежесуточно 250 пар поездов в ту и другую сторону, и станция обязана перед каждым поездом делать гражданам громкоговорящее оповещение.

Есть люди, которых нервирует даже тиканье настенных часов и будильников. Тик-так, тик-так, а тут вместо каждого тика и каждого така методичное завывание металлического голоса — пятьсот завываний в сутки.

«Осторожно, берегитесь поезда!»

Такие предупреждения делаются в Клязьме не только днем, но и ночью. Гражданин К. не мог уснуть одну ночь, вторую, третью, а на четвертую схватил кусачки, помчался на станцию и перерезал провод, соединяющий громкоговоритель с входной стрелкой. Над поселком воцарилась долгожданная тишина. Однако отдыхали жители Клязьмы недолго. Через час монтеры сростили провод, и на головы несчастных тяжелыми камнями вновь посыпались слова предупреждения.

Я спросил руководящих работников пассажирской службы, зачем они подвергают больных и здоровых людей шумовому террору, и руководящие работники ответили:

— Были случаи, когда на пригородных станциях люди попадали под колеса проходящего транспорта. И мы решили ввести громкоговорящие оповестительные установки. Кроме того, мы на днях отдаем приказ, чтобы машинисты поездов, проходящих мимо станций, давали протяжные гудки самого высокого и громкого тона. Мы старались, — закончил свои объяснения главный инженер пассажирской службы, — для пользы и блага народа, а народ вместо того, чтоб сказать «спасибо», на нас же и жалуется.

Случаи, когда люди попадали под колеса проходящего транспорта, были и в Москве. Москвичи нашли другие, более гуманные способы предупреждения. Установили на перекрестках светофоры, вывесили плакаты. Представьте, что получилось бы, если бы эти плакаты

стали озвучивать по примеру Клязьмы и в Москве и громкоговорители во всю мощь своих луженых глоток с периодичностью «тик-така» предупреждали бы нас: «Граждане, берегите свою жизнь!», «Граждане, соблюдайте рядность!»

В связи с нововведением на железной дороге я вспомнил управделами Мешочкина, который в далекие от нас годы в одном далеком комсомольском райкоме пытался рационализировать привычный ход ведения комсомольских собраний и конференций. Мешочкин предлагал установить над трибуной самопрокидывающееся полено. В случае нарушения регламента председателю не нужно было смотреть на часы, звонить в колокольчик. Полено само бы падало на голову нарушителя, очищая место на трибуне следующему оратору. И вот на том же принципе самопрокидывающегося полена железнодорожники сконструировали сейчас свою «Громкоговорящую оповестительную установку».

Еще два примера, более близких нам по времени. Издревле существовала хорошая детская игрушка «гуси-лебеди». Сейчас эта игрушка продается в двух видах и под другим косноязычным названием «Гусь озвученный» и «Гусь неозвученный». Точно так же и всемирно известная матрешка именуется сейчас Матреной и продается в двух видах, как «Матрена семиместная» и «Матрена восьмиместная».

Спрашиваю продавщицу:

— Кто переименовал игрушки?

— Фабрика.

— Зачем?

— Для удобства потребителей, по их просьбе.

В издательстве идет обсуждение новой книги. И ни один критик не говорит от своего имени. Все оперируют более громкими категориями.

— Народ эту книгу не примет, — заявляет один.

— Народ эту книгу примет, — отвечает ему другой.

А народ книгу не видел, ибо она еще не отпечатана и существует лишь в одном рукописном экземпляре, который успели прочесть только те семь критиков, которые участвуют в этом обсуждении.

Текстильный главк проводит совещание портных, художников, модельеров о модах предстоящего сезона.

И здесь никто не говорит «я», «мне». В ходу те же самые громкие формулировки:

— Народ хочет видеть на современной женщине юбку на три пальца выше колен.

— Нет, народ не хочет видеть юбку выше колен. Он хочет видеть на современной женщине юбку на три пальца ниже колен.

Управделами Мешочкин тоже делал глупости, но никогда не прятался за широкую спину народа, он действовал только на свой страх и риск. И потом куда Мешочкину до современных масштабов. Комсомольский управделами построил трибуну с самопрокидывающимся поленом в одном экземпляре кустарным образом из подручных материалов. А работники пассажирской службы пустили изготовление новоявленных иерихонских труб на конвейер. Вслед за Клязьмой эти трубы устанавливаются в Мамонтовской. На очереди Тарасовская, Зеленоградская.

— Шумим, братцы, шумим!

И все это якобы для пользы дела, на благо народа. А им бы поговорить с народом, и они увидели б, что поднятый шум совсем не на благо. Для пользы дела требуется другое: строить переходные мостки, оснащать шлагбаумы не ревунами, а колокольцами, чтобы они оповещали людей о приближении поезда не воем и громом, а малиновым звоном.

И вообще хочется посоветовать и железнодорожникам, и критикам невышедших книг, и авторам женских юбок поменьше ссылаться на народ и побольше с ним советоваться.

1967 г.

Магическая записка

Студентку Пяткину вызывает преподаватель:

— А ну, расскажите, что вы знаете по моему предмету.

А Зине Пяткиной рассказывать и нечего. Всю неделю она прокружилась в клубе на танцах, и сейчас у нее

в голове гуляет ветер. Но Зина Пяткина не краснеет. Она многозначительно улыбается и кладет на стол преподавателю маленькую записку. В записке всего четыре слова, но они оказывают на преподавателя магическое действие, и преподаватель пишет студентке в зачетную книжку «хорошо».

На следующий день у Пяткиной новый экзамен. Пяткина пишет еще одну записку. Преподаватель Ряжцев читает ее и ничего не понимает. А в записке написано: «Я сестра Ивана Павловича».

— Какая сестра? — недоуменно спрашивает Ряжцев.

— Двоюродная.

— Ну так что? К экзамену-то вы ведь не готовились?

— То есть как что? — недоумевает студентка. — Неужели вам непонятно? Раз я сестра Ивана Павловича, то вы должны оказать мне снисхождение.

Николаю Даниловичу Ряжцеву хочется встать и попросить бесцеремонную студентку выйти из аудитории. Но Николай Данилович почему-то гасит в себе этот благородный порыв. Мелкие житейские соображения берут верх над принципиальностью, и Ряжцев долго думает, как быть. Поставить в зачетный книжке «хорошо» ему совестно. Написать «неудовлетворительно» боязно. И преподаватель идет на компромисс. Он пишет «посредственно» и назидательно говорит студентке:

— Смотрите, чтобы это было в последний раз!

Но назидание не помогло. На следующий день у Пяткиной третий экзамен, и она вновь как ни в чем не бывало положила на стол преподавателю записку с четырьмя магическими словами: «Я сестра Ивана Павловича».

Преподаватель Манихин прочел и с негодованием стукнул кулаком по столу:

— Как смели вы написать мне такую постыдную записку?!

А. Ф. Манихин был так возмущен поведением студентки Пяткиной, что не только записал в ее зачетную книжку «неудовлетворительно», но и немедленно сообщил о случившемся заведующему кафедрой математики, декану факультета и дирекции института. Возмущение было всеобщим. Да и как же могло быть иначе?

Честь и достоинство преподавателей требовали того, чтобы студентка Пяткина, которая оказалась в действительности не сестрой, а землячкой Ивана Павловича, была немедленно наказана. Заведующий учебной частью взялся было за перо, чтобы написать соответствующий приказ, как вдруг ему доложили:

— В институт прибыл сам Иван Павлович.

Иван Павлович — в городе человек известный, и всем казалось, что он приехал в институт специально затем, чтобы извиниться за бестактное поведение Пяткиной и поблагодарить тех преподавателей, которые отказались поставить этой студентке не заслуженные ею высокие оценки. В действительности все получилось наоборот.

— Иван Павлович, по-видимому, не знал о записках Пяткиной, — делает предположение директор института. — Он приехал к нам с единственной целью: попросить педагогов помочь отстающей студентке.

Помочь Пяткиной значило призвать ее к порядку. Но, увы! Мы не знаем, что Иван Павлович говорил в институте, только после этого разговора ход дела здесь повернулся на сто восемьдесят градусов. Вместо приказа о наказании директор института издал приказ, по которому студентке Пяткиной в нарушение всех правил разрешалось пересдать проваленные экзамены.

И вот на основании этого приказа преподавателю А. Ф. Манихину — тому самому, который стукнул кулаком по столу, — было предложено переэкзаменовать Пяткину. И как ни совестно было Манихину выполнять это распоряжение, он его выполнил и написал в зачетной книжке студентки вместо «неудовлетворительно» «хорошо».

Преподаватель Ряжцев оказался на этот раз принципиальнее. Он отказался вторично принимать у Пяткиной экзамен. И тогда директор института предложил взять эту некрасивую миссию на себя заведующему кафедрой математики Бондареву — тому самому, который еще накануне сильно возмущался поведением своей студентки.

И Бондарев, руководствуясь этим распоряжением, скрепя сердце переделал в зачетной книжке Пяткиной «посредственно» на «хорошо».

Мы спросили директора института, почему он заставил своих преподавателей пойти на такой унижительный, подхалимский акт. И директор ответил:

— Иван Павлович хочет добра Пяткиной, почему же не помочь ему?

То, что делает Иван Павлович, совсем непохоже на добро. Предположим даже, что студентка Пяткина с помощью Ивана Павловича окончит когда-нибудь педагогический институт... Чему этот педагог будет учить школьников?

Наукам? Она их не знает. Честному отношению к учебе? Этого качества у нее самой никогда не было, а Иван Павлович не помог землячке приобрести его. А ведь Иван Павлович должен был сделать это не только из земляческих чувств. Ивану Павловичу и по роду своей непосредственной деятельности тоже положено быть и хорошим наставником и хорошим воспитателем. Иван Павлович часто выступает на собраниях, призывает нас быть людьми скромными, не оделять своих близких и земляков незаконными привилегиями. Адресуя эти правильные требования другим, Иван Павлович почему-то забывает о себе самом.

1953 г.

Гугина мама

Евгений Евгеньевич Шестаков был не только хорошим пианистом, но и хорошим педагогом. Когда Евгения Евгеньевича назначили директором районной музыкальной школы, родители на радостях поздравляли друг друга. Но достаточно было этому директору отчислить из школы одного неспособного ученика, как на него тут же посыпались самые страшные жалобы. Первым позвонил в редакцию один из работников Главсахара:

— Вы знаете Евгения Шестакова?

— Да, как музыканта.

— Музыка — это не то. Познакомьтесь с ним лично, и у вас будет хороший материал для фельетона «Унтер Пришибеев в роли директора школы».

— Почему Пришибеев?
— Как почему? Вы разве не слышали? Этот субъект отчислил из школы Гугу!

— Кого, кого?

— Господи, — недовольно заверещала телефонная трубка, — про Гугу говорит весь город!

Мне было неловко сознаться в своем невежестве, я только теперь впервые услышал имя Гуги.

— Не слышали? — удивилась телефонная трубка. — Разве к вам еще не приходила эта дама?

— Какая дама?

— Ну та, Мария Венедиктовна!

— Нет!

— Не приходила, так придет, — обнадеживающе сказал человек из Главсахара и добавил: — Так вы уж тогда того... поддержите ее.

Не успела телефонная трубка лечь на рычажок, как ее тотчас же пришлось снова поднять. На сей раз в редакцию звонил известный детский писатель.

— К вам, — сказал он, — должна прийти Мария Венедиктовна. Это мать Гуги, и я от имени группы товарищей прошу помочь ей.

В этом месте детский писатель тяжело вздохнул и перечислил фамилии двух доцентов, двух полковников, трех медицинских работников и одной балерины. Но Марию Венедиктовну, по-видимому, не удовлетворило только перечисление фамилий, поэтому вслед за двумя первыми раздалось еще восемь новых телефонных звонков. Два доцента, два полковника, три медицинских работника и одна балерина звонили в редакцию, чтобы выразить свой протест против отчисления Гуги из школы.

Гугино дело было совершенно ясным. Гуга не обладал музыкальными способностями, и его следовало определить в другую школу. Но Гугина мама не признавала других школ. Она бегала по большим и малым учреждениям, добываясь только одного — восстановления Гуги. Мало того, что мама сама все последние дни проводила в ненужных хлопотах, она втянула в этот круговорот еще и пропасть разных других людей... И ведь сумела же она привлечь на свою сторону всю эту почтенную деловую публику! Как? Каким образом?

Мария Венедиктовна была серенькой, сухонькой женщиной. Она не знала ни чар, ни ворожбы. Зато она умела плакать. Эта женщина, действуя слезами, как вор отмычкой, вползала вам в сердце, наполняя его всякой жалостью.

Вот и теперь, придя в редакцию, Гугина мама сразу же потянулась за носовым платком. Мария Венедиктовна еще не сказала ни слова, а у всех нас, сидевших в комнате, уже защемило сердце.

«Нет, надо крепиться!» — решил я.

Но где там! Разве можно было оставаться холодным, когда рядом плакала женщина? А плакала она беззвучно и безропотно. И эти тихие слезы творили чудо. Из склочной, эгоистичной женщины они превращали Гугину маму в маленькую обиженную девочку. И вы готовы были тут же броситься в бой против ее обидчика.

Я крепился, а жалость между тем уже вела свою подрывную работу. Она рисовала передо мной жизнь этой маленькой сухонькой женщины, в центре которой был он, ее мальчик. Маме очень хотелось, чтобы этот мальчик был музыкантом.

— Вы посмотрите лучше на кисть, — говорила Гугина мама. — У моего мальчика пальцы Антона Рубинштейна.

Из-за этих гибких, длинных пальцев Гуге пришлось все свои детские годы провести в различных музыкальных кружках. Но маме и этого было мало: мама заставляла Гугу брать дополнительные уроки у приходящей учительницы, и успокоилась мама только тогда, когда устроила его в фортепьянный класс музыкальной школы. Несколько лет тихий и послушный сын, не любя музыки, учился в музыкальной школе. И вот, когда счастье казалось Гугиной маме таким близким, таким возможным, появился этот новый директор и напрямик сказал маме:

— Вы зря тешите себя иллюзиями. Ваш сын никогда не будет хорошим музыкантом.

Десять минут назад такая прямота казалась мне правильной, а вот теперь жалость заставила меня изменить свое мнение. Я тоже снял с рычажка телефонную трубку и, следуя дурному примеру всех прочих Гугиных хо-

датаев, стал просить Евгения Евгеньевича сменить гнев на милость и восстановить Гугу в школе.

— Хорошо, — совсем неожиданно сказал Евгений Евгеньевич, — я восстановлю только при условии, если вы повторите свою просьбу.

— Когда? Сейчас? — обрадовался я такому легкому разрешению вопроса.

— Нет, завтра, в двенадцать, у нас в школе.

— Все в порядке, — поспешил я успокоить Гугину маму. — Завтра ваш мальчик будет восстановлен.

Завтра, в двенадцать, когда я пришел в школу, там уже сидели все десять ходатаев. Оказывается, все десять были, как и я, приглашены в школу.

И все пришли — два доцента, два полковника, три медицинских работника, балерина, сотрудник Главсаха, детский писатель. Каждый был полон решимости не поддаваться ни на какие увещевания нового директора.

«Пусть директор и не пытается переубеждать нас своими речами, — думал каждый, — все равно мы будем требовать восстановления Гуги».

А новый директор, оказывается, и не собирался прозносить речей. Он просто спросил:

— Кто из вас знаком с Гугой?

Мы все неловко переглянулись. Оказывается, никто.

— Тогда давайте познакомимся с ним, — сказал директор и крикнул в соседнюю комнату: — Гуга!

В класс вошел широкоплечий пятнадцатилетний парень. Он поклонился, даже не посмотрев на тех, кто примчался из-за него в школу по сигналу SOS, поднятому его мамой, и сел за рояль.

— «На тройке», — флегматично сказал он и опустил свои гибкие, длинные пальцы на клавиатуру.

А пальцы у него действительно были замечательные. Я невольно даже закрыл глаза, ожидая, как из-под этих пальцев польется знакомая музыка Чайковского и перенесет всех нас на зимнюю сельскую улицу в веселый день масленичных катаний на тройках. Но Гугины пальцы обманули мои ожидания. Они не воссоздали картины широкой русской масленицы и не донесли до нас ни мыслей, ни настроений великого композитора. Гуга играл холодно, равнодушно. Он даже не играл, он

отрабатывал за роялем какой-то давно надоевший урок.

Директор школы неспроста устроил этот концерт. Мы жалели мать, а директор школы очень убедительно доказал нам, что жалеть следовало не мать, а сына, которого эта мать заставляла заниматься нелюбимым делом.

— Моцарт... Рахманинов... — говорил Гуга и продолжал играть без души, без вдохновения.

— Хватит, — сказал. наконец, не выдержав, один из доцентов.

Гуга встал, поклонился и вышел. И в классе сразу наступило тягостное, неприятное молчание. Десять ходатаев сидели вокруг рояля, как десять напроказивших и наказанных школьников.

Само собой разумеется, что «завтра, в двенадцать» директор не восстановил Гугу в школе.

Директор встал и сказал ходатаям:

— Гуга — плохой музыкант, но очень неплохой юноша. И если вы действительно хотите помочь Гуге, то вам следует прежде всего серьезно поговорить с Гугиной мамой.

Достаточно было директору напомнить об этой женщине, как все ходатаи заспешили к выходу.

«Ну нет, с меня хватит!» — подумал и я. Однако случаю угодно было распорядиться по-своему.

Не успела наша редакционная машина тронуться от подъезда школы, как у нее заглох мотор. А так как машина была старенькая, а шофер новенький, только с курсов, то, как мы ни старались, наш мотор не желал заводиться.

— Искра пропала, — виновато сказал шофер. — Придется звонить в гараж — просить тягач.

— А по-моему, машина пойдет без тягача, — перебил шофера чей-то молодой, звонкий голос.

Я оглянулся. Вокруг нас, оказывается, уже собралось десятка два школьников. И ближе других к машине стоял Гуга.

— Много ты знаешь! — буркнул ему в ответ шофер.

— А чего же здесь знать? — спокойно сказал Гуга. — Это элементарно. Дело у вас не в искре, а в свечах. Дайте-ка ключ, — сказал он, поднимая капот машины.

И шофер подчинился этому твердому, уверенному голосу. Гуга передал какому-то мальчику свои ноты, засучил рукава и стал отвинчивать свечи.

— Правильно, — сказал он, — кольца у вас разработанные, а масла налито много, вот свечи и захлебываются.

Две свечи Гуга подчистил ножом, две заменил новыми. Тонкие, гибкие пальцы Гуги работали быстро, ловко.

Да, это был не тот флегматичный паренек, который полчаса назад сидел за роялем.

— А ну, заводи! — сказал Гуга шоферу, и мотор, к общему ликованию школьников, завелся.

Само собой разумеется, что теперь мне уже захотелось познакомиться с Гугой поближе, а так как нам было по пути, то я пригласил мальчика в машину и затеял с ним разговор о двигателях внутреннего сгорания. Гуга, оказывается, два года состоял членом Детского автомобильного клуба.

— Только вы, пожалуйста, не говорите об этом маме. Мама против, — просит Гуга.

И мы снова продолжаем разговор о двигателях внутреннего сгорания.

Мальчик образно объясняет, почему заглох наш мотор. Его руки рисуют в воздухе всю схему зажигания, глаза блестят.

— Нет, — тихо шепчет он, — ваш шофер не любит автомобиля.

— А ты любишь?

— Конечно!

— А музыку? Только давай говорить по-честному.

Гуга на минуту задумывается, а потом, видимо, решившись, говорит:

— Вчера мне снилась нота «фа». Пришла, села над ухом и стучит, как дятел: «Фа... фа... фа...» Нет, музыка не по мне. На той неделе я пошел в автомеханическое ремесленное училище, хотел подать заявление, а там москвичам не предоставляют общежития.

— Почему же в ремесленное?

— А с чего же начинать, как не с ремесленного? Хороший специалист тот, который идет снизу вверх, тогда он любую гайку сумеет выточить и повернуть. Пора-

ботаю я в цехе, а потом можно и в техникум поступить или в институт — учиться на автоконструктора. У меня на этот счет целый план продуман.

— А рояль, значит, по боку?

— Нет, буду играть, но тогда, когда захочется, а не из-под палки. Мама этого не понимает. Я иногда думаю плюнуть на все и начать жить по своему плану, а прихожу домой и расслабляюсь. Жалко мне ее. Сын-музыкант — это мечта ее жизни.

Мне очень хочется помочь мальчику. Но помочь Гуге — это значит поссориться с его мамой. А, будь что будет!

И вот два дня подряд мы ходим вместе с будущим конструктором двигателей внутреннего сгорания по всяким учреждениям. Мы спорим, доказываем, и наконец на Гугином заявлении появляется долгожданная резолюция: «Принять с предоставлением общежития».

У Гуги в глазах сразу загораются веселые искры. А я смотрю на радостное, возбужденное лицо мальчика и думаю в это время о его маме.

Нет, родительские мечты не должны быть эгоистичны. Мама должна думать не о том, чего хочется ей, а о том, чего хочется ее ребенку, к чему у него есть способности.

Я знаю, завтра Гугина мама начнет бегать, плакать и жаловаться на меня, но тем не менее я не раскаиваюсь в том, что разлучил ее с сыном и помог ему перейти из музыкального училища в ремесленное.

1949 г.

На Белом озере

Сигнал подъема уже давно прозвучал, а Рита все еще нежилась в постели.

— Скорей вставай, на зарядку опоздаешь, — сказали девочки.

А Рита повернулась на другой бок и снова заснула. Плохой пример оказался заразительным. Ритина по-

дружка Галя не пошла не только на зарядку, но и в столовую.

— Пусть мне подадут чай сюда, — сказала она. — Я буду завтракать в своей комнате.

Старшая пионервожатая лагеря Нина Дмитриевна Путькина попробовала пристыдить девочек:

— Завтракают в постели только больные. А ну, немедленно выползайте из-под одеяла.

А девочки вместо того, чтобы занять свое место в пионерском строю, начали дерзить.

Нина Дмитриевна не понимала, что случилось с ее воспитанницами. Риту и Галю она знала давно не только по лагерю, но и по третьей школе, в которой старшая пионервожатая преподавала зимой математику. Эти девочки считались примерными ученицами и активными пионерками. Одна была председателем совета отряда, а другая — членом совета дружины. И вдруг с активистками произошла какая-то непонятная метаморфоза. Утром они надерзили вожатой, днем довели до слез воспитательницу, а вечером, после отбоя, вместо того чтобы разойтись по палатам, Рита и Галя от имени первого звена предъявили воспитательнице ультиматум:

— Организуйте нам катание на лодках по лунной дорожке.

С большим трудом девочек уговорили лечь спать. И вдруг в четыре часа утра весь лагерь был разбужен по сигналу «тревога». Дети, вожатые, воспитатели, вскочив с кроватей, побежали к флагштоку и увидели там начальника лагеря Агриппину Герасимовну Егорову. Пионеры к ней:

— Что случилось?

— Несчастье. У нас пропало звено.

— То есть как пропало? — заволновались собравшиеся.

— Не знаю, — ответила Агриппина Герасимовна. — Может быть, девочки утонули, а может, заблудились в лесу. В их палате обнаружена записка: «Прощайте. Нас не ищите. Вещи отправьте нашим родителям».

Лагерь заволновался. Моментажно было создано несколько поисковых партий. Одна с баграми побежала к озеру, другая — в лес. Девочек искали весь день — и все безрезультатно. Усталые, расстроенные возвратились

пионеры в лагерь, и первыми, кого они увидели, были девочки из пропавшего звена.

— Нашлись, нашлись! — радостно закричали пионеры, подбегая к Гале и Рите.

А те как ни в чем не бывало говорят:

— А мы вовсе и не пропадали. Мы нарочно спрятались от вас.

— Зачем?

— Чтобы напугать вожатых.

— Ну, и очень глупо.

— Правильно, глупо, — согласилась Галя. — Да это ведь мы не сами придумали. Нам посоветовала спрятаться Агриппина Герасимовна.

— А записка?

— И записку она велела написать.

Как выяснилось позже, Агриппина Герасимовна придумала потешную игру «Пропавшее звено» и готовилась к ее проведению втайне и от пионеров и от воспитателей. А для того, чтобы эта «игра» выглядела правдоподобней, начальник лагеря посоветовала членам злополучного звена за два дня до исчезновения демонстративно не слушаться вожатых, дерзить воспитателям, разговаривать с ними ультимативным тоном.

Само собой разумеется, что воспитатели на первом же производственном совещании осудили вздорную и вредную затею начальницы лагеря. А начальница, вместо того чтобы признать свою вину, заявила:

— Такие игры будут устраиваться и впредь, — нашим детям скучно.

— Здесь не может быть скучно детям, — сказала старшая вожатая и оглянулась вокруг.

И в самом деле: место, где расположился лагерь, было на редкость красивым. На много километров вокруг вековой лес, и в центре леса, на самой вершине холма, в рамке из зеленых сосен, огромное озеро, названное за чистоту и прозрачность своих вод Белым озером. А в этом озере — лини, окуни, щуки. Хочешь рыбы — вооружись удочкой. Надоела рыбалка — купайся, лови раков или отправляйся с отрядом в лес по ягоды. А ягод здесь пропасть: земляника, черника, брусника, костяника, клюква. А сколько замечательных походов можно устроить в этом лесу! И такие походы устраивались —

один интереснее другого, только не в этом лагере, а в соседних.

— Давайте и мы будем работать так же, — предлагали Агриппине Герасимовне воспитатели.

А та ни в какую.

— Нам нельзя, как другим, — говорила она. — У нас в лагере дети завов и замзавов отделами облисполкома.

Агриппина Герасимовна была твердо уверена, что дети ее лагеря на Белом озере должны находиться на особом положении, и никто в Ульяновске не рассеял ее заблуждений. Наоборот. В этом году в Ульяновской области работало тридцать три пионерских лагеря. Тридцать два были нормального типа, а для тридцать третьего, где работала Агриппина Герасимовна, специальным решением облисполкома установили особые привилегии как по части дополнительного питания и снабжения, так и внутреннего распорядка.

В других лагерях жили дети только пионерского возраста, примерно до четырнадцати-пятнадцати лет. Для детей же своих работников облисполком разрешил делать исключения. А эти исключения приводили ко всяким недоразумениям: Агриппина Герасимовна вынесла, например, пионервожатому 1-го отряда Гумеру Сабирзянову строгий выговор «за методическую ошибку, выразившуюся в прогулке у озера в вечернее время с пионеркой Ингой Кискиной». Пионервожатому Сабирзянову в момент вынесения выговора было семнадцать лет, а Инге Кискиной — двадцать два. Кто же, собственно, из них двоих допустил «методическую ошибку»? Великовозрастных «пионеров» на Белом озере было много. Великовозрастные стыдились выходить на зарядку вместе с восьмилетними ребятами, и Агриппина Герасимовна освободила их от физкультурных занятий. Великовозрастным скучно было участвовать в походах, сборах гербария, не хотелось ложиться спать вместе с малышами в девять вечера, и Агриппина Герасимовна устраивала для них с девяти до двенадцати ночи особые сборы. На этих сборах пели не песни, а романсы. Здесь играли не в «веревочку» или «кошки-мышки», а в «моргалки», «флирт цветов», «амур, ко мне». Агриппина Герасимовна выделила специальную дачу для танцев и приказала лагерному баянисту в срочном порядке ра-

зучить мотивы падепатинера, падеграса, танго и фокстротов, чтобы дети завов и замзавов не скучали на Белом озере.

Вожатые и воспитатели выступали против так называемых ночных сборов, но Агриппина Герасимовна стояла на своем:

— Нам можно. Мы на особом положении.

— Я решил не посылать в этом году своего ребеночка на Белое озеро, — сказал нам секретарь Ульяновского обкома комсомола.

— Почему?

— Дети, которых ставят в особое положение, как правило, вырастают эгоистами и зазнайками, а я не хочу калечить своего ребенка.

Правильное рассуждение. Дети должны быть детьми. У нас нет специальных школ для детей завов и замзавов. Все советские дети учатся в одних и тех же учебных заведениях и подчиняются одним и тем же правилам.

Беда секретаря Ульяновского обкома комсомола состояла в том, что, правильно рассуждая, он действовал совершенно неправильно. Вместо того, чтобы выступить резко и прямо против создания привилегированного пионерского лагеря, секретарь остался в стороне и сказал:

— Обком комсомола за Белое озеро не отвечает. Мы вычеркнули этот лагерь из своих списков.

— То есть как вычеркнули? А дети, которых калечит Агриппина Герасимовна, разве комсомол не отвечает за них?

1951 г.

«Даргой папа»

У всех мальчиков были папы. У Леши, Миши, Владика. И только Петин папа жил почему-то не дома, а в старом бабушкином альбоме. Петя часто бегал к бабушке посмотреть на своего отца. Раскроет, бывало, альбом и ждет, когда пожелтевшая фотографическая карточка

оживет, улыбнется и заговорит со своим сыном. Но карточка молчала. Чтобы успокоить Петю, мама как-то сказала ему:

— Твой папа в командировке. Он скоро приедет.

После этого разговора прошел год, затем второй, а папа все не приезжал. Да Петин папа, собственно, и не собирался возвращаться назад, так как уехал он не в командировку, как говорила мама: папа просто-напросто сбежал от семьи.

Петина бабушка была решительнее мамы, и она сказала внуку прямо, без обиняков:

— Ты, маленький, забудь про своего отца. У него, у разбойника, нет ни совести, ни чести.

Но забыть отца было не так-то легко. И хотя бабушка называла своего родного сына разбойником, этот разбойник чуть ли не каждую ночь снился Пете. Когда Петя подрос и научился писать, он сел и сочинил первое в своей жизни письмо, которое начиналось словами: «Даргой папа...»

Почти в каждом слове письма было по две грамматических ошибки, а за каждой ошибкой стояла неподдельная тоска восьмилетнего мальчонки по своему родителю. Но чтобы отправить письмо этому родителю, надо было написать на конверте адрес. А адреса не знали ни мама, ни бабушка. Тогда Петя пошел на почту и попросил доставить его письмо по ненаписанному адресу. Просьба была нелегкой, и почте пришлось призвать себе на помощь милицию. Целый год по Советскому Союзу велись тщательные розыски Александра Трофимовича Станчука. Наконец он был найден. Работники милиции думали, что письмо от сына взволнует отца, разбередит уснувшие в нем родительские чувства. Но ничего похожего не случилось. Александр Трофимович повертел письмо в руках, проверил, на какой бумаге оно написано: на толстой или тонкой, — затем свернул из письма сигарку и, как ни в чем не бывало, потянулся к огоньку.

— Разрешите прикурить?

Даже видавшие виды работники милиции возмущались таким бессердечным поведением отца. Эти работники попробовали пристыдить Александра Трофимовича. Не помогло. Тогда ему, как злостному неплательщику

алиментов, был предъявлен иск. За три года Станчук задолжал сыну свыше двух тысяч рублей.

— Две тысячи?

И тут с Александром Трофимовичем произошла неожиданная метаморфоза. Два битых часа работники милиции говорили с беглым отцом о семье, сыне, и этот разговор никак не трогал его. Отец слушал и только поплеывал. Но достаточно было Александру Трофимовичу напомнить о деньгах, как из его глаз брызнули слезы.

— А вы не могли бы простить мне этот долг?

— Как простить?

— Да так. Хотите, я возвращусь обратно в семью?

— А вас разве примут?

— Примут. Жена не захочет — сын уговорит. Вы же помните, как нежно мальчишка называл меня: «Даргой папа...»

И сын, конечно, уговорил маму. Мама была женщиной слабовольной. Она простила мужу все прегрешения и разрешила ему вернуться домой. И он вернулся, но ненадолго. Как только в милиции закрыли дело «О злостной неуплате алиментов», так Александр Трофимович немедленно собрал чемоданчик и отбыл в новую «командировку». На этот раз работникам милиции потребовалось уже не год, а три, чтобы отыскать следы Станчука и предъявить ему новый иск.

Из глаз Александра Трофимовича снова брызнули слезы, и он снова стал просить прощения, и жена снова разрешила ему возвратиться домой. А через полгода Станчук, усыпив бдительность милиции, опять пустился в бега. И так повторялось несколько раз. И после каждого возвращения отца семья Станчуков увеличивалась. Сначала у Пети появился брат Володя, потом брат Виктор и, наконец, сестра Нина. Но никто из детей Александра Трофимовича так по-настоящему и не знал отца: как он выглядит, как говорит, какая у него походка. Старшие хотя бы смутно помнили отца по бабушкиному альбому, а младшие были лишены и этой возможности. Их блудный отец до того опостылел бабушке, что она как-то взяла и сожгла его фотографию.

— Пусть в доме ничего не напоминает детям этого разбойника.

Дети подрастали, начинали ходить в школу. А научившись грамоте, каждый из них садился писать письмо. Но уже не к отцу, а в милицию.

«Мы были бы рады не вспоминать об этом бесчестном человеке, да нашей маме одной трудно растить четверых детей...»

Дети искали отца, а он бегал из одного конца Советского Союза в другой. А концы были неблизкие. Дальний Восток... Кубань... Казахстан... Башкирия. Попробуй найди его.

Мать мучилась, воспитывая детей, а отец жил в свое удовольствие. Каждый год он при живой жене устраивал новую свадьбу и после каждой свадьбы издевательски сообщал письмом своим детям имя их новой матери. По подсчетам старших сыновей, таких матерей у них оказалось около десятка. Мама Клава, мама Лиза, мама Федосья, мама Оля, мама Аня-первая, мама Аня-вторая...

Больше двадцати лет прожил Александр Трофимович порхающим прохвостом. Ездил он по разным городам и весям и изъездился. Разгульная жизнь истрепала его. И вот наступило законное возмездие... В дом Станчука пришла преждевременная старость. Неуютная, одинокая. Раньше Станчук менял жен, теперь они бросали его.

— Зачем он нам, хворый да неверный?

И вот тут-то беспутный старик и вспомнил о семье. Но вспомнил не за тем, чтобы просить прощения у матери своих детей за страдания, которые она претерпела по его вине. Он вспомнил о своей семье из корысти, так как решил взыскивать с детей алименты на свое содержание.

— Они уже взрослые, пусть заботятся обо мне.

Двое старших сыновей Александра Трофимовича только-только начали становиться на ноги. Петр Станчук учился в институте, получал стипендию, а Владимир приносил своей матери первую зарплату. Правда, заработки молодого токаря были на первых порах не ахти какие большие, но матери все же было легче, когда двое старших детей стали помогать ей растить двоих младших. И вот теперь отец собирался лишить младших детей этой помощи. Как ни удивительно, а Новотроицкий суд Чкаловской области удовлетворил иск Станчука, и те день-

ги, которые Петр и Владимир давали матери, теперь разыскивались по исполнительному листу на содержание Александра Трофимовича.

— Как? Почему? — возмутились братья.

— По закону, — ответил судья Кукин.

По советским законам дети и в самом деле обязаны помогать отцу в старости. Формально все у Кукина как будто бы правильно. А по существу? Был ли когда-нибудь Станчук настоящим отцом своим детям?

Отец не тот, кто родит ребенка, а тот, кто вырастит и воспитает его.

— Старик, вот я и пожалел его, — оправдывается судья Кукин.

Человек должен так прожить жизнь, чтобы заслужить к старости уважение. А Александр Трофимович жил, думая только о своих утехах. Так может ли он претендовать сейчас на любовь и помощь сыновей? Такого человека ни жалеть, ни уважать не за что.

1953 г.

Маленькая мама

Годовалая Верочка подняла с пола мамин окурочек и сунула его в рот.

— Дуся, отними, — крикнула из дверей соседка.

Дуся бросилась к дочери, подкинула ее к потолку, поцеловала и снова опустила на грязный, давно не мытый пол.

— Ничего, не страшно, — сказала она, — здоровей вырастет.

Соседка, хлопнув дверью, вышла из комнаты.

— И это мать!

Но на Дусю нельзя долго сердиться. Она то часами тетешкает свою Верочку, а то забудет накормить ее, выкупать. Такой у человека беспечный характер.

И муж у Дуси под стать ей. Правда, голова у Николая Дмитриевича светлая, руки золотые. Николай Дмитриевич — шофер, в гараже его ценят, уважают.

— Николай Дмитриевич, посмотри... Николай Дмитриевич, посоветуй... Помогите.

И Николай Дмитриевич никому не отказывает. Добрая душа, он смотрит, советует, помогает... Давно бы быть Николаю Дмитриевичу механиком, если бы не один порок. Добрая душа любит выпить. По этой причине, хоть и зарабатывает шофер Козлов хорошо, в его доме и голо и не всегда сытно.

Вот и сегодня Николай Дмитриевич отправился с работы домой не по прямой, а через базар и принес жене не мясо, а выпивку.

— Дуся, готовь закуску.

А когда речь заходила о выпивке, Дусю не нужно было приглашать за стол дважды. Дуся подняла бутылку на свет и сказала:

— Ой, сколько мути! Откуда она?

А Николай Дмитриевич и сам не знал откуда. Купил он эту бутылку, соблазнившись дешевой, у кого-то из-под полы. Открыл пробку, понюхал. «Запах сивушный, значит, спиртное. А что цвет у спиртного грязный, нестрашно — сам очищу».

И пока Дуся резала хлеб, лук, варила картошку, Николай Дмитриевич пропустил на быструю руку содержимое бутылки через вату и уголь. Но содержимое не стало от этого чище. И не удивительно, ибо в бутылке был технический спирт. А спирт этот с ядовитыми примесями. Выпускается он не для питья, а для промышленных надобностей. Но чету Козловых это обстоятельство не остановило. Они сели за стол, наполнили стаканы. В это время из школы пришел шестиклассник Витя.

— А ну садись за стол, пообедаем, — сказала мама и поставила перед сыном третий стаканчик.

— Ни к чему это Витьке, — буркнул папа. — Он же еще мальчишка.

А мама чмокнула мальчишку в лоб, засмеялась и сказала:

— Я налила ему только полстопки, для аппетита.

И вот семейство чокнулось, выпило, а через час карета «Скорой помощи» увезла мать, отца и сына в больницу.

Бездумная, безалаберная жизнь окончилась для семьи Козловых трагично. Николай Дмитриевич умер в

тот же день, его жена на следующий. Дети остались одни, без старших. Как быть? Что делать?

Добрых, отзывчивых людей на заводе было достаточно. Веру решил взять на воспитание инженер заводоуправления. Толю — рабочий крутильного цеха. Ну а Витя пока был в больнице.

— Если Витя поправится, — сказал секретарь комитета комсомола, — мы его сразу устроим в техническое училище.

Все как будто было в порядке. Работники опеки прибыли уже на завод, чтобы оформить окончательный раздел семьи Козловых. И вдруг совсем неожиданно морозным январским днем в заводской комитет профсоюза прибежала запыхавшаяся, закутанная в шаль милостивая девушка и сказала председателю Валентине Иринарховне Архиповой:

— Делить детей нельзя. Братья и сестры должны жить вместе.

— Милая, да где же мы найдем человека, который согласится усыновить сразу троих детей?

— А его искать и не нужно. Отдайте детей мне!

— Вам? А вы, собственно, кто?

Поля Калядина приехала в Серпухов всего два часа назад. Ей в Москву о несчастье в семье Козловых, дальних родственников, сообщили чуть ли не последней: «Ну, что пользы от девчонки в таких печальных обстоятельствах?»

И Поля долго не могла решить, ехать ей в Серпухов или не ехать: траурный визит Поле приходилось наносить впервые в жизни.

Поля колебалась, но все же поехала. Она нашла дом № 33, поднялась по лестнице и остановилась перед квартирой № 11. Соседки не было дома, и дверь открыл семилетний Толя.

— К вам можно?

Поля входит в комнату. Вера, как обычно, ползает по полу. Увидев незнакомую тетю, она потянулась к ней и застрекотала:

— Пити-пити...

— Вера хочет чаю, — пояснил Толя.

Полина вскипятила чайник и посадила детей за

стол. В это время в комнату вошла соседка вместе с инженером из заводууправления.

— Я пришел за Верой, — сказал инженер.

Толя испуганно схватился за сестренку и захныкал. Вслед за Толей заревела Вера.

— Крошка, а уже все понимает, — зашептала Поля соседка.

— Я бы взял их вместе, да тесно у нас в квартире, — извинился инженер.

Полина и сейчас не понимает, как это произошло. Робкая, застенчивая по натуре, она на этот раз точно преобразилась. Встала и твердо сказала инженеру:

— Взяли бы, а кто вам даст?

— Как кто? Этот вопрос согласован с завкомом.

Полина схватила шаль и выскочила на улицу. И вот она уже целый час упрашивает Валентину Иринарховну доверить воспитание детей ей:

— Я буду им вместо родной матери.

А этой матери на вид не больше двадцати лет. Полина видит в глазах у председателя недоверие и говорит:

— Вы не смотрите, что я ростом маленькая. Я сильная. Работы не боюсь.

Это верно, Полина Калядина — человек трудолюбивый. Она работает с юных лет, и неплохо. В ее трудовой книжке записано несколько благодарностей.

«Но ведь то Москва, — думает председатель завкома. — Живет девушка в доме со всеми удобствами. Лифт, газ, ванна...»

— Ой, да я уеду из Москвы. Буду жить здесь, работать на вашем заводе.

Валентина Иринарховна слушает Полину и вспоминает свои комсомольские годы; для нее тогда тоже не было ни сложных проблем, ни непреодолимых препятствий. Все было ясно, просто. Все вот так же рубилось сплеча: быстро, искренне, горячо. Председателю завкома нравилась и сама девушка и ее настойчивость, но вместе с тем Архипова не спешила с окончательным ответом.

— Ты пока поживи с детьми, — сказала она Полине. — Попривыкни к ним, а я поговорю в горсовете.

Поначалу работникам горсовета понравилось предложение Полины Калядиной:

— О чем толковать? Конечно, в одной семье детям будет лучше. И раз есть такой героический человек, который не боится усыновить трех сирот сразу, ведите его скорее сюда.

Но достаточно только было этому героическому человеку предстать перед глазами работников горсовета в образе хрупкой, миниатюрной девушки, еле видимой из-под большой пуховой шали, как эти работники учили разнос Валентине Иринарховне:

— Да в своем ли вы уме? Доверить детей какой-то девчонке.

— А вы поговорите с этой девчонкой. Внешний вид обманчив...

— Нет, нет, ни в коем случае. Ваша Полина до сих пор имела дело только с Верой и Толей. Она кормила ребят кашкой, пела им колыбельные песенки. Это все пока игра в куклы. А в семье Козловых, кроме двух здоровых ребят, есть еще третий — больной.

— Я не отказываюсь и от больного, — сказала Поля.

— Прежде чем делать такое категорическое заявление, вы бы, девушка, сходили посмотреть на этого больного.

Поля накупила яблок, конфет и в тот же день отправилась в больницу.

— Витя, к тебе гость, — сказала дежурная сестра.

А Витя был весь обложен грелками. Он еле-еле повернул голову навстречу вошедшим:

— Кто это?

Мальчик смотрел прямо на Полину и не видел ее. Он был слеп. Вот, оказывается, какое зло причинили мальчику мамыны полстопки! Слеп! Для Полины это было неожиданным. Правда, ей говорили: «Витя болен». Но в пятнадцать лет можно вылечить от любой болезни. Она сама болела и воспалением легких и гриппом. Два раза обваривала руку кипятком... Но тут совсем не то. Смотреть в большие карие глаза мальчика и знать, что они ничего не видят, — это было страшно. Нет, работники горсовета не зря послали ее навещать больного! Они думали: девушка испугается, струсит. А девушка подружилась со слепым и стала дважды в день бегать в больницу.

— Ну, что вы скажете теперь? — задала вопрос работникам горсовета Валентина Иринарховна.

Те удивленно развели руками и спросили Полину:

— А что вы будете делать со слепым мальчиком?

— Лечить, — ответила она.

И вот Серпуховский горсовет скрепя сердце утверждает наконец «Калядину П. А. опекуном и воспитателем трех сирот Козловых». Полина мчится из горсовета домой точно на крыльях, счастливая, радостная. А дома сюрприз: семилетний Толя решил устроить годовалой Вере пионерский костер. Он оставался дома за старшего, надо же было ему как-то развлечь сестренку. Толя натаскал в комнату досок, старых газет, щепок. Окропил все это керосином и теперь чиркал спичками, пытаясь добыть огонь.

Посля выхватила у Толи коробок и без сил опустилась на пол: что, если бы она опоздала хоть на минуту?

И вот только сейчас впервые девушка по-настоящему почувствовала, какую ответственность взвалила себе на плечи, взявшись вырастить и воспитать троих чужих детей. А ведь шел всего первый день ее опекуинства. Поля посмотрела на ревущих детей, которых лишили удовольствия поиграть с огнем, на их обтрепанную одежку, на кучу пустых бутылок, которые только и остались в наследство этим детям, и схватилась за голову. Но винить было некого. Разве ее не предупреждали, разве не отговаривали?

«Конечно, — думалось ей, — теперь все-все, и на заводе и в горсовете, станут в сторонку и будут смотреть, как я одна начну расхлебывать эту кашу».

Одна... И вот к двум ревущим голосам прибавился третий. В это время в дверь постучали, и на пороге комнаты появился маляр с ведром и кистями. Маляр посмотрел на ревущих и весело спросил:

— А ну, говорите, которая тут из вас мать, а которые дети?

Полина вскочила на ноги и стала искать носовой платок. Какой позор! Ну что скажут теперь про нее на заводе?

А маляр, чтобы не смущать девушку, дать ей возможность привести себя в порядок, успокоиться, начал де-

ловито осматривать темные стены грязной, запущенной квартиры.

— Я к вам от директора, — сказал он. — Насчет ремонта.

— Я ни о чем не просила директора, я даже не знаю его.

— Не просила? Ну и что ж! Разве у директора своих детей нет? А ну, говорите, что делать с вашими стенами — белить их или оклеивать обоями?

Свои дети были не только у директора завода, но и у председателя завкома Архиповой, и Валентина Иринарховна нет-нет да и навевывалась в дом к Полине:

— А ну, что тут делает маленькая мама?

Валентина Иринарховна научила эту маму кроить и шить детям платья, штанишки, помогла устроить Веру в ясли на пятидневку.

— Пусть Полина подумает немного и о себе. Съездит, попрощается с Москвой, подберет по душе работу в Серпухове.

И вот Полина поехала наконец в Москву, уволилась с работы. Она сняла с книжки все свои небольшие сбережения и, накупив детям обнов и подарков, а себе электрическую плитку, чтобы в доме больше не было ни керосина, ни керосинок, вернулась обратно в Серпухов. А здесь ее уже ждал вызов в школу на родительское собрание.

«Что такое? Неужто Толя набедокурил? Ну, теперь конец! — заволновалась, забеспокоилась Полина. — Осрамит меня директор перед родителями! Скажет: что с нее взять, с девчонки? Разве она мать, воспитательница?»

Но все опасения оказались напрасными. Участники собрания отнеслись к Полине очень предупредительно. Впервые в жизни ее называли полным именем: Полина Алексеевна.

А когда кончилось собрание, директор пригласила Полину к себе, чтобы дать ей, один на один, несколько житейских советов.

— У меня тоже есть дети, и если вы позволите...

— Да, да, конечно...

— Зачем вы купили Толе резиновые сапоги?

— Ему очень хотелось.

— Это не довод! Мальчика нужно было отговорить. В резиновых сапогах у ребят потеют ноги. Кроме того, обращаю ваше внимание на Толины тетрадки. На каждой странице у него кляксы.

— Но что делать?

— Толя сильно нажимает на перо. Отучите его.

И вот по вечерам Полина садилась теперь рядом с Толей и добросовестнейшим образом следила за тем, чтобы мальчик правильно держал ручку, правильно макал перо в чернильницу.

Полина Калядина взялась за трудное дело воспитания так самоотверженно и так искренне, что соседям по дому хотелось уже тогда, в январе, написать об этой девушке в газету. Но соседей, так же, как и работников горсовета, тревожил один вопрос: порыв души, долго ли продержится этот порыв? Ведь детей усыновляют не на день, не на два. Каждый знает, сколько забот, тревог, беспокойства требует ребенок, пока его вырастить. И у родной матери иной раз опускаются руки, а ведь Полина, в сущности, чужой человек детям.

Прошел примерно год. Я еду в Серпухов и думаю: «Ну, как там маленькая мама? Не струсила ли, не отступила?»

Большой, светлый зал. Здесь цех сортировки. Вдоль стены зала столики, за каждым — девушки в белоснежных халатах. Самая маленькая с краю — Полина Калядина. Она сортирует и упаковывает в пачки катушки с шелковой пряжей. Ловко, быстро.

Раздается звонок, и девушки вскакивают со своих мест. Белоснежный поток устремляется с завода к поселку. А улицы в поселке словно просеки в роще. День солнечный, осенний, и каждое дерево спешит навстречу девушкам огромным фантастическим букетом из рыжего, красного и золотого.

Вот наконец дом № 33. Старую квартиру Козловых трудно узнать. В ней стало не только светлее, но и теплее, уютнее.

— Витя, а у нас гость.

Из второй комнаты появляется подросток:

— Здравствуйте!

Так вот они — эти большие карие глаза. А Полина поправляет Вите воротничок и говорит:

— Будь добр, сходи в ясли за Верой.

И Витя идет. Один — без поводыря, без палки.

Полина перехватывает мой недоуменный взгляд.

— Вы разве не знали? — спрашивает она и добавляет: — Витя сейчас прекрасно видит. За это надо благодарить наших врачей. Я у них в долгу по гроб жизни.

Витя тоже благодарен врачам серпуховской больницы — и Тер-Хачатурову и Сепитинеру. Но Витя не забывает и того, как много дали ему в дни тяжелой болезни дружба и забота тети Поли. И сейчас Витя — первый помощник Полины в доме. Он ухаживает за младшими детьми лучше любой няньки. Когда Полины нет дома, Витя кормит, укладывает спать Верочку. Прибирает комнаты. Ходит в магазин за продуктами.

— А как же школа? Разве домашняя работа не мешает занятиям?

Оказывается, нет. Витя не только сам перешел из шестого класса в седьмой, но и помог Толе перейти из первого во второй.

Если Толя за это время стал старше на год, то Витя — по меньшей мере на три. А что касается Полины Калядиной, то она, наверно, повзрослела за этот год лет на пять. Еще бы, глава большого семейства! Забот, хлопот — по горло. Весной Полине пришлось вскопать огород. Своя картошка дешевле, чем на базаре. Мало того, она попросила завком прирезать ей небольшой сад, купила кур: в магазине не всегда достанешь свежее яичко для Веры.

Завтра после работы Полина начинает шинковать капусту. Все в поселке шинкуют, и она не хуже других. Кадка уже куплена, пропарена. Обручи покрашены, чтобы не ржавели. Ну, разве в Москве она занималась этим? А вот пришлось — и научилась.

— Все было бы неплохо, — говорит Полина, — да вот беда: ноги нас подводят — уж больно быстро они растут у ребят. Полгода назад я справила всем ботинки, а они уже малы. У Вити почти новые, а носить нельзя: не лезут.

Все смеются, а Вите не смешно. Ему неловко: почему Полина Алексеевна должна покупать ему и ботинки и костюмы?

— Как почему? Мы живем одной семьей.

Но Вите все равно неловко. Он решил уйти из школы и поступить в гараж.

— Все деньги буду отдавать в семью.

— Уговорите его не делать глупостей, — просит меня Полина. — Зарабатываю я в цехе не меньше других. Дети получают пенсию. Никто в нашей семье не пьет, не курит, а это тоже немалая экономия.

Но Витя продолжает спорить, упорствовать:

— Я парень, и я обязан помогать дому.

Валентина Иринарховна незаметно машет мне рукой. Мол, не волнуйтесь. Витя без образования не останется. Полина настаивает на своем.

И вот мы с Валентиной Иринарховной тихо поднимаемся из-за стола и выходим на улицу.

— Молодец девушка. И сердца у нее много и характера.

Я смотрю на Валентину Иринарховну и спрашиваю:

— А что будет у этой девушки с личным счастьем?

— А именно?

— Полина молода. Вдруг появится человек, которого она полюбит?

— Был такой в Москве. Но человек оказался не настоящим. Он испугался Толи, Веры, Вити и сказал: или — или. Правда, сейчас он пишет, извиняется. Но она не отвечает ему. Сейчас ее счастье в новой семье, в детях.

Из-за угла показался Толя. Он шел из школы лениво, вразвалку. Увидев Валентину Иринарховну, спросил:

— Мама дома?

И, узнав, что дома, мальчик взвизгнул, взмахнул сумкой с книгами и рысью устремился к подъезду.

1956 г.

Друг до первой беды

О том, что подписка собирается жениться на рознице, догадывались все работники медунецкой конторы связи. Да и как было не догадаться, если переживания жениха легко читались по его глазам!

Весь год эти глаза светились радостью и счастьем,

и каждый делал вывод: роман инспектора сектора подписки с агентом отдела розницы развивается вполне нормально. Так оно и было в действительности. Он и она ходили в клуб на танцы, катались на лодке по Енисею, сидели по три сеанса подряд в кино. Наконец, он решился и сделал предложение. И в этот решающий момент она заколебалась. Пока лукавая розница думала и прикидывала, стоит ли ей связывать свою жизнь с сектором газетно-журнальной подписки, инспектор этого сектора ходил сам не свой. И все работники медунецкой конторы старались успокоить и подбодрить инспектора, так как все любили его: ребята за то, что он был хорошим товарищем, а девушки потому, что этот хороший товарищ выбрал себе невесту не где-то на стороне, а в своей родной конторе.

Но вот прошла злополучная неделя, и по тому, как расцвел и заулыбался сектор подписки, всем стало ясно, что отдел розницы смиловился и сказал «да».

Связисты — народ дружный, компанейский. Чтобы на первых порах не вводить молодоженов в расходы, комсомольцы решили отметить бракосочетание вскладчину. Операционный зал, где обычно шел разбор корреспонденций, превратился в воскресенье в свадебный зал. Шесть канцелярских столов составили один большой, обеденный, вокруг которого сели представители всех секторов и отделов медунецкой конторы связи: почты, телеграфа, телефона и «Союзпечати». Гости ели, пили, кричали «горько», желали молодым дружбы и счастья.

И жизнь молодоженов была на первых порах дружной. Михаила и Веру, как и прежде, видели вместе: в кино, на реке, в гостях. Все шло как нельзя лучше, и вдруг весной этого года в семье новобрачных случилось несчастье. Молодой муж, катаясь на коньках, провалился в полынью, простыл, заболел воспалением легких. Доктор хотел отправить Михаила в больницу, но Вера воспротивилась:

— Я сама выхожу его.

И она поначалу очень заботливо ухаживала за мужем. Но болезнь затягивалась, и Веру понемногу начинала

одолевать скуку. Подруги после работы шли в клуб, а ей нужно было спешить домой:

С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!

Нет, не таким представляла себе Вера семейное счастье. И если молодая супруга не роптала еще вслух на свою судьбу, то только потому, что надеялась на скорое выздоровление мужа. Но болезнь у Михаила оказалась не только затяжной, но и коварной. Воспаление легких перешло в плеврит, а плеврит в скоротечную чахотку. Роль сиделки стала тяготить Веру.

— Тут, чего доброго, еще и сама заразишься!

Муж таял на глазах. Он исхудал, пожелтел, а Вера жалела не мужа — она бегала по нескольку раз в день к зеркалу смотреть на свои пышущие здоровьем щеки. Не пожелтели ли?

Как-то перед рассветом, когда больной после тяжелой проведенной ночи погрузился в тихий, спокойный сон, Вера, крадучись, собралась и ушла в дом своих родителей. Больной проснулся, а квартира пуста.

— Вера!

В ответ молчание.

— Неужели она уже ушла на работу?

Михаил нисколько не сомневался, что Вера с минуты на минуту появится в комнате. А ее нет и нет.

В двенадцать часов в конторе связи начинался обеденный перерыв, и Вера прибегала домой, чтобы покормить мужа. Наконец часы пробили двенадцать, но вместо Веры пришла ее мать, Евдокия Матвеевна.

— А где Вера? Да вы отвечайте, не молчите.

Евдокии Матвеевне не хотелось говорить зятю неправду. Но как сказать ему правду? Чем объяснить бегство дочери? И она ответила:

— У Веры грипп, но самый легкий. Завтра ей станет лучше.

Евдокия Матвеевна надеялась, что к завтрашнему дню дочь образумится и возвратится домой, а дочь заявила:

— Не пойду. Я уже три месяца вожусь с больным. Надоело. Устала.

Медунец — небольшой поселок. Слух о поведении Веры быстро распространился среди ее знакомых, и многие перестали здороваться с ней. Вера краснела, смущалась. Она понимала, что поступает нехорошо, и тем не менее не навещала больного.

Но как ни мал был Медунец, в нем не было недостатка в добрых, отзывчивых людях. В дом больного забегали работники почты, телеграфа, «Союзпечати». Друзья сидели у постели больного, развлекая его, помогали Евдокии Матвеевне в ее хлопотах по кухне. И каждому Михаил задавал один и тот же вопрос:

— Что с Верой?

И каждый из друзей, чтобы успокоить больного, говорил:

— Пустыки. Небольшое осложнение после гриппа.

Верин грипп затягивался, и Михаил в конце концов догадался об истинных причинах этого заболевания. Разочарование в любимой женщине принесло больному новые страдания.

Друзья пытались поднять дух больного, но из их стараний ничего не получалось. Михаилу становилось все хуже и хуже. Тогда члены комсомольского комитета отправили в Министерство здравоохранения срочную телеграмму: «Наш товарищ тяжело болен. Помогите».

И из Москвы в далекий Медунец был прислан новый, быстродействующий противотуберкулезный препарат, который оказал самое благотворное влияние на больного. Процесс в легких приостановился, и Михаил Кондрашков начал поправляться. А тут областной комитет профсоюза прислал в контору связи санаторную путевку, и комсомольцы отправили своего товарища на лечение в Крым.

Прошло три месяца. И вот в последних числах октября работники сектора подписки и отдела розницы снова пришли на станцию встретить больного товарища. И велико же было их удивление, когда этот больной предстал перед ними. Они смотрели на Михаила, как на какое-то чудо. Медики и впрямь сотворили чудо. Из вагона навстречу друзьям вышел прежний Михаил, здоровый, сильный, ну прямо хоть сейчас включай его в волейбольную команду.

Вместе с друзьями пришла на станцию и Вера. Она стояла в стороне и ждала, когда Михаил вырвется из кольца друзей и подбежит к ней. А Михаил подбежал не к ней, а к Евдокии Матвеевне, подхватил ее под руки и пошел к выходу, даже не оглянувшись на жену.

От обиды Вера прослезилась. Она возлагала на эту встречу много надежд. Вера думала, что муж со станции отправится домой. Там за пирогами она повинилась бы ему в своих грехах, а он простил бы, обнял ее, и в их семье снова воцарились бы мир и счастье. Но эти надежды не оправдались. Михаил переехал жить к товарищам в общежитие. Вера ждала его день, два, а он не приходил. Тогда она попробовала вызвать его для разговора на улицу, а он пропустил ее приглашение мимо ушей. Она послала ему письмо. Оно возвратилось к ней нераспечатанным.

Но Вера вовсе не собиралась расставаться с Михаилом. Да и с какой стати! Сейчас он не кашлял, был ладен, статен, красив. И Вера отправилась в райком комсомола с тем, чтобы комсомол помог своим авторитетом возвратить ей любовь и уважение мужа.

«Вас просит об этом жена», — писала она в своем заявлении.

Жена — это прежде всего друг. А друзья сохраняют верность не только в радости, но и в беде. Тот, кто попирает законы дружбы, пусть пеняет на себя.

В райкоме комсомола примерно так и ответили Вере на ее заявление. Ответ не понравился Вере, и она пожаловалась на райком в обком.

«Мой муж, — писала Вера, — ушел из дома в общежитие, а секретарь райкома вместо того, чтобы поговорить с ним со всей строгостью, стал читать мораль мне. Меня обвиняют в эгоизме и черствости, но какая же это была черствость, если больной ни одной минуты не оставался без присмотра. Вместо меня за ним все время ухаживала моя родная мать. Да, сознаюсь, я допустила ошибку, проявив в дни болезни мужа некоторую осторожность. Но дает ли эта ошибка право мужу так долго проявлять свой характер и сердиться на жену? Или, быть может, я чего-то не понимаю, тогда объясните: в чем же моя вина?»

Ш а р и к

— Можно видеть Стулова?

— Вам Владимира Александровича?

— Да!

Вахтер сочувственно смотрит на посетительницу, спрашивает:

— Сами Владимира Александровича бить будете или позовете братьев на помощь?

— Как бить, за что?

— А вы разве не знаете, за что Стулова бьют?

— Нет!

— Об этом вся Казань знает.

— Я не здешняя.

— Не здешние-то и лютуют. Приедут, вызовут Стулова к воротам и будь здоров. Многие его за прическу таскали, а вам, барышня, не повезло.

— Да я не за тем сюда приехала.

— Знаю, знаю, — заговорщически прошептал вахтер, — я бы и для вас, барышня, вызвал Владимира Александровича к воротам, да нет его у нас. В больнице он теперь.

— Заболел? — испуганно спрашивает посетительница.

— Хуже! В Шариках он там ходит.

— Как это в Шариках?

— Известно, как. По блату, дружки посодествовали.

Посетительница еще раз трет виски. Но, увы... понять вахтера трудно. А понять хочется. Стулов не посторонний человек посетительнице — жених, и, поскольку судьба нареченного волнует невесту, она требует, чтобы ей объяснили, каким образом ее жених стал Шариком.

Девушку было жаль. Чувствовалось, что многого она не знает и прежде всего не знает, что ее Стулов был женихом и мужем одновременно. Причем мужем не одной, а нескольких жен сразу.

Живя в Казани, Владимир Александрович чуть ли не в каждом волжском городе имел по супруге. Куда приезжал в командировку, там и устраивал очередную свадьбу. Каждую из своих жен Стулов называл и любимой и единственной. И каждую, конечно, обманывал.

И вдруг обман открылся. Жены списались между собой и съехали в Казань. Прямо с вокзала каждая жена направлялась в гараж аэропорта и учиняла там публичную выволочку своему неверному супругу. Если бы дело ограничилось синяками и царапинами! Увы, на Стулова пошли походом не только обманутые жены, но и комсомольская организация, членом которой он состоял, и представители прокуратуры. В общем, многоженец, как говорят шахматисты, оказался в остром цейтноте. В жизни Стулова наступил такой момент, когда ему во что бы то ни стало нужно было исчезнуть с горизонта. Удирать поездом или самолетом не имело смысла: Стулов знал, что и в поезде и в самолете его быстро бы задержали, возвратили обратно в Казань.

А уйти от наказания хотелось. Но как? И вот тут на помощь распушенности пришел, как сказал вахтер, блат. У завгара аэропорта оказался дружок — завгар больницы. В день, когда Стулов должен был явиться к прокурору, этот друг заехал за многоженцем в машине «Скорой помощи».

— Едем!

— Куда?

— В больницу!

— У меня нормальная температура, — ответил Стулов.

— Температура при твоей болезни не играет роли. Главное для тебя — научиться бегать на четвереньках.

— А прокурор?

— Мимо этого проедем не останавливаясь.

— Милый, вот за это спасибо.

Стулов на радостях бросился сначала на грудь своему другу, затем опустился на пол и с такой скоростью пустился на четвереньках по лестнице, что больничный завгар еле-еле нагнал его у ворот нервно-психиатрической лечебницы. Стулов вошел в новую роль очень легко. Он с таким энтузиазмом изображал годовалого щенка, с таким восторгом хватал за ноги всех проходящих санитарок, что его пришлось пропустить в кабинет врача вне очереди. Стулов и к врачу подлетел на четвереньках.

— Кто это? — спросил врач.

— Это я, Шарик, — жизнерадостно ответил Стулов и

правдоподобия ради дважды лизнул языком руку доктора.

— Что с вами? — спросил доктор.

— Да вот, ума лишился, — еще жизнерадостнее заявил Шарик и наполнил кабинет врача шумным, веселым лаем.

Больной явно переигрывал, и для того, чтобы не допустить дела до перебора, слово, на правах местного человека, взял больничный завгар.

— Доктор, помогите моему другу. Излечите вы его христа ради от этой собачьей болезни.

И доктор разжалобился. Он поместил многоженца в буйное отделение, заверив обоих завгаров в скором и благоприятном исходе лечения.

Стулов, как, очевидно, догадались читатели, ушел от заслуженного наказания. Ни административные власти, ни комсомольская организация не могли, конечно, привлечь к ответу человека, находящегося в психиатрической лечебнице. Ни у одного человека не поднялась рука на больного. Что взять с Шарика? Сначала закрыл дело прокурор, затем сделал то же самое комсорг, наконец, разъехались по своим городам жены. В казанском аэропорту наступил полный штиль. Все забылось, успокоилось. Стулову не нужно уже было больше прятаться в лечебнице. Шарик перестал скулить, вилять задом, он поднялся с четверенок и, распрощавшись с медперсоналом, отправился в гараж.

Шоферы очень предупредительно встретили своего выздоровевшего зава. Многие из них верили в болезнь Стулова, полагая в простоте душевной, что распутный образ жизни завгара и был проявлением этого самого буйно-нервного заболевания.

— Вот теперь, — говорили шоферы, — когда человек излечился от собачьей болезни, он и в своей личной жизни наведет порядок.

Но надежды товарищей были напрасными. Шарик не стал наводить порядок в личной жизни. Не успел он выйти из больницы, как тут же с ходу справил две свадьбы: сначала одну, а через месяц другую. В общем, все в грязной жизни Стулова осталось по-старому. Вчера он праздновал очередную свадьбу, а сегодня жены снова били его у многострадального гаражного порога.

Мы не против публичных выволочек, обманщиков не грех иногда протащить носом по паркету. Но все же спасение утопающих не должно быть делом рук самих утопающих. И уж коли комсомольцам известно, какой болезнью страдает Шарик, то они должны оградить окружающих от очередного приступа этой собачьей болезни.

1946 г.

Закон Адата

С утра между супругами разгорелся спор. Джамилляхон, жена Раджаба Садыкова, предложила зажарить к обеду барашка.

— Ой, нет! — сказал муж. — Это не то блюдо. На одного человека барашка много, на двоих мало.

На душе Раджаба Алиевича было так светло и радостно, что позволь ему — и он, не задумываясь, зажарил бы в этот день целого быка и пригласил бы в гости по крайней мере всю улицу. Но жена категорически высказалась против улицы.

— Мы пригласим двух-трех близких родственников — не больше! — сказала она.

— Душа моя, как это двух-трех! — взмолился муж. — Вспомни, по какому случаю мы устраиваем праздничный обед.

А случай и в самом деле был исключительный. Шутка ли! Супруги Садыковы нашли свою дочь Артыку. А потеряли они ее очень давно и при следующих обстоятельствах. Маме и папе не хотелось возиться с новорожденной, и они отвезли ее чуть ли не в полугодием возрасте к бабушке в кишлак. Бабушка через год заболела и умерла. Соседи приютили у себя младенца временно, до приезда родителей. А о родителях ни слуху ни духу. Родители не едут и не пишут. И тогда работники кишлачного Совета передали маленькую Артыку на воспитание в детский дом. Прошло двенадцать лет. Девочка выросла, стала ходить в школу, а родители и не вспоминали о ней.

Но если родители не думали о девочке, то девочка жила и мечтала о встрече с ними. Артыка писала письма

в различные города и учреждения: «Помогите мне найти папу и маму...» И одно такое письмо достигло цели. Следы родителей Артыки обнаружались в соседнем районе. Вызвали Садыкова в милицию, спросили:

— У вас есть дочь Артыка?

— Неужели моя девочка жива? Где она?

— А разве вы ее искали?

— Нет, — тихо сказал Раджаб Садыков и неожиданно заплакал.

Трудно даже сказать, что произошло с отцом Артыки. Двенадцать лет судьба родной дочери была ему совершенно безразлична. И вдруг сегодня Раджаба Алиевича что-то проняло. Соседи поверили отцовским слезам.

— Ну, был грех в молодости, — говорили они. — Забыли Садыковы о своей девочке. Слава богу, теперь папа с мамой опомнились, раскаялись.

И люди, простив родителям их жестокосердие, приходили к дому Раджаба Алиевича, чтобы поздравить его самого и его жену Джамилляхон с двойной находкой. В самом деле, двенадцать лет назад у Садыковых пропала не только дочь. У них тогда пропала и совесть. И вот теперь родительская совесть, кажется, отыскалась.

Садыковы шумно, на виду у всего местечка готовились к встрече с Артыкой. Они жарили и парили к торжественному обеду всякие праздничные блюда, спорили, кого пригласить в гости. Только ли родных и близких или, быть может, еще и кого-нибудь из начальства. Например, заведующего почтой, секретаря райисполкома.

— Бросьте вы думать о заведующих! — не выдержав, сказали соседи. — Отправляйтесь скорей за дочкой. Она, поди, и не знает еще, что вы берете ее домой.

— Да-да! — конфузливо улыбнувшись, сказал Садыков и побежал звонить в соседний район.

Этот звонок переполошил детский дом. Уже через минуту всем и каждому здесь было известно, что Артыка Садыкова нашла своих родителей. И каждый бежал к Артыке, чтобы обнять ее, поцеловать, порадоваться вместе с ней ее счастью. Когда первая волна поздравлений схлынула, директор детского дома Татьяна Ивановна сказала:

— Ну, а теперь, девочки, давайте готовиться к проходам Артыки. Завтра за ней приедет папа.

Трогательно прошел этот последний день Артыки в детском доме. Каждому хотелось оставить у девочки о себе какую-нибудь память. Учителя и воспитатели шили ей новое праздничное платье. Подружки и товарищи приносили ей в комнату всякие нехитрые подарки: кто книжку, кто открытку, а кто альбом. И хотя девочке было приятно такое внимание окружающих, мысли ее в этот день были не в детском доме, а в доме, где она должна была жить со своими родителями.

Родители! Артыка долго сидит у окна, пытается представить себе, как могут выглядеть они, ее родители.

Проходит час, другой, а перед глазами никакого живого образа. Да и откуда было взяться образу, если ни отец, ни мать не оставили девочке на память даже фотографической карточки?

— А что, если мой отец покажется сейчас на улице! — тревожилась девочка. — Ведь я его, пожалуй, и не узнаю.

Но Артыка ошиблась в своем предположении. Не успел Раджаб Садыков показаться на следующий день в воротах, как Артыка тут же выскочила ему навстречу:

— Папа!

Раджаб Садыков прижал дочь к груди, и его глаза снова увлажнились. Когда первая минута свидания прошла и Раджаб Алиевич успокоился, девочки пригласили его к столу: детский дом устроил в связи с отъездом Артыки прощальный завтрак. Но вот подходит к концу и этот завтрак. Раджаб Алиевич прощается с Татьяной Ивановной и, обняв дочь, выходит с ней из детского дома на улицу. И все обитатели дома, глядя вслед Артыке, говорят:

— Какая она счастливая!

Но счастье Артыки продолжалось недолго. Через два дня Раджаб Алиевич неожиданно появился в детском доме. Он подвел Артыку к Татьяне Ивановне и сказал:

— Заберите ее обратно.

— Почему? Что случилось?

— Я думал, моя дочь приедет в родительский дом со смирением, а она привезла с собой две пачки книг.

— Это разве плохо?

— Для русской девочки, может быть, и хорошо, а для узбекской не очень, — сказал Садыков и добавил: — Я хотел сжечь эти книги, а Артыка не позволила. «Это, — говорит, — учебники». «Учебники тебе больше не понадобятся, — объясняю я ей. — У нас большое хозяйство: куры, бараны, корова». А она ни в какую: хочу учиться, и только.

Даже смешно, — говорит Садыков после небольшой паузы. — Артыке не сегодня-завтра выходить замуж, а у нее на уме не муж, а таблица умножения.

— Какой муж? — с возмущением спрашивает Татьяна Ивановна. — Вашей дочери всего тринадцать лет!

— Русской девочке в этом возрасте, может, и рано выходить замуж, — отвечает Садыков, — а узбекской самое время!

Татьяна Ивановна смотрит на отца Артыки и ничего не понимает...

«Хорошо, — думает она. — Предположим, что Раджаб Садыков сошел с ума, но куда же смотрит его жена Джамилляхон?»

Но в том-то и беда, что пережитки адата оказались в семье Садыковых крепче родительских чувств. Садыковы выдают себя за передовых людей. И Раджабу Алиевичу, работнику райисполкома, и его жене Джамилляхон Мирзокадыровне, нарсудье, часто приходится выступать с публичными докладами о новом быте и новой, советской морали, а вот у себя дома эти «радетели» нового оказались рабами самых отсталых пережитков.

1954 г.

В день ангела

Жаркий летний день. Термометр показывает тридцать градусов в тени. К Серебряному бору по Хорошеву шоссе мчатся автобусы, троллейбусы, автомашины. Рабочий день окончен. Скорей, скорей на лоно природы, к прохладным водам Москвы-реки!

Вдруг из какой-то боковой улицы на шоссе выскакивает бежевая «Победа» и начинает выписывать крен-

деля. Путь этой «Победы» на горячем асфальте прочерчивается не прямой, а ломаной линией. Когда у машины заплетаются ноги, то виновата, конечно, не машина. Регулировщики уличного движения в таких случаях дают сигнал «стоп», подходят к владельцу машины и говорят:

— Гражданин, давайте дыхнем!

Владелец бежевой «Победы» в то время еще не был пьян. Он просто-напросто решил продемонстрировать своим спутникам на скорости восемьдесят километров новое зигзагообразное «па» из твиста. И так как на этом участке Хорошевского шоссе регулировщика не было, то машину никто не остановил, и она, достигнув Серебряного бора, остановилась у пляжа.

Вот наконец и река. Сейчас бы сбросить с себя все лишнее — и в воду! Но прибывшие — трое молодых людей и две девушки — не спешат с купанием. Они раскладывают на песке закуски, бутылки. С громким выстрелом в воздух взлетает первая пробка. За ней вторая, третья. Кто-то затягивает песню. Остальные, плохо сообразуясь с мелодией, подхватывают ее. Лоно природы перестает быть лоном и превращается в третьеразрядный кабак. Испуганные птицы поднимаются с деревьев и предусмотрительно перелетают на ту сторону реки. Но молодым людям нет дела ни до птиц, ни до людей, которые находятся рядом на пляже. Молодые люди веселятся. Один отстукивает пробочником на пустых бутылках твист. Второй учит свою даму хитростям зигзагообразного «па». Третий вкуче со второй дамой занимается нарушением обязательного постановления горсовета о правилах поведения граждан в местах общественного пользования. Подошел милиционер и обратился к спине молодого человека:

— Гражданин...

Молодой человек даже не повернул головы.

Милиционер потряс молодого человека за плечо.

— Гражданин...

Он был сильно смущен, этот милиционер. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с таким бесцеремонным видом нарушения общественного порядка. Что делать? У постового был только один способ наказания:

штраф. И постовой решил взыскать с нарушителя самую крупную сумму, на которую он имел право.

— Платите десять рублей.

— Как, только и всего?

Публика, которая была на пляже, запротестовала.

— Нет, вы обязаны установить, кто эти весельчаки.

Где они работают?

Молодые люди отказались сообщить свои имена постовому. И их пришлось пригласить в 54-е отделение милиции. Из трех мужчин здесь назвал себя только один. Евгений Иванович Перцов.

— Вы кто?

— Переводчик.

— А кто с вами?

— Иноземные гости.

— Зачем же они безобразничают?

— Это не безобразие. Мистеры и мисс решили отметить день ангела господина Джея и немного попоказничать.

— Но ведь мистеры позорят не только себя, но и своих мисс.

— О-о-о! У них за океаном это не считается позором.

— Не знаю, как у них, а у нас я обязан составить протокол.

— Пожалуйста, не делайте этого, — попросил Перцов.

— Почему?

— Потому что это неучтиво. Они же наши гости.

В жаркие дни июля и августа в Серебряный бор приезжали тысячи гостей. И жители Серебряного бора и представители милиции рады всем. Вот вам самые теннисные уголки острова. Вот вам самые лучшие пляжи. Пожалуйста, отдохайте, купайтесь, пойте, веселитесь. И вдруг приезжают эти пятеро и начинают свинствовать. И хотя дежурный по милиции кипит от возмущения, однако он находит в себе силы оставаться вежливым до конца.

— Я прошу гостей подойти к столу и назвать свои имена.

Но гости, вместо того чтобы подойти, замычали, замотали головами.

— Комси-комса? — спросил Перцов.

- Комси-комса, — ответили гости.
- Наши гости не хотят называть свои имена, — сказал Перцов дежурному.
- Почему?
- Гости хотят жаловаться на вас и просят дать номер телефона вашего старшего начальника.
- Начальника отделения? — спросил дежурный.
- Нет, старше.
- Начальника райотдела?
- Еще старше.

Дежурный по отделению соединился тогда с дежурным по городу и протянул трубку мисс и мистерам.

— Пожалуйста, жалуйста.

Но мисс и мистеры демонстративно отвернулись. Трубку взял переводчик и сказал:

— Призовите к порядку дежурного по отделению. Наши гости недовольны его действиями.

Перцов сказал и подумал: «Все в порядке. Сейчас старший товарищ позвонит младшему товарищу. Тот извинится и отпустит нас по домам». Старший товарищ, однако, обманул ожидания Перцова. Вместо того чтобы отдать распоряжение по телефону, он сел в машину и прибыл на место происшествия.

— Кто из вас звонил дежурному по городу?

Этот неожиданный приезд привел в замешательство мисс и мистеров. Раньше всех взял себя в руки Перцов.

— Звонил я, — сказал он и добавил: — Наши гости приглашены сегодня на ужин к посланнику. А этот глупый инцидент может задержать их. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы нас отпустили.

— Я распоряджусь. Только вы сначала представьте меня своим гостям.

— Представить, а стоит ли? Наши гости не говорят по-русски.

— А каким языком владеют гости? Английским, французским, немецким?

— Как, вы знаете, все эти языки? — спросил Перцов.

— Да, немножко.

Это было неожиданностью, которая окончательно подкосила мисс и мистеров.

— Комси-комса, тонем, спасай, — зашептали они Перцову.

Но комси-комса их не спасла. Первой, забыв о своем иноземном происхождении, захныкала на чистом русском языке девятнадцатилетняя мисс Марина:

— Хочу к маме.

За Мариной заплакала и мисс Алевтина:

— И я хочу к маме.

В милиции вняли этим слезам и развезли хныкающих девушек по домам, чтобы сказать их мамам:

— Лучше воспитывайте своих дочерей. Строже следите за их развлечениями.

Вслед за девушками захныкали и кавалеры:

— Простите! Мы не будем больше безобразничать в общественных местах.

Развезить кавалеров по квартирам милиция не стала. Поздно. Кавалеры были людьми семейными, женатыми. Именно этим отцам семейств и пришла в голову бредовая идея отпраздновать день ангела одного из них на заморский манер. С этой целью отцы семейств и выехали с малознакомыми девушками за город и учинили безобразие на пляже.

— Вас, наверное, интересует, кем оказались в действительности наши мнимые иноземцы? — спросил меня дежурный по отделению и ответил: — Это работники радиоуправления.

— Не может быть!

Я тут же соединился по телефону с радиоуправлением.

— У вас работает Евгений Иванович Перцов?

— Да, — ответил заместитель заведующего отделом Чеков.

— А Михаил Мартынович?

— И он работает, и Олег Александрович. Вас, наверное, интересуют приключения этой троицы в Серебряном бору? — спросил Чеков.

— А вы знаете уже про эти приключения?

— Еще бы! Это такая эпопея!

Меня удивил полусхотливый-полувосторженный тон заместителя заведующего отделом, и я позвонил самому заведующему отделом.

— Да-да, — сказал он, — это очень некрасивая история, завтра же я съезжу в Серебряный бор, узнаю все

подробней и поставлю вопрос об этой троице на собрании коллектива.

Но ни завтра, ни через неделю заведующий отделом так и не удосужился побывать в Серебряном бору, и все в отделе осталось, как было.

В этом деле удивительно не то, что три аморальных человека вели себя на людях, как павианы. Удивительно, что работники большой, уважаемой редакции продолжают считать павианов своими товарищами.

1957 г.

Свадьба с препятствиями

С Дальнего Востока в Москву на имя Гаспара Сумбатовича пришла телеграмма:

«Будем двадцать второго. Встречайте. Миша, Клава».

Гаспар Сумбатович прочел телеграмму и растрогался. Как быстро летит время! Кажется, давно ли он провожал своего племянника к месту его службы на Камчатку. Всего пять-шесть лет назад, и вот, пожалуйста, Миша возвращается назад. И не один, а с молодой женой, Клавой. Правда, вначале дядя чуть было не рассердился на племянника. Почему-де он женился на Клаве, не устроив предварительно смотрин, не узнав мнения своих родственников о невесте, не испросив у них разрешения на свадьбу. А племяннику, честно говоря, при всей его почтительности к стародавним обычаям было, увы, не до смотрин. И в самом деле. От Москвы до Камчатки чуть ли не десять тысяч километров. Дорога длинная, а родственников у Миши много. Попробуй пригласи всех, да тут на проездных билетах разоришься.

И вот, чтобы не ссориться с родственниками (когда-нибудь и они могут пригодиться), Миша решил провести свадьбу в два тура. Начать ее на Дальнем Востоке, в кругу сослуживцев (с ними тоже незачем портить отношений), и закончить праздник в Москве, в семейном кругу.

И родственники не заставили приглашать себя дважды. Двадцать второго, когда дальневосточный самолет доставил молодоженов в Москву, дом Гаспара Сумбатовича был полон гостей. Здесь собрались все Мишины дяди, все тети, двоюродные братья и троюродные сестры. За длинным свадебным столом не хватало только Мишиной мамы. Анаида Сумбатовна где-то непростительно задержалась и теперь явно запаздывала к началу торжества. Но вот наконец появляется и мать. Она обнимает сына и быстро оборачивается к невестке. Но вместо того, чтобы обнять и ее, Анаида Сумбатовна кричит «Нет, нет!» и валится на диван.

— Воды!

В доме поднимается переполох. Гости бегут на кухню. Десять стаканов сразу наполняются водой, и десять человек стремглав устремляются к дивану. Анаида Сумбатовна делает глоток, другой и говорит сыну:

— Проводи гостей до парадного. Свадьбы сегодня не будет.

— Что случилось? — спрашивает озадаченный Миша.

Но Мишина мама закрывает глаза и молчит. Три дня лежит мама на диване, и три дня дальние и близкие родственники не могут дождаться от нее ни слова. Наконец Гаспар Сумбатович не выдерживает и говорит сестре:

— Если тебе не жаль молодоженов, пожалей хотя бы мои деньги. Я наварил и нажарил к свадьбе кур, гусей, и все это теперь протухнет. Скажи, в чем дело?

Анаида Сумбатовна тяжело вздохнула и ответила:

— Мне не нравится Клава. Эту женщину нужно немедленно отправить обратно на Камчатку.

— То есть как обратно? Эта женщина замужем за твоим сыном. Они уже полгода живут вместе, — сказал Гаспар Сумбатович, а его сестра Арусь Сумбатовна добавила:

— Клава скромная, милая женщина. Не понимаю, за что ты ее невзлюбила.

— За что? За что? — крикнула, приподнимаясь с подушек, Анаида Сумбатовна. — Неужели вы сами не видите, за что? Клава — блондинка. Бубновая дама.

Родственникам посмеяться бы над этими словами.

— Ну и пусть бубновая, что здесь плохого?

А родственники почему-то заохали, заохали и быстро начали отмежевываться от Клавы.

— Я думала, она крашенная, — сказала одна из троюродных сестер, — ну а раз Клава натуральная блондинка, то ей, конечно, не место у нас в семействе.

Миша с надеждой смотрел на родичей. Не возьмет ли кто-либо из них под защиту бубновую даму. А родичи уже успели переметнуться на сторону противника и теперь осуждающе поглядывали на Мишу.

— Как хочешь, а с Клавой тебе все равно придется распрощаться. Наш род признает только трэфовых дам.

Из всех родственников, собравшихся в этот день в доме Гаспара Сумбатовича, лишь один человек, семидесятипятилетняя Мишина бабушка продолжала держать сторону бедной Клавы.

— Жену выбирают не по масти, а по сердцу, — сказала бабушка внуку, — и раз Клава тебе любя, то ты плюнь на то, что говорят родственники, и живи с ней.

На бабушку зашикали, затопали.

— Молчи, старая!

Но бабушка оказалась не из пугливых.

— Не слушай их, они же дурные, — откровенно сказала бабушка по адресу троих Сумбатовичей, хотя всем троим она приходилась родной матерью.

Целую неделю в доме молодоженов велись жаркие дебаты, в которых принимали участие все члены семьи, кроме Клавы. Достаточно было дядям и тетям появиться на пороге, как ее тотчас выпроваживали из комнаты.

— Пока мы будем разговаривать между собой, — смущенно говорил в таких случаях жене Миша, — тебе, Клавачка, лучше посидеть на кухне.

И Клаве приходилось сидеть на кухне когда до полуночи, а когда и до утра. А в комнате в это время дяди и тети решали ее судьбу: быть или не быть Клаве Мишиной женой. Сам Миша, как это ни странно, в происходящем обсуждении участия не принимал.

— Это у нас такой обычай, — оправдывался потом в редакции Миша. — Когда старшие говорят, младшие обязаны молчать.

Младшие! А этому младшему было уже тридцать лет. Ему бы встать да твердым, решительным словом

поставить всех непрошенных советчиков на место. А он продолжал сидеть за столом тише воды, ниже травы.

За семь дней дебатов Миша послал сестре в Кировакан четыре телеграммы. Сначала телеграмма выглядела так: «Выезжаем. Встречай. Мама, Миша, Клава». В тот день, когда мама сказала «нет», в Кировакан была послана вторая телеграмма: «Выезжаем. Встречай. Мама, Миша».

— Постыдился бы, а как же Клава? — сказала бабушка.

Миша потер затылок, посопел и составил третью телеграмму: «Выезжаем. Встречай. Миша, Клава». Тогда за Мишу взялись двоюродные братья и троюродные сестры, и Миша под их диктовку сначала заменил в телеграмме имя жены на имя матери, а затем по совету матери вынес на кухню жене пальто и шляпу и сказал:

— Прощай. Значит, не судьба.

Но тут за Клаву вступились соседи:

— Какая судьба! Ваша жена в положении. Вы разве не знаете об этом?

— Знаю, — ответил Миша и беспомощно развел руками. Ничего, мол, не сделаешь. У нас такой обычай. Как скажут родственники, так тому и быть.

Обычай, по которому муж может ни за что, ни про что выставить беременную жену за дверь, показался соседям столь диким, что они написали по этому поводу письмо в редакцию. И вот на днях по просьбе авторов письма нам пришлось разговаривать с сыном Анаиды Сумбатовны. Этот сын был страшно удивлен встрече с работниками редакции.

— Клаве стыдно на меня обижаться, — сказал он. — Расходы по свадьбе я взял на себя. Я даже оплачиваю ей обратный билет на Камчатку. Весь материальный урон по разводу, таким образом, несу я один.

— Это материальный урон, а моральный?

Миша привычно засопел.

— Но что же делать, если мама против?

— Маму можно было уговорить.

— Ой, нет, — сказал он. — Дело вовсе не в цвете волос, как кажется соседям, а гораздо сложнее. Моя мать полна национальных предрассудков. Она считает, что у армянина жена должна быть армянка, у татарина —

татарка, у украинца — украинка. Вы думаете, зачем я еду в Кировакан? Мама надеется, что я женюсь там на своей...

— Своей? А Клава разве чужая?

— Я же объяснил вам, — стал оправдываться Миша. — Моя мать — темная, невежественная женщина...

— А вы пляшете под дудку этой невежественной женщины. Вам не стыдно? Вы же член партии...

— Не член партии, а пока только кандидат, — поправил меня Миша и, тяжело вздохнув, добавил: — Ну, что ж, я попробую еще раз поговорить с мамой.

По-видимому, и на этот раз сын говорил с матерью не так, как следовало. В результате решение, принятое несколько дней назад на семейном совете, осталось в силе. Сын Анаиды Сумбатовны должен был пережениться. С этой целью мать и спешила увезти его из Москвы. К отходу поезда на вокзале собрались все Мишины родственники, дяди, тети. Не было среди них только старенькой Мишиной бабушки. Бабушка отказалась провожать внука.

— Противно, — сказала она, — разве это мужчина? Так, тряпка.

1953 г.

На деревню девушке

В журнале была напечатана фотография «Комсомольцы на лыжной прогулке». На первом плане стояла розовощекая, веселая девушка, пытавшаяся спрятать непослушный локон под белым пуховым беретом. Фотография остановила на себе внимание Ивана Моисеенко, и он решил во что бы то ни стало познакомиться с девушкой в белом берете. Познакомиться, но как? В подписи под фотографией ни имени, ни фамилии. На счастье, в тот день в отпуск через Киев уезжал Григорий Юрченко. Моисеенко — к нему.

— Будь другом, Гриша, зайди в редакцию. Привези мне адресок.

— Какой адресок?

— Девичий...

Моисеенко показал журнал и, увидев в глазах приятеля недоумение, добавил:

— Да ты не подумай чего дурного. Адрес нужен мне только так, для дружеского обмена мнениями по вопросам общего порядка.

— Ах, вон оно что, — сказал Юрченко и улыбнулся.

Прошел месяц. Григорий Юрченко хорошо отдохнул и, вернувшись назад, приступил к исполнению своих служебных обязанностей. В тот же вечер к нему пришел Иван Моисеенко. Задав для приличия два каких-то пустяковых вопроса, он спросил:

— Ну как, Гриша, привез адресок?

— Э... э, брат, да ты никак всерьез решил заняться флиртом.

— При чем здесь флирт? — обиделся Моисеенко. — Неужели один член ВЛКСМ не может написать письмо другому члену ВЛКСМ без глупых смешков с твоей стороны?

— А вдруг влюбишься?

— За Ивана Моисеенко можешь не беспокоиться. Он как скала из гранита. В него влюблялись, и не раз, а он пока еще ни в кого.

— Ну, если ты, Ваня, уверен в себе, тогда пиши, — сказал Юрченко и стал диктовать: — «Красноармейская улица, дом № 7, квартира 15, Ф. Мельниченко».

— А что значит Ф.?

— Феня.

— Имя хорошее! А сколько ей лет?

— Восемнадцать.

— И возраст чудесный. Блондинка? Брюнетка?

И вот между И. Моисеенко и Ф. Мельниченко завязалась переписка, и так как почта работала исправно, то корреспонденции в оба конца шли без всяких задержек. Вначале Иван Моисеенко строго хранил тайну переписки, но после третьего письма Фенечки он не выдержал и пришел к приятелю похвалиться.

— Ну, Гриша, как я сказал, так оно и вышло. Меня уже любят и даже очень.

— Неужели она сама призналась тебе?

— Почти. Вот и в письме написано. Хочешь, прочту?

И, не дожидаясь приглашения, Иван Моисеенко прочел:

— «А вчера у нас была контрольная по математике, и я получила двойку. А вот литературу я люблю и даже очень, очень».

В этом месте Моисеенко сделал многозначительную паузу.

— Ну, как?

— Так ведь это же она пишет про литературу, а не про тебя.

— Милый мой, женские письма надобно читать умеючи, между строк.

Переписка продолжалась. В июне Фенечка сдала наконец экзамены и, получив аттестат зрелости, поехала с туристской путевкой на юг нашей страны. Но ни море, ни горы не могли изменить информационного стиля ее писем. Она по-прежнему писала Ванечке не о своих чувствах, а о своих двойках.

«А вчера ночью, — сообщала она в письме из Севастополя, — мне приснилось уравнение с двумя неизвестными, и я долго после этого не могла уснуть».

А Ванечка, читая Фенечкины письма между строк, быстро наряжал оба неизвестных в мужские костюмы и тоже не спал до утра, терзаясь муками ревности. Наконец, он не выдержал, пришел к своему другу и сказал:

— Все, Гришенька. Нет больше гранитной скалы.

— Неужели влюбился? И в кого? В фотографию из журнала.

— Почему в фотографию? Я прекрасно осведомлен о всех Фенечкиных привычках, ее характере, образе мыслей.

— Каким это образом?

— С помощью науки о почерке, называемой графологией. По женскому письму можно любой портрет нарисовать. Видишь, буквы у Фенечки не острые, а кругленькие. Это первый признак домовитости. Значит, жена моя будет хорошей матерью и хозяйкой. Смотри дальше. Буква «р» у Фенечки с коротким хвостиком — так, Гришенька, все рукодельницы пишут...

— Все, Ванечка, — перебил приятеля Юрченко, — рви поскорей Фенечкин адрес и давай считать обмен

мнениями между двумя членами ВЛКСМ несостоявшимся.

— Поздно, Гриша, я уже сделал Фенечке предложение и женюсь на ней.

— Ну, Ваня, насмешил. Да разве так женятся! Женидьба — дело серьезное. Это не в клуб сходить на танцевальный вечер. Жена — подруга на всю жизнь. А ты Фенечку и в глаза даже не видел. Может, Фенечки и вовсе нет на свете?

— Как это нет, а письма?

— Письма тебе писала не девушка, а парень.

— Ну да, рассказывай! Что же, я женского почерка от мужского не отличу? У меня учебник графологии имеется.

— Подвел тебя учебник.

— Не может быть.

— А ты проверь...

Обеспокоенный жених послал телеграфный запрос управляющему домом семь по Красноармейской улице и выяснил, что в квартире пятнадцать проживала не Феня, а Федя Мельниченко.

Иван Моисеенко попал в смешное, водевильное положение. Целый год Ф. Мельниченко морочил ему голову своими двойками и тройками, а он в ответ строчил любовные письма и даже предложил этому двоичнику руку и сердце.

Иван Моисеенко вознегодовал, но не на себя. Он рассердился на приятеля и прислал в редакцию гневное письмо.

«У меня были серьезные намерения, — пишет И. Моисеенко, — я хотел посредством переписки познакомиться с хорошей девушкой и жениться на ней. А тов. Юрченко сотворил надо мной насмешку. Вместо того, чтобы привезти мне адрес девушки, он дал адрес своего приятеля Ф. Мельниченко. Когда-то я считал Г. Юрченко своим другом, а сейчас я рву с ним, потому что друзья так не поступают».

Не успели мы еще решить, что делать с полученным посланием Ивана Моисеенко, как пришло письмо от его друга.

«Вам послана на меня жалоба, — пишет Г. Юрченко, — за то, что я устроил глупую шутку над И. Моисе-

енко. Я пошутил не из озорства, а для того, чтобы излечить моего товарища от заочной любви. «Привези адресок», — просит И. Моисеенко каждого, кто едет в отпуск. А другие ухажеры посылают свои письма даже без адреса, так, по принципу «На деревню, девушке...». Я тоже переписываюсь с девушкой, но ведь мы с ней знаем друг друга не по случайным письмам или фото, а по работе. И откуда только взялась эта глупая мода знакомиться и жениться по переписке. Учебник графологии не может создать крепкую, счастливую семью. Жениться надо только по любви. А разве можно полюбить человека, не видя, не зная его? Вот это мне и хотелось сказать Ивану Моисеенко, чтобы помочь ему по-дружески разобраться в его заблуждениях. А за глупую шутку прошу прощения. Что ж, признаюсь, виноват. Не нужно было мне устраивать мистификации и превращать Федю в Феню».

Прочли мы письмо Г. Юрченко и решили напечатать его рядом с письмом И. Моисеенко. Что же касается выводов, то они запрашиваются сами.

1950 г.

У театрального подъезда

Инна Завьялова не вышла на работу. Прогуляла. На следующий день чуть свет она прибежала к заведующей отделом с повинной.

— Анастасия Васильевна, голубушка, виновата. Вчера днем в Большом театре ставили «Риголетто». Это было так соблазнительно, что я не выдержала и пошла.

— А работа?

— Простите. Меня уже ругали за это и папа и мама. Но вы не сердитесь, я сегодня буду работать за двоих и сделаю все, что нужно.

Анастасия Васильевна поверила раскаянию и простила. Прошел месяц, в Большом театре снова поставили «Риголетто», и Инна снова не вышла на работу.

Музыкальные увлечения Инны Завьяловой были весьма своеобразны. Она покупала билеты только в один

театр и всегда на одни и те же спектакли. Восемь раз она была на «Фаусте», десять — на «Травиате», двенадцать — на «Риголетто». К концу года Инна входила к даме полусвета Виолете как к себе домой. Ей все было здесь знакомо, от первой до последней ноты. Но, увы, Инна зачастила на «Травиату» не из-за музыки Верди, а из-за Сержика. Этим интимным именем подруги Инны называли между собой артиста, который пел партию Альфреда в опере.

Мы не собираемся говорить ничего плохого об этом артисте. Он хорошо держится на сцене, прекрасно поет и достоин всяческого уважения. К сожалению, у Инны это уважение приняло уродливые формы. Инна говорит о Сержике только ахами и вздохами. В театре она кричит не «браво», а «брависсимо» и хлопает в ладоши до изнеможения. В конце спектакля капельдинеры обыкновенно выводят ее из зрительного зала самой последней, когда уже во всем театре потушен свет.

Инна обожает Сержика, но ничему у него не учится. Сержик трудолюбив, а Инна к своей работе относится весьма равнодушно. Каждая новая роль для него — это искание, каждый спектакль, пусть даже тридцатый, сороковой, вызывает у него настоящее творческое волнение. Это и понятно: он любит искусство и преданно служит ему. А Инна в театре не видит ничего, кроме аплодисментов. Она кричит «брависсимо» и коллекционирует фотографии артиста. Инна вырезает их из газет и журналов, покупает у фотографов и билетерш, меняет. Фотографий у нее уже столько, что ими можно завесить всю квартиру. Но Инна не развешивает их. Она боится воров.

— Вы знаете, — сказала нам член редколлегии стенгазеты «За каучук» инженер Каплинская, — эти фотографии коллекционируются, как почтовые марки. У Инны есть даже уникальные экземпляры. Например, Сержик в зубоврачебном кресле. За этот снимок Инна отдала новое шелковое платье.

Инна Завьялова работает копировщицей в институте «Гипрокаучук». Сотрудники института любят театр не меньше Инны, тем не менее они краснеют за нее. Директор «Гипрокаучука» сказал как-то секретарю комсомольской организации:

— Займитесь Инной. Пристыдите ее, помогите ей образумиться.

— Разве Инна послушается нас? Она же не комсомолка.

— А вы возьмитесь дружнее. Вас вон сколько. Неужели вы не справитесь с ней одной?..

И комсомольцы решили заняться воспитанием Инны, помочь этой девушке заполнить свою жизнь чем-нибудь позначительнее коллекционирования фотографий. И Инна как будто приняла протянутую ей руку. Она записалась в восьмой класс вечерней школы, стала посещать занятия политкружка, а весной даже подала заявление с просьбой принять ее в члены ВЛКСМ. В комсомольской организации «Гипрокаучука» в связи с этим заявлением поднялся спор. Одна часть комсомольцев была против приема.

— Инна легкомысленный человек.

Другая часть высказывалась за прием:

— Пусть только она даст слово, что исправится.

Инна дала слово и даже держала его. Но держала, к сожалению, недолго. Кончилось лето, театр вернулся из отпуска. В афишах был объявлен очередной спектакль «Риголетто», и Инна не явилась на занятие политкружка.

— Анечка, голубушка, — говорила она на следующий день секретарю комсомольского комитета, — я не буду больше убегать с кружка, только вы, пожалуйста, не устраивайте занятия в те дни, когда поет Сержик. Это легко сделать, комсомольскому комитету нужно только заранее согласовать свой календарь с репертуарной частью Большого театра.

Для того, чтобы угодить Инне, с репертуарной частью нужно было согласовать не только дни занятий политкружка, но и дни учебы в вечерней школе и дни комсомольских собраний. А так как общественные организации «Гипрокаучука» при всем желании не могли приносить жизнь института к театральной афише, то Инна считала себя вправе пренебрегать служебными и комсомольскими обязанностями.

И выбыла сначала из политкружка, потом из вечерней школы. Да и в копировальном отделе Инна едва держалась. Директор института несколько раз со-

бирался уволить нерадивую работницу, да все жалел ее, надеясь, что Инна возьмется за ум. Но эти надежды не оправдывались: Инна на работе только присутствовала, с трудом высиживая от сих до сих, а настоящая ее жизнь начиналась у театрального подъезда.

— Она не одна такая, — говорит секретарь комсомольского комитета Аня Фаняева. — Там у них целая секта одержимых. Я ходила к этим девушкам, чтобы поговорить с ними по-хорошему, а они не стали слушать меня, решили, что я за Ванечку.

— За кого?

— Так они именуют артиста, который поет в очередь с Сержиком партию герцога. Вы разве не знаете? В театральном подъезде несколько сект. Одна утверждает, что самую высокую ноту среди теноров берет Сержик, другая заявляет, что Ванечка, а третья с пеной у рта доказывает, что лучший тенор Соломоша. Секты воюют между собой, интригуют, аплодируют одному артисту, шикают другому.

Комсомольцы из «Гипрокаучука» установили, что члены этих сект дежурят не только в театральном подъезде. Они выставляют свои пикеты и у подъездов домов, где живут артисты, около кафе, где те бывают.

— Зачем?

— Девочки следят за каждым шагом Ванечки и Сержика, чтобы увековечить их в своих дневниках, — говорит Аня Фаняева.

Одержимые докучают не только артистам, они не обходят своим вниманием и членов их семей.

— Мы решили развести Сержика с женой, — заявляет Инна. — Это был неудачный брак. Она его совсем не понимает.

— Да с чего вы это взяли?

— Так сказала нам лифтерша.

Инну и ее подруг вызвали в комсомольский комитет, предупредили. Но девушки и на этот раз не сделали для себя нужных выводов. Наоборот, в своем дневнике Инна с гордостью записала: «Пострадала за Сержика. Получила по комсомольской линии строгий выговор с предупреждением».

В октябре Инна две недели не показывалась на работе. Прогуляла. Как выяснилось позже, она ездила

в Ленинград. Вернувшись назад, Инна прямо с вокзала побежала в институт с повинной.

— Анастасия Васильевна, голубушка, в Ленинграде поставили «Риголетто». Это было так соблазнительно...

Чаша терпения переполнилась. Инну сняли с работы и исключили из комсомола. Все как будто правильно. И вдруг у Инны совершенно неожиданно объявились заступники. В редакцию пришла делегация завсегдаев театрального подъезда с жалобой на комсомольский комитет «Гипрокаучука».

— Скажите, можно ли наказывать комсомолку только за то, что она любит искусство?

— Нельзя.

— А Инну наказали. Комитет обвинил ее в том, что она оторвалась от организации и не была на трех собраниях. Но ведь у Инны на это были объективные причины. В первый раз в театре шла «Травиата», во второй — «Риголетто», а в третий — «Фауст».

— А какой объективной причиной можно оправдать двухнедельный прогул?

— Инна была не одна. Все поклонницы Сержика ездили в Ленинград, чтобы преподнести ему на гастролях цветы.

— Кто, кто ездил?

— Вы зря улыбаетесь. У Шаляпина тоже были поклонницы. Это идет с давних времен.

Правильно, в давние времена существовали и поклонники и поклонницы. В категорию театральных кликуш входили истеричные гимназистки, богатые бездельницы. Но ведь сейчас другое время. Теперь и артисты не те и молодежь не та.

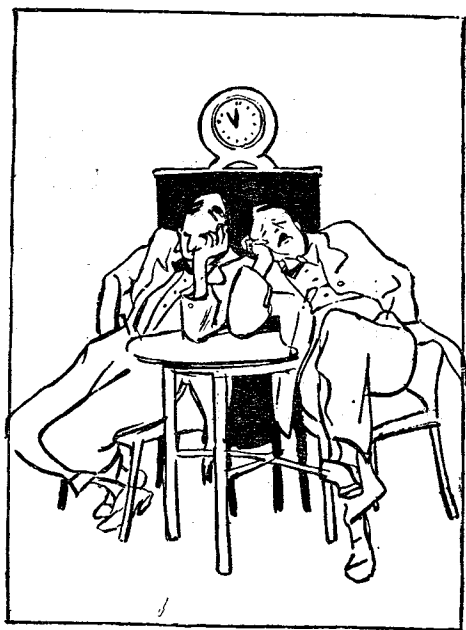
Я смотрю на подружек Инны и не понимаю. Все они неплохие девушки. Чертежницы, студентки, конторские работники. Среди них есть и комсомолки. Вокруг этих девушек тысячи интересных дел, а они целыми сутками торчат в театральном подъезде только затем, чтобы лишний раз поплодировать Сержику.

— Это болезнь возраста, — сказала старшая из подруг Инны, когда все другие девушки, попрощавшись, вышли из комнаты. — Я сама была несколько не лучше Инны. Не ходила в школу, позже убегала с работы в оперу. У меня в коллекции есть даже калоша с моно-

граммой Сержика. А вот прошло три года — я стала умнеть. Теперь я хожу в театр как нормальный зритель. Подождите, придет время — Инна тоже излечится от своих увлечений.

Ждать три года... Не много ли? Может быть, лечение можно провести и в более короткие сроки? В самом деле, а что, если комсомольскому комитету Большого театра собрать всех завсегдаев театрального подъезда и объяснить им, что коллекционирование фотографий и налош никакого отношения к искусству не имеет, что это самая настоящая блажь, достойная истеричных гимназисток, а не советских девушек. А докладчиком на это собеседование можно бы пригласить такого авторитетного в театре человека, как Сержик. Кто-кто, а ведь он испытывает больше всего неудобств от чрезмерного обожания секты одержимых.

1951 г.



В «Листок
Народного
Контроля»



Туфли

Утром, когда до начала работы оставался всего час, Наталье Павловне стало плохо.

— Минуточку, — сказала она мужу и, чтобы не упасть, схватилась за косяк двери.

Муж, Василий Васильевич, подхватил жену, посадил ее на стул. Мужу было и жаль жену и досадно. У женщины серьезный недуг, ей прописан щадящий режим, а она, словно девочка-подросток, как только увлечется чем-нибудь, так сразу забывает о больном сердце. Вот вчера жена легла спать в одиннадцать вечера, а через час, в двенадцать, вскочила с постели и просидела за чертежной доской до четырех утра. Ей, видите ли, хорошая мысль пришла в голову! Правильно, мысль хорошая. Дом, который проектирует Наталья Павловна для нового района, получается занятным. И тем не менее Василию Васильевичу непонятно, почему хорошие мысли должны приходить в голову его жене не днем, в часы, отведенные для работы, а посреди ночи.

Сам Василий Васильевич любит в работе порядок, размеренность. Когда Василию Васильевичу встречаются люди неорганизованные, неаккуратные, те, которые живут и работают по настроению, он обычно говорит:

— Нет, бог миловал: я не из их шайки.

А Наталья Павловна, к сожалению, была из «их». У нее сердечный приступ, а она роется в сумочке, шарит по карманам халата — ищет лекарство.

Наталья Павловна страдает стенокардией второй год, поэтому Василий Васильевич знает, как вести себя во время приступа болезни. Он делает сначала все, что требуется правилами первой помощи. Дает лекарство, открывает окно, звонит в «неотложку». Потом начинает делать то, чего не требуют правила. Гладит жене руку, целует ее в голову.

В парадном раздается звонок. Приходит доктор. Анна Петровна — милая, приветливая женщина. Она щупает у больной пульс и сразу устремляется на кухню кипятить шприц. Больной нужно сделать укол, а у доктора нет стерильного инструмента. Доктор уже не кажется Василию Васильевичу милой, приветливой. «И эта из той же шайки!..» — мрачно думает он и кричит на кухню:

— Доктор, больной плохо! Подойдите.

А доктор все еще роется в своем чемоданчике, ищет спички.

— Господи, куда же я сунула коробок?

Василий Васильевич зажигает газ, кипятит шприц, а доктор бежит к больной, прикладывает к ее груди трубку.

— Дышите! Не дышите!

Доктор выслушивает больное сердце, закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Но вот глаза доктора открываются, и доктор видит на ногах больной туфли. Светло-бежевого цвета. На тонком высоком каблуке, с тонким длинным носком. И хотя доктор продолжает выслушивать больную, говорить ей те же слова: «Дышите! Не дышите!», думает теперь доктор уже не о больной, а о ее туфлях.

— Везет же людям!

Больная перестает дышать, спрашивает:

— Вы о чем, доктор? О моем сердце?

— Нет, о туфлях. Какие они миленькие!

Тут доктор вспоминает, куда и зачем она пришла, и ей становится неловко.

— Простите, ради бога, — говорит она больной. —

Это я не нарочно. У меня сорвалось с языка. Как, прощаете?

— Да, — говорит больная и слабо улыбается.

И хотя сердце у Натальи Павловны болит и ноет по-прежнему, ей, однако, приятно, что доктору понравились ее новые туфли. Муж даже не заметил, не обратил внимания на них, а вот посторонний человек, доктор, одобрила ее вкус, выбор.

А посторонний человек, доктор, продолжает выслушивать больную. Она снова закрывает глаза, чтобы сосредоточить внимание только на больном сердце, но сосредоточиться доктору уже не удается. Доктор думает и о сердце больной и о ее новых туфлях одновременно.

— Это у вас давно? — спрашивает доктор.

— Что, туфли?

— Нет, стенокардия.

— Полтора года.

— Небось, и ноге удобно?

— Очень.

— Откройте рот.

Больная открывает рот. Доктор смотрит на язык, спрашивает:

— Сколько заплатили?

— Двадцать пять.

— Всего? — говорит доктор и начинает прощупывать у больной живот.

Сначала доктор обследует печень, потом ищет селезенку. Лицо доктора сосредоточивается, замирает. Доктор хочет что-то сказать и не решается. Больная настораживается:

«Неужели доктор нащупал в печени злокачественную опухоль?»

Больная пробует прочесть ответ на лице у доктора, а оно словно каменное.

— У меня что, рак? Да вы говорите, не бойтесь, — шепчет Наталья Павловна, и лоб ее покрывается холодным потом.

Доктор набирается сил и тоже почему-то шепотом спрашивает:

— А можно? Вы разрешите?

— Что?

— Примерить ваши туфли?

— Уф! — облегченно вздыхает больная и сбрасывает с правой ноги туфлю на пол.

Доктор тотчас бросает мять печень, надевает туфлю и идет от постели до двери. Обратное. И снова до двери.

В дверь просовывается голова Василия Васильевича.

— Шприц уже прокипятился.

Доктор говорит «Спасибо» и бежит на кухню: одна нога на каблучке, вторая — в чулке.

— Что это с ней? — спрашивает Василий Васильевич.

— Ничего, — отвечает жена. — Доктору захотелось примерить мои туфли.

— Доктор что, сумасшедшая?

В это время доктор, простучав каблучком по кафельному полу кухни, влетает в комнату, вытаскивает из чемоданчика какую-то ампулу, легко, двумя пальчиками отламывает головку, наполняет шприц лекарством, и все это носясь по комнате в одной туфле. Сторонник порядка и размеренности смотрит, удивляется, а потом, махнув рукой, идет на кухню поругаться на свободе.

А доктор, сделав укол, прячет шприц и спрашивает больную:

— Ну как?

— Хорошо.

— А мне не очень.

— Почему?

— Обидно. Не то я вчера купила, — говорит доктор и, сняв чужую туфлю, надевает свою.

Больная бросает взгляд на ногу доктора и замирает. Как не «то»? Это было именно «то». Те самые туфли с усеченным носком, которые Наталья Павловна две недели искала в магазинах, не нашла и купила взамен остроносые. А доктор нашла усеченные. И цвет усеченных тот, о котором мечталось. Горчичный. От обиды Наталья Павловна даже застонала. Доктор подбегает, спрашивает:

— Что с вами?

— А вы не будете смеяться?

— Нет!

— Разрешите померить вашу туфлю?

Доктор снимает туфлю. Наталья Павловна надевает ее. Доктор подхватывает больную под руку и осторожно ведет ее от постели до двери. Обрато. И снова до двери. И больная идет. Одна нога в туфле с усеченным носом, другая — в чулке. И на лице больной и на лице доктора сияет неподдельное счастье.

А в дверях стоит Василий Васильевич и с удивлением смотрит на женщин. Муж думал, уходя на кухню, что он оставил в комнате одну сумасшедшую, а их, оказывается, было две.

— Что вы делаете?

— Меняемся туфлями.

Женщины говорят и как ни в чем не бывало садятся друг против друга. Доктор надевает туфли светло-бежевого цвета, больная — горчичного. Затем женщины делают еще один круг по комнате, мило прощаются, расходятся в разные стороны. Доктор, хлопнув парадной дверью, бежит на следующий вызов, больная подходит к мужу.

— Не сердись. У меня уже ничего не болит. Мне легче.

Муж берет руку жены, нащупывает пульс. Сердце и в самом деле бьется ровно, без перебоев. Что же оказалось на него такое молниеносное целебное действие? Неужели туфли цвета горчицы? Василий Васильевич смотрит в счастливые, смеющиеся глаза жены и разводит руками:

— Ничего не понимаю.

— Был бы женщиной, понял бы, — говорит Наталья Павловна. И, свернув в трубку проект нового дома, спешит к метро. Времени до начала работы остается у нее в обрез. Только-только добежать до табельной доски.

1963 г.

Кривая душа

«Константин Николаевич Каменский с супругой имеют честь пригласить вас на бракосочетание своей дочери Ани. Венчание состоится в церкви по Обыденскому переулку, в четыре часа дня. Обед в доме родителей невесты, в шесть».

Отец невесты назначил свадьбу на воскресенье. И вдруг в субботу, когда гости были уже приглашены, жениха совершенно неожиданно вызвали к секретарю райкома комсомола и предложили выступить в клубе с докладом.

— Когда? — спросил жених.

— Завтра, в четыре дня.

— В четыре не могу.

— Почему?

Жених замялся. Сознаться, сказать секретарю правду, что завтра в четыре он, внештатный пропагандист райкома, будет стоять под венцом в церкви, было Михаилу Постникову совестно, и Михаил, человек доселе правдивый, впервые в жизни соврал.

— Завтра в четыре, — сказал он, — мне нужно быть на вокзале, чтобы проводить двоюродную сестру в Оренбург.

— Хорошо, — ответил секретарь, — мы перенесем начало собрания на два тридцать, так что к четырем ты вполне успеешь сделать доклад и добраться до вокзала.

— А если поезд отправится не в четыре, а раньше?

— Раньше расписания? Такого не бывает.

Постников и сам понимал, что такого не бывает, но что делать? Ему нужно было придумать какую-нибудь отговорку, чтобы не делать завтра доклада, а отговорка не придумывалась, и жених стал тогда успокаивать себя: «Ничего, как-нибудь обернусь».

Для того чтобы обернуться, Михаилу Постникову пришлось читать доклад галопом и галопом же мчаться от Крестьянской заставы в Обыденский переулок. В три минуты пятого, запыхавшись от быстрого бега, красный, потный, он был на месте.

— Вы еле дышите. Что случилось? — заволновались гости.

Ну как сказать им, старикам и старушкам, что он опаздывал к венчанию, потому что делал доклад по заданию райкома?

И Михаил на ходу сочинил новую ложь:

— У меня был легкий сердечный приступ. Но вы не беспокойтесь, все уже прошло.

Михаил посмотрел на Аню, поверила ли она ему? Да, поверила. Тут как будто можно было бы и успокоиться, а Михаил покраснел еще больше. Михаилу стало совестно, что он начинает свою семейную жизнь со лжи. А ведь ложь была не только в том, что дважды за сутки Михаил Постников сказал неправду: про отъезд двоюродной сестры и про сердечный приступ. Ложью было и то, что он, комсомолец, стоял сейчас перед алтарем.

Вскоре началось богослужение. Жениха и невесту водили по церкви, ставили на колени, о чем-то спрашивали. А жених ничего не слышал, ничего не видел. Он думал только об одном:

«Зачем я здесь? Разве я верю в бога? Нет! Может быть, в бога верит Аня? Тоже нет! Так что же нас заставило прийти сюда? Ничего, кроме глупости и легкомыслия».

А эта глупость получилась нехитрым способом. Невесте хотелось устроить свадьбу как-то по-особенному.

— Ну, не так, как все, — сказала она и добавила: — Давай обвенчаемся.

Вместо того, чтобы сказать «нет», он сказал:

— Давай.

Они тогда даже не подумали, что идут на сделку со своей совестью.

— Какая сделка? Это же не всерьез, — успокаивали себя молодые. — В церкви просто интереснее. Там поет хор, горят свечи, машут кадилом...

Им было всего по девятнадцать лет, их легко можно было удержать от неверного шага. Но его мать, Марина Михайловна, не стала препятствовать сыну. Марина Михайловна была женщиной верующей, и затея пришлась ей по душе.

Неверный шаг мог предупредить и отец невесты. Константин Николаевич был убежденным безбожником, и, пользуясь правом отца и будущего тестя, он должен был прикрикнуть на молодых:

— Что, в церковь? Ни в коем случае!

Но тесть-безбожник оказался не на высоте. Константин Николаевич не запретил, а поощрил затевавшуюся благоглупость. Отец невесты думал, что с помощью

церкви он крепче привяжет зятя к своей дочери. И он сказал зятю:

— В бога я не верую, но против таинства церковного брака не возражаю.

К этому таинству Константин Николаевич готовился активнее всех прочих родственников. Он купил молодым обручальные кольца, заказал дочери подвенечное платье, сочинил текст свадебного приглашения.

И вот дочь Константина Николаевича в белоснежном платье стоит рядом со своим женихом в церкви. Венчание идет по давно заведенному порядку. Горят свечи, священник надевает на палец невесты толстое золотое кольцо. Руку можно уже опустить, но невеста все еще держит ее на весу. Невеста находится в каком-то полувменяемом состоянии. И это вовсе не от счастья, как могло показаться со стороны. Он и она студенты второго курса юридического факультета. И этим студентам приходится сейчас повторять вслед за священником чужие и непонятные им слова святого писания. Им нестерпимо стыдно. И ей и ему страшно оторвать глаза от пола и оглядеться вокруг. А что, если рядом стоят и смотрят на них университетские товарищи? Ну как объяснить им тогда этот нелепый маскарад?

«Нет, лучше провалиться сквозь землю, чем такой позор», — думает невеста. Она наполовину приоткрывает левый глаз, воровски оглядывается и успокаивающе шепчет Михаилу:

— Никого.

И хотя никто из университетских товарищей в церкви не был и акт венчания остался в тайне, это несколько не успокаивало молодоженов. Они ходили в университет, болтали между лекциями с товарищами, а на сердце у каждого было очень беспокойно. Молодые супруги чувствовали свою вину перед студентами. Им хотелось облегчить душу, прийти и рассказать друзьям о происшедшем. Главное, и случай для этого вскоре подвернулся подходящий: Аня подала заявление о приеме в комсомол. Перед самым собранием она пришла к отцу и сказала:

— Я хочу признаться в своей ошибке.

— Ни в коем случае, — ответил Константин Николаевич, — это может отразиться на твоём будущем.

Дочь послушалась отца и промолчала. Через полгода к Константину Николаевичу пришел за советом зять. Городской комитет комсомола предложил Михаилу Постникову (он был теперь членом лекторской группы горкома) подготовить доклад на антирелигиозную тему.

— Как, согласен? — спросил руководитель группы. Постников смутился.

— Ты что, не надеешься на свои силы?

— Я дам вам ответ завтра, — ответил Постников, а про себя подумал: «Сил у меня, конечно, хватит, я сомневаюсь, есть ли у меня право выступать с таким докладом перед молодежью». «Нет, — решил он по дороге домой. — Надо прийти завтра в горком и сознаться в своих грехах».

— Сознаться? Ни в коем случае, — сказал Константин Николаевич. — Это может повредить твоему будущему.

Честное признание ошибок идет не во вред, а на пользу будущему и настоящему каждого человека. К сожалению, Михаил Постников не внял зову своей совести, последовал совету тестя. И хотя Михаил подготовил неплохой доклад, читал он его молодежи с какой-то внутренней неловкостью.

Эту неловкость внештатный лектор ощущал не только на трибуне, но и в своей семье. Три года Михаил Постников вел активную пропагандистскую работу в комсомоле, и за это время лектор-антирелигиозник ни разу не поговорил со своей родной матерью о ее религиозности. Мать крестила сына на ночь, благословляла, когда он шел на экзамен, и сын безропотно подставлял свою голову под благословение.

— Я не хотел обижать старушку, — оправдывается он сейчас.

Уж не такая старушка мать внештатного пропагандиста! Марине Михайловне Постниковой всего сорок семь лет. Это человек с высшим образованием, кандидат исторических наук. И не потанать матери в ее религиозных причудах должен был сын-комсомолец, а спорить, разубеждать.

Но сын не спорил:

— Неловко.

Рядом с Постниковым в той же квартире жили два его племянника: Женька и Санька. Постников знал, что бабушка таскает и Женьку и Саньку в церковь, слышал, как она забивает мальчишкам головы ересью, и ни разу с ней не поругался. И все по той же причине. Он боялся, что бабка скажет:

— А ты сам?

Так одна неправда тянула за собой другую. Постников отмалчивался дома, в разговоре с товарищами, на комсомольском собрании. И пусть разговор на этом собрании шел совсем не о церкви, а о каком-нибудь двоичнике или заурядном лгуне-обманщике, Постников старался не брать слова в прениях. Зачем обострять отношения со студентами?

Внешне, со стороны, все как будто бы было по-прежнему. Учился Постников отлично, в лекторской группе продолжал считаться одним из лучших докладчиков, а в действительности этот лучший уже давно был не тем, за кого его принимали.

Жена Постникова не понимала переживаний супруга. Аня давно успела забыть о своем грехе перед комсомолом. Ну, было и сплыло. Мише хотелось поругаться с женой, накричать на нее, назвать пустышкой, но он сдерживал себя.

— А сам-то я разве лучше?

Сделка с собственной совестью не прошла для Постникова безнаказанно. Прежде он лгал вместе с женой, потом он стал лгать и ей. Стал ухаживать за ее подругой. Молодая семья разваливалась на глазах. В этой семье не было уже ни любви, ни уважения. На людях молодые супруги были любезны, улыбались, а дома ругались, оскорбляли один другого.

— Обманщик.

— А сама-то ты лучше?

И вот, когда супруги рассорились окончательно, Константин Николаевич Каменский пришел в комсомольскую организацию университета.

— А знаете ли вы, что Михаил Постников венчался в церкви?

Константин Николаевич сделал свое запоздалое заявление не для того, чтобы помочь комсомольцу Постникову осознать свои ошибки. Действиями Константи-

на Николаевича, к сожалению, руководили другие, менее красивые соображения: тесть просто-напросто мстил своему зятю за развод. Комсомольцы юридического факультета очень внимательно разобрались в деле Постникова и решили исключить его из организации. И хотя решение комсомольцев было суровым, Каменского оно не удовлетворило.

— Нет, я не оставлю этого так, — сказал он. — Я добьюсь своего. Я испорчу Постникову будущее.

С этим Константин Николаевич и пришел к нам в редакцию.

— Помогите мне исключить Постникова из университета. Это конченный человек.

— Почему же конченный? Этому человеку всего двадцать два года. Его вина, конечно, велика, но он может еще разобраться в своих заблуждениях, прочувствовать их и снова стать честным, правдивым человеком.

Но тесть не верил в исправление зятя.

— Кривая душа, — говорил Константин Николаевич про Постникова. — Он принял таинство церковного брака, будучи членом комсомола. Где же его принципиальность?

Кстати, о принципиальности. Три года назад два молодых человека пошли на сделку с собственной совестью. Константин Николаевич Каменский, вместо того чтобы удержать новобрачных от ошибки, благословил их на ложный шаг. Молодые люди только-только вступали в жизнь, а он учил их кривить душой. И научил.

Константин Николаевич оказался плохим отцом и тестем. И вот сейчас коммунист Каменский ходит и произносит обвинительные речи, предаёт анафеме бывшего зятя.

Нет, уважаемый Константин Николаевич, вы зря рядитесь в тогу прокурора и ищите кривую душу в других. Михаил Постников уже наказан. И вам сейчас самое время сесть и подумать о своей собственной честности и принципиальности.

1952 г.

Т ю ф я к

Все были уже на месте. Истцы, свидетели, ответчики. Ждали только народного судью Александра Степановича Лопаткина. А судья не появлялся. Пять минут, десять, двадцать. Тогда трое добровольцев поднялись с первого этажа на второй, чтобы спросить Лопаткина, не пора ли начать очередной разбор дела. Поднялись и в нерешительности остановились у дверей лопаткинского кабинета. А из-за двери неслась в коридор громкая ямщицкая брань. По замысловатым перебивам этой брани трудно было предположить, что автором многоэтажного строительства является молодая, миловидная женщина. Тогда один из местных жителей сказал мне:

— Зря сомневаетесь, так может лютовать только наша Танечка.

А за дверью между тем слышалась уже не только брань, но и звон разбитой посуды. Сначала легкий хрустальный — это полетели в черепки стаканы из чайного сервиза. Затем звуки стали глуше — в ход, по-видимому, пошла фарфоровая полоскательница. Наконец, судя по тяжелым басовым нотам, дошла очередь и до графина с кипяченой водой.

Добровольцы бросились в дверь, чтобы защитить судью, но миловидная женщина, не прерывая экзекуции, властно, по-хозяйски крикнула в соседнюю комнату сторожу:

— Сюда никого не пускать. Судья занят!

Судья был занят еще довольно долго, но вот наконец Александр Степанович показался в дверях своего кабинета, и в каком жалком виде — оцарапанный, в синяках. Выйти в таком виде в зал судебных заседаний Александру Степановичу было неловко, и ему волей-неволей пришлось отпустить истцов и ответчиков по домам.

Отменив разбор одного дела, Александр Степанович мог бы тут же назначить разбор другого: по обвинению Танечки в хулиганских поступках... Но Александр Степанович Лопаткин не стал сажать Татьяну Ивановну Лопаткину на скамью подсудимых. Муж пожалел жену.

— Мы разберемся с ней дома. Тихо, по-семейному.

Но Танечка не признавала тихих разговоров. Она не желала делать секрета из семейных неурядиц и при каждом подходящем случае устраивала публичную выволочку супругу на месте его службы. Выволочек было много, и все по одной причине. Из ревности.

Танечка ревновала мужа без всякого на то основания ко всем женщинам районного центра — то к одной, то к другой, то к третьей. Ревновала даже к тем, которых приводили в здание суда под вооруженной охраной.

— Ты почему дал этой особе всего три года? — спрашивала она мужа после судебного заседания.

— Так положено по Уголовному кодексу.

— Ой ли? Небось, шашни.

Утром, как только Александр Степанович отправлялся в суд, Танечка немедленно тасовала карты для гадания.

— А ну, посмотрим, что делается у моего мужа на сердце?

И не дай бог, если рядом с бубновым королем падала трефовая или червовая дама. Танечка тут же срывалась с места и бежала в здание суда к мужу.

— А ну, говори, кто эта дрянь, с которой у тебя намечается бубновый интерес в казенном доме?

В последний раз Танечка устроила скандал супругу из-за секретаря суда.

— Теперь я знаю наверняка, у тебя роман с Анастасией Аристарховной.

— Да кто тебе сказал?

— Екатерина Семеновна! А это человек знающий. Она гадает не только на картах, но и на бобах, снятом молоке, воске, кофейной гуще.

— Танечка! — взмолился судья. — Не верь снятому молоку и кофейной гуще. Ну какие могут быть у нас с Анастасией Аристарховной романы? Мне чуть больше тридцати, а у нее давным-давно и внуки и внучки.

— Ах, ты еще оправдываешься? — сказала Танечка и затопала ножками. — Уволь немедленно Анастасию Аристарховну!

— Не могу, не за что. Анастасия Аристарховна —

прекрасный секретарь суда. Она знает делопроизводство, умеет печатать на машинке.

— Все равно, придержи и уволь.

Танечка кричала, царапалась и довела судью до того, что он решил поступиться совестью и снять с работы ни в чем не повинного секретаря.

Снять, но за что?

И вот судья стал ждать подходящего случая. И такой случай скоро представился. Однажды после очередной истерики, когда Танечка бросила на пол настольную лампу, возмущенный секретарь крикнула судье:

— Уймите эту сумасшедшую!

А судья только беспомощно развел руками.

— Не могу!

— Да кто вы, наконец, — вырвалось у пожилой женщины, — муж или тюфяк?

И эта фраза сотворила чудо. Робкий Александр Степанович вскочил, возмутился. Но не поведением жены, а поведением секретаря.

— Как... Вы назвали меня тюфяком?

И в тот же день судья издал приказ:

«За оскорбление меня в присутствии меня Юсову А. А. с работы освободить».

Но даже судье не так-то легко совершить незаконное. Первым сказал об этом Лопаткину районный прокурор и предложил восстановить секретаря на работе.

— Ни в коем случае, — сказал судья. — Она меня оскорбила.

— Это не оскорбление, а правда. Вам давно пора призвать к порядку свою Танечку.

Но Лопаткин не обратил внимания на слова прокурора. Тогда в дело вмешался областной комитет профсоюза. Но Лопаткин не захотел прислушиваться и к словам профработников. Обком вынужден был передать дело на судью в суд. И судья соседнего, Шиловского района предложил судье Лопаткину отменить свой неумный приказ. Вслед за народным судом такое же решение вынес областной. Лопаткина пробовали вразумлять и работники управления Министерства юстиции по Рязанской области. Сначала один зам. начальника, затем второй, потом сам начальник. Но и этому начальнику не

удалось заставить судью Лопаткина восстановить Юсову в прежней должности — секретаря суда.

— Возмутительно! — говорит районный прокурор. — И куда только смотрит райисполком...

А секретарь райисполкома чешет затылок и оправдывается:

— Танечка, Танечка... А у нас из-за этой Танечки сотворилось деликатное положение. Лопаткин рассорился с Юсовой. И хотя правда на ее стороне, нам приходится делать уважение не ей, а ему.

— Почему же ему?

— Ну, это же понятно. Он по должности работник среднерайонного масштаба, а она технический секретарь.

Должности в районе могут быть разные: маленькие, средние, большие. Но прав и достоинства всем советским людям выдано по Конституции поровну. Что же касается «тюфяков», то взыскивать с них следует, невзирая на лица. И чем выше должность, тем строже.

1956 г.

Сватовство на Арбате

К буфетчице трампарка тете Лизе приехал из-под Курска племянник Костя. Молодой, белозубый, с копной рыжих волос на голове. Поначалу тетка встретила белозубого не очень гостеприимно.

— Ты еще зачем?

Племянник многозначительно улыбнулся. Пять дней назад он прочел «Милого друга» Мопассана и позабавился карьерой Жоржа Дюруа.

— Что, что?

Племянник пробует рассказать тетке о жизни Милого друга.

— Ты что, не женишься ли приехал?

— Да, если ты сможешь найти мне подходящую невесту.

— Это только свистнуть!

И тетка с ходу начинает сватать племяннику невест.

— Вот, например, Ира Дерюгина. Умница, красавица! Или возьми Любу Глушак... А еще лучше Сашу, дочь Марьи Антоновны.

— А она кто, эта Марья Антоновна?

— Вагоновожатая из нашего парка. Хочешь, познакомлю?

Саша, дочь вагоновожатой, — это, конечно, не Сюзанна, дочь парижского банкира, на которой женился Милый друг, но...

«Начинать с кого-то нужно», — думает белозубый Костя и говорит тете:

— Хорошо, знакомь, только по-быстрому. Со всеми невестами сразу.

Что ж, раз племяннику не терпится, пусть будет по-быстрому, решает тетя Лиза и устраивает вскладчину коллективные смотрины. Каждая девушка, которой хотелось попытаться счастья и познакомиться с белозубым Костей, вносила тете Лизе на вино и закуску по пять рублей. Повела в гости к тете Лизе свою дочь Сашу и Марья Антоновна.

— Чем черт не шутит, может быть, что-то и получится?

И что-то получилось.

— Хотя на смотрах были невесты и покрасивее, — рассказывала много времени спустя в редакции Марья Антоновна, — гость из-под Курска выбрал все же мою Сашу.

— Почему?

— Так ведь у Саши московская прописка.

— Как, неужели жених заглядывал в паспорт вашей Саши?

— Конечно, Костя — человек обстоятельный.

Обстоятельность Кости пришлась по душе будущей теще, но, к сожалению, не насторожила будущую жену. А ведь Саша была комсомолкой, училась в заочном педагогическом институте.

До появления белозубого Кости самым близким другом Саши Ворониной был Саша Клепиков. Соседи так привыкли к этому другу, что звали его Сашиным Сашей. Сама Саша тоже привыкла к Саше и все ждала, когда он пригласит ее в загс. А он с загсом не спешил.

И не потому, что не любил Сашу, а потому, что тоже был обстоятельным. Однако обстоятельность Сашиного Саши была иного свойства, чем у Кости. У Сашиного Саши было восьмиклассное образование, и он хотел иметь высшее и еще в 1960 году составил личную семилетку: два года потратить на окончание вечерней школы и пять лет посвятить институту.

— Дай мне стать на ноги, — говорил Саше Саша. — Получу диплом инженера, и тогда мы поженимся.

Саша поначалу согласилась, но потом заскучала. А тут на горизонте появляется белозубый Костя и приглашает Сашу в театр. Сашин Саша в тревоге.

— Не ходи, — просит он Сашу, — четыре года ждала, подожди еще три! Вот получу я высшее образование...

А ей ждать надоело. Женятся же люди и без высшего образования, и ничего: живут счастливо, рожают, воспитывают детей. В этот четверг Саша Воронина идет с белозубым Костей в театр, а в следующий — в загс.

Паспортистка ЖЭКа пыталась открыть глаза Саше и отказалась записывать в домовую книгу белозубого Костю. Уж очень подозрительным показался ей этот ускоренный брак. А Саша и ее мать Марья Антоновна устраивают паспортистке скандал, идут с жалобой в милицию, на прием к депутату и добиваются своего. Как только в паспорте Милого друга появляется штамп о прописке, так молодой супруг тут же перестает симулировать любовь и внимание к молодой супруге. Больше того, он идет к тете Лизе с претензией.

— Не ту жену ты мне сосватала. Квартира у нее однокомнатная! Передняя тесная! Санузел совмещенный!..

— Что ж, давай переженю! У меня и невеста есть на примете подходящая.

— Опять дочь вагоновожатой?

— Вдова директора магазина гастрономии и бакалеи. У нее и передняя побольше и санузел раздельный.

И вот Костя идет в гости к вдове. Вдова выходит навстречу жениху в новом платье, в модной прическе. А Костя даже не смотрит на прическу. Он говорит «Здравствуйте!» и отправляется в обход по квартире. Сначала осматривает места общего пользования, потом

интересуется расположением комнат. Закончив осмотр, Костя задает вдове вопрос:

— Где работаете? Сколько получаете?

— Я не работаю. У меня сберкнижка.

Костя проверяет сумму вклада и впервые в этот вечер улыбается. Вдова в порядке. Есть полный расчет менять однокомнатную жену на двухкомнатную.

Белозубый Костя приехал в Москву искать легкого счастья. Нелли Гусева приехала учиться. Сдала Нелли приемные экзамены на три «двойки» и две «тройки». Ей нужно возвращаться домой, а она не едет.

«Хочу поработать в библиотеке МГУ», — пишет она матери в Свердловск.

Но вместо библиотеки Нелли зачастила в сквер на Арбатской площади. Придет, сядет на скамейку. Не в той стороне сквера, где под присмотром нянь и мам играют дети, а в той, где режутся в «козла» папы и дедушки. Раскроет Нелли кружевной зонт и сидит над книжкой, как рыбак над удочкой, ждет, не клонет ли. И клюнуло. Один из чемпионов козлодрания прельстился смиренным видом юной отроковицы. Два дня он любовался ею издалека, а на третий подошел, представился:

— Коськов-Португалов.

— Нелли.

— Разрешите сесть рядом?

Нелли разрешила и спросила:

— Хотите пообщаться?

— Это что значит?

— Общаться — значит дружить, — объяснила Нелли и добавила: — Я согласна дружить с вами, если только вы скрепите эту дружбу законным браком.

— Ну, конечно же! — сказал Коськов-Португалов и повел девушку под белым кружевным зонтиком в загс.

Заведующая загсом, нужно отдать ей должное, бросив взгляд на жениха, отказалась регистрировать его брак.

Жених возмутился, стукнул кулаком по столу.

— Я пенсионер областного значения!

Коськов-Португалов не только стучал кулаком, он ходил в собес, на прием к депутату, доказывал, что Конституция страны не устанавливает предельного возраста для женитьбы пенсионеров, поэтому он просит оказать

ему содействие в бракосочетании с двадцатилетней Нелли. В Конституции и в самом деле ничего не говорилось о предельном возрасте женихов, тем не менее ни собес, ни депутат не пожелали оказывать жениху-пенсионеру содействие. Тогда пенсионер отправился к врачу-эндокринологу и принес в загс справку: «Податель сего, несмотря на преклонный возраст, обладает жизнедеятельностью человека сорока лет. Брак ему не противопоказан».

Коськов-Португалов добился своего.

Поздний брак не принес, однако, счастья жениху областного значения. Через месяц после свадьбы Коськов-Португалов, возвращаясь с арбатского сквера после затянувшейся партии в «козла», видит, как его молодая жена, прощаясь, целуется в дверях квартиры с неизвестным молодым человеком. Коськов-Португалов от обиды даже заплакал. А Нелли успокаивает его:

— У Манон Леско тоже были слабости, и кавалер де Грие прощал их ей.

Еще через месяц Нелли целовалась со своим любезным не только в отсутствие мужа, но и в его присутствии. Коськов-Португалов попробовал поучить жену ремешком, но разве старому, пусть даже вооруженному справкой врача-эндокринолога, одолеть молодую?

Что делать? Идти в собес, к депутату, просить их о помощи? Стыдно! И Коськов-Португалов бежит из собственного дома. Нелли стала жить одна в однокомнатной квартире. Четыре года назад она родила сына. За эти четыре года сын и четырех месяцев не прожил с матерью: то его из жалости приютит одна соседка, то другая.

Маме Нелли возиться с сыном некогда. Днем она спит, а вечером и ночью поет, танцует. Работник детской комнаты милиции спросил как-то сына Нелли Гусевой: «Кто твой папа?» (Может, удастся найти этого папу, заставить его взяться за воспитание ребенка?) И мальчик ответил:

— Мой папа — дядя Витя.

— Какой дядя Витя, директор гаража?

— Дядя Витя, директор гаража, был папой в прошлом году, а в этом мой папа — дядя Витя — работник речного пароходства.

Нелли Гусева трижды привлекалась к суду за аморальное поведение. Первый суд лишил ее родительских прав, второй предложил заняться общественно полезным трудом. И так как Нелли не пожелала внять добрым советам, третий суд выселил ее из Москвы.

Так бесславно закончилась карьера Манон Леско из Свердловска. Что же касается Милого друга из-под Курска, то он целый год занимался пополнением своего гардероба. Квартирова у вдовы, Милый друг за счет сбережений покойного директора магазина гастрономии и бакалеи сшил себе три пальто (зимнее, осеннее и летнее), пять костюмов (три темных и два светлых). В тон костюмам он приобрел дюжину сорочек (три московшвеевских, три венгерских, три польских, три немецких). Вдова вела обновам поштучный учет. Она делала покупки, надеясь, что, как только будет оформлен развод с Сашей Ворониной, белозубый Костя женится на ней. А он женился на Гале Кишкиной. У Галиного папы трехкомнатная квартира и три десятка деловых знакомств. Милый друг надеется с помощью этих знакомств сделать карьеру, выгодно устроиться на железной дороге. Нет, не министром. Эта должность очень хлопотная. И не начальником дороги. У этих тоже много хлопот. Мечта Кости — стать директором вагон-ресторана. И он, конечно, станет им, и, конечно же, проворуется, и отправится вслед за Нелли в отдаленные районы Красноярского края.

Этот фельетон не о преступлении и наказании. Я пишу о подлости и доверчивости. И Костя и Нелли — люди весьма примитивные. С первого же взгляда, по первой же фразе каждому ясно, что перед ним прохвосты.

Разве Сашу Воронину, Сашину маму Марью Антонову и почтенного Коськова-Португалова не предупредили об этом? А они вместо того, чтобы сказать спасибо, стучали на работников загса и паспортисток кулаками. С непонятным упрямством они ходили, жаловались, добивались права сунуть голову в петлю, породниться с прохвостами. И вот породнились, покалечили себе жизнь: молодые в самом начале ее, а старики — на закате.

1964 г.

Персональный катафалк

У Василия Терентьевича Сошникова не было персональной машины, и это обстоятельство сильно угнетало его.

«Ну будь бы я заведующим горно или начальником горпочтамта, — думал он, — было бы не так обидно. А то завкоммунхозом, хозяин чуть ли не всего города, и на тебе, ходи пешком или едзи за пятак, как самый заурядный пассажир, на подведомственном тебе автобусе».

И хоть бы ездить на автобусе с самого начала. А то нет. Три года Василий Терентьевич пользовался лично к нему прикрепленной «Победой». Он привык к ее светло-кремовому цвету, к ее номеру «33-25», к тембру ее гудка. Машина стала частью самого Сошникова. Чем-то вроде руки или ноги. И вдруг полгода назад горсовет в целях экономии лишил Сошникова светло-кремовой «Победы», передав ее в парк общего разгона. Уж лучше бы Василию Терентьевичу лишиться руки.

Первым рассорился с ним брат Леня, потом стала дуться жена Клавдия Михайловна, точно он, Сошников, придумал этот самый режим экономии. Весь распорядок в доме пошел сикось-накось. К нему, главе дома, ни почтения, ни уважения. Все грубят, огрызаются.

— Нужно тебе куда-нибудь поехать, — сказал как-то жене Василий Терентьевич, — возьми такси.

— Такси? С какой стати, если у тебя в распоряжении весь автотранспорт города?

Весь? А что делать, если весь этот транспорт общественный, а не персональный? Снять с линии автобус? Сейчас же поднимется скандал. У каждого автобуса свой план пассажироперевозок.

«Может, воспользоваться услугами машины «Скорой помощи»? А что ж, это мысль», — подумал Василий Терентьевич и стал вызывать к подъезду «Скорую помощь».

Две недели все шло как будто бы нормально. Василий Терентьевич под вой аварийной сирены пересекал несколько раз в день город в различных направлениях. Но вот в начале третьей недели произошла неприят-

ность. В приемный день с кем-то из посетителей горсовета случился сердечный припадок. Председатель звонит в «Скорую помощь»:

— Пришлите врача, машину.

А машины нет на месте. Брат Сошникова Леня еще с утра угнал ее в село за картошкой. И привез-то он всего полмешка. И вот за такую мелочь завкоммунхозом получил «на вид».

В общем, от услуг «Скорой помощи» Василию Терентьевичу пришлось отказаться. А как быть дальше? Неужто и в самом деле ходить на виду у всего города пешком?

— Вы не стесняйтесь, — сказал завгар, — звоните, вызывайте при надобности дядю Гришу.

Дядя Гриша был водителем автобуса. Но не обычного, а специального назначения. В отличие от других машин кузов дяди-Гришиного автобуса был обведен черной траурной каймой.

— Дядю Гришу?

Василий Терентьевич хотел даже выругать завгара за такое издевательское предложение. А потом спохватился, подумал:

«А что ж, это идея. Город у нас небольшой, степной. Народ живет крепкий, здоровый. Дяде Грише приходится делать в день не больше одной-двух ездов. А в остальное время суток дяди-Гришина машина находится в простое. Но если дяде Грише нельзя увеличить количество ездов за счет граждан усопших, почему не сделать это за счет здравствующих?»

И завкоммунхозом стал позванивать в гараж:

— Дядю Гришу к подъезду.

Делалось это вначале вполголоса, стыдливо. Утром дядя Гриша доставлял Сошникова на работу. Вечером — назад. Для того, чтобы не волновать тещу, — что с нее взять: человек отсталый, суеверный! — Василий Терентьевич никогда не подъезжал на своей машине к самому дому. Он заставлял дядю Гришу останавливаться на углу.

Но дальше — больше. Сошников привык к дяди-Гришиному экипажу и как-то вечером решил даже поехать на нем в театр, посмотреть «Сильву». Но тут закапризничала жена Василия Терентьевича, Клавдия Михайлов-

на. И ведь что удивительно. Человек кончил в свое время десять классов, а кругозор у нее такой же, как у старушки матери.

— Я с дядей Гришей не поеду!

— Милая, стыдно, — говорил ей Сошников. — Это же предрассудок. Родимое пятно проклятого прошлого.

И нужно отдать должное мужу. С его помощью Клавдия Михайловна довольно успешно преодолевала в себе пятна прошлого. Сначала робко, а потом все смелее и смелее она забиралась в кабину дяди Гриши, и к концу месяца автобус специального назначения стал раз по десять в сутки появляться то в одном, то в другом конце города.

Жители Михайловки заволновались. Что происходит в городе? Эпидемия? Мор? Оказывается, нет. Просто-напросто Клавдия Михайловна Сошникова шьет себе новое платье. А гону здесь, сами понимаете, немало. То к портнихе, то в магазин за кружевом, то к маме за консультацией.

И все же подвела Василия Терентьевича не портниха, а его любовь к легкой музыке. Ресторан «Дунай» пригласил к себе месяца два назад небольшой оркестр. Две скрипки, баян, контрабас и гитара. А у этого оркестра в репертуаре отрывки не только из «Сильвы», но и из «Марицы», «Трембиты», «Золотой долины». И Василий Терентьевич зачастил в «Дунай». И не то чтобы человек спился, разложился. Нет. Ездил Сошников в ресторан не с чужой женой, а со своей. Иногда брал даже брата Леню. Приедут, сядут за столик, закажут на каждого по порции сосисок, возьмут на троих одну бутылку портвейна и сидят, слушают попури из Кальмана, Дунаевского, обмениваются впечатлениями.

А в десять часов за ними к ресторану подъезжает дядя Гриша и дает протяжным гудком сигнал: «Я здесь».

А от этого сигнала у завсегдатаев «Дуная» падало настроение. Вместо веселых песенок «Марицы» в голову лезли всякие мрачные философские мысли: ты, мол, пьешь, поешь... А он уже стоит, дожидается тебя.

Сам факт того, что дяди-Гришин автобус дежурит за окном ресторана, так сильно действовал на завсегдатаев, что они стали реже бражничать. Кривая посещает

мости пошла книзу не только в «Дунае», но и в «Терекке», «Маяке».

Суббота. Раньше в Михайловке в такой вечер никуда, бывало, не протолкнешься. А теперь — милости просим. На эстраде играет салонный оркестр, а в зале занято всего пять-шесть столиков.

Среди директоров ресторанов поднялась паника. Что делать? Сказать завкоммунхозом, чтобы он не ходил в «Дунай» есть сосиски, неудобно. Поджечь дяди-Гришин автобус боязно.

На помощь рестораторам пришел завгорфо Январев. Завгорфо взял и написал жалобу в горсовет.

— Ну, все, — говорили в Михайловке. — Теперь Сошникову уже не уйти от наказания. Теперь ему обязательно дадут выговор.

— Еще бы, это же аморально. Гонял похоронный автобус по ресторанам. Злоупотреблял служебным положением.

Сошникову дали больше чем выговор. Завкоммунхозом с позором сняли с работы, но не за «персональный катафалк», а, как написал секретарь горсовета в протоколе, «за халатное отношение к служебным обязанностям и плохое обеспечение горжилфонда дровами в отопительном сезоне текущего года».

1957 г.

В ожидании сына

Маматумар Азизов женился всего год назад, и вот теперь, в связи с ожидающимся прибавлением в семье, молодой муж очень волновался. По два раза на день бегал он в родильный дом и донимал дежурного врача одним и тем же вопросом:

— Ну, как, доктор, родился он или еще не родился?

И не то на третий день, не то на четвертый доктор наконец сказал:

— Все в порядке, Маматумар. Поздравляю. Были вы до сих пор молодым, счастливым мужем, теперь стали молодым, счастливым отцом.

И счастливый отец, вспыхнув от смущения, спросил:

— А сколько он весит?

Доктор улыбнулся.

— Кто он?

— Мой сын.

— Какой сын? У вас родилась дочь.

— Разве вам не звонил председатель колхоза?

— Звонки в этом деле не помогают.

— Значит, дочь? — переспросил Азизов, и розовый цвет на его щеках моментально слинял, погас. Молодой отец помрачнел, метнул недобрый взгляд на доктора и выскочил на улицу.

— Ничего, пройдет по воздуху, успокоится, — сказал доктор и, повернувшись к посетителям, сидевшим в приемной, добавил: — Вот увидите, через час прибежит с букетом цветов...

Но Маматумар Азизов не прибежал. Прошел день, второй... пятый... Молодой матери пора с дочкой домой. Она волнуется, а Азизова все нет. Доктор посылает за ним няню.

— Пристыдите этого человека. Скажите, Гульсун ждет его, плачет.

Но Азизов не пожелал говорить с няней. Тогда доктор отправился к упрямому мужу сам. Полдня было потрачено на то, чтобы этот муж сменил гнев на милость.

— Хорошо, — сказал Маматумар, — я помирюсь с Гульсун, но пусть она даст слово, что через год у меня будет сын.

И вот прошел год. И снова Азизов по два раза на день бегал в родильный дом.

— Ну, как, доктор, родился он или еще не родился?

И снова Гульсун родила мужу не сына, а дочь. И этого оказалось достаточным, чтобы муж тут же публично отказался от жены. Доктор и на этот раз пытался взывать к разуму и сознанию Азизова. Но из этого ничего не получилось.

— Нет и нет, — наотрез заявил Азизов и повез жену с ребенком не в свой дом, а в дом ее родителей.

— Заберите свою дочь обратно. Она обманула мои ожидания.

Не прошло и двух месяцев после этих событий, как свадебные звуки дутара и сурнаев оповестили односель-

чан о том, что Маматумар Азизов вводит в свой дом вторую жену, Турсунхон Киргизбаеву. Лиха беда начала. Прошел еще год, и снова пели дутары в доме Азизова. Маматумар женился в третий раз, теперь на Хидаят Мирзакаримовой. Затем в его доме появилась четвертая жена — Тухтохон Юлдашева и, наконец, пятая — Зайнаб Иминова.

Пять свадеб за пять лет. И на каждой свадьбе Азизов говорил гостям:

— Не теряйте надежды. Вы еще придете в этот дом поздравить меня с рождением мальчика.

Азизов ждал сына, а у него что ни год, то новая дочь. А пятая жена, Зайнаб, словно нарочно, родила вместо одной дочки близнецов. Двух крохотных, чудесных девочек. Отец увидел их и крикнул Зайнаб:

— Родить бы тебе лучше лягушек, чем девочек!

Азизов издевался не только над своими женами, бывшими и настоящими. Семь дочерей его при живом и здоровом отце вынуждены были обретаться на каком-то полусиротском положении. Правда, село, где жили эти дочери, далекое. Расположено оно в глубине Узбекской ССР. Но и в этом далеком, глубинном селе были, очевидно, колхозные активисты, комсомольцы, члены партии. Знали ли они о том возмутительном образе жизни, который вел Маматумар Азизов?

Да, кое-кто знал. Что же касается председателя местного колхоза, то он был даже первым гостем на всех свадьбах Азизова. В трудную минуту Зайнаб решила пойти к этому председателю за помощью:

— Азизов выгнал меня с детьми на улицу.

Председатель посочувствовал Зайнаб. Сам бы он, конечно, никогда не сделал такой подлости. Но вот осудить за это Азизова председатель не решился.

— Ваш муж виновен, но заслуживает снисхождения.

— Как, почему?

— Когда в семье нет сына, отец вправе считать себя бездетным.

— Это Азизов бездетный?! А дочки? — сказала Зайнаб. — Вы только посмотрите, какие они у меня красавицы.

Председатель подошел к коляске с близнецами, по-

чмокал губами, улыбнулся, потом повернулся к Зайнаб и, тяжело вздохнув, сказал:

— Эх, если бы хоть одна из ваших девочек родилась мальчиком, никакой ссоры с мужем у вас бы не было!

Зайнаб Иминова училась в советской школе, жила и работала в колхозе, поэтому она пошла со своей жалобой в райком партии.

Секретарь райкома Бабаев был возмущен поведением мужа Зайнаб, и тем не менее он почему-то решил амнистировать его.

— Ну, что с него взять, с этого Маматумара! — сказал секретарь райкома. — Он же рядовой, беспартийный колхозник. Вот если бы Азизов принадлежал к числу ответственных работников, тогда другое дело.

Странное, однако, рассуждение. Неужели райком партии должен воспитывать лишь тех работников, которые значатся в районной номенклатуре? А кто же может простым смертным избавиться от феодальных пережитков? Эти пережитки более живучи, чем думает Бабаев. Или, быть может, Бабаев не слышит звуков дутара и сурнаев, которые оповещают сейчас односельчан о предстоящей шестой свадьбе Маматумара Азизова?

1954 г.

Случайная знакомая

Очень неприятно сидеть весь вечер за одним столом с людьми, которых ты не знаешь, никогда прежде в глаза не видел. Однако отказаться от приглашения было трудно. Инженер Кузьмин оказался весьма настойчивым человеком.

— Нет, вы просто обязаны поглядеть на нее, — говорил он. — Девушке всего девятнадцать лет. Если хотите знать правду, то я пригласил ее только из-за вас.

— Благодарю, — сказал я, замаявшись, — и все же мне придется отказаться от вашего приглашения.

— Вас, очевидно, смущает место встречи?

— Да, и место тоже.

— Я так и знал, — обрадовавшись, сказал Кузьмин. — А вот она смеется над такими условностями. Я пригласил ее в ресторан нарочно. Мне просто было интересно узнать, примет ли она такое приглашение от человека, с которым ей пришлось познакомиться всего три часа назад. Я сказал «Савой» и почувствовал, как покраснел. Мне стыдно было и перед ней и перед самим собой. А она только улыбнулась и спросила, какой джаз играет в этом ресторане.

— Может, было бы лучше пригласить эту девушку в редакцию? Здесь мы и поговорили бы с ней.

— Что вы, разве она пойдет в редакцию?

— А почему бы ей не пойти?

— Ну, во-первых, здесь нет ресторана с джазом, а во-вторых, она почувствовала бы себя в редакционной комнате, как карась на горячей сковородке. Жизнь плавающих надо изучать в воде, а не на кухонном столике.

— Плавающих?

— Совершенно точно. Да вы, наверно, встречали их. Они стоят по вечерам у театрального подъезда с двумя билетами в руках. Один для себя, второй — для подруги. Подруга, конечно, опаздывает к началу спектакля, и девушка любезно предлагает лишний билет приезжему.

Инженер Кузьмин и оказался одним из таких приезжих. Он ехал из Нижнего Тагила в Ялту и задержался всего на два дня в Москве. Вечером Кузьмин пошел в оперу, и так как в кассе был вывешен аншлаги, то он воспользовался любезным предложением девушки и купил билет при входе.

Однако уже к середине второго акта Кузьмину стало совершенно ясно, что дело было не в простой любезности. Театральный билет был для девушки только удобным поводом завязать знакомство. Кстати, сама девушка и не скрывала своих намерений. Она не только разрешила чужому человеку угостить ее в театральном буфете и проводить после спектакля домой, но даже приняла приглашение встретиться с ним на следующий день в ресторане.

Инженера Кузьмина все это так поразило, что он пришел в редакцию поделиться обуревавшим его возмущением.

— Нет, вы непременно должны прийти сегодня ко мне и написать о таких девушках в газете. Они на опасном пути, и каждый из нас просто обязан предупредить их об этом.

Отказать Кузьмину было трудно, и ровно в девять я был у него в гостинице.

— Вера только что звонила, — сказал он, — и я предупредил ее, что у меня в гостях будет товарищ.

Официант из ресторана сервировал стол для чая. Когда официант вышел, инженер сказал:

— А ведь она дочь добропорядочных родителей. Ее отец работает товароведом в Мосторге. Сейчас он, наверное, пришел уже с работы, а дочь — у зеркала. «Ты куда идешь, моя девочка?» «К подруге». «Так поздно!» «Вот, уже придрался старый», — скажет мать, вступаясь за дочку. А дочка, пользуясь перебранкой родителей, спокойно докрасит губы и уйдет... Эх, эти матери!..

Инженер Кузьмин не закончил фразы. В дверь постучались, и на пороге показались две женщины.

— А я с подружкой, — сказала та, что была помоложе. — Это чтобы не скучал ваш товарищ.

— Очень хорошо, — ответил инженер. — Знакомьтесь.

— Вола, — сказала подруга.

— Наверно, Валя, — поправил инженер.

— Не Валя, а Вола, — повторила подруга.

— Илья Ильич, — представился я.

— Нет, нет... только не так торжественно. Давайте называть друг друга по имени, — сказала Вола. — Идет?

И прежде чем мы успели ответить, Вола подскочила к телефону и соединилась с рестораном.

— Подготовьте столик в большом зале, — властно бросила она в трубку.

Вола... Однако не только в имени, но и во всем облике Вола было что-то неприятное. Держалась Вола за столом развязно, говорила подчеркнуто громко, отпускала плоские шутки и сама же первая смеялась.

Вере эти шутки не нравились. Я видел, как она морщилась, но морщилась невольно, про себя, а внешне она старалась попасть в тон подружке. А Вола чувствовала себя в ресторане, как в родной стихии. Она не только

кружилась с кем попало, но уже через полчаса была знакома со всеми соседними столиками. Не нужно было быть большим психологом, чтобы составить себе представление о внутреннем облике Вола. Все ее примитивные понятия о красоте человеческой жизни не выходили за стены ресторана. Звон стаканов, шарканье ног танцующих, ноющий саксофон были для нее божественной симфонией.

Я знал, что представляет собой Вола. Но кто она?

За весь вечер я узнал из ее биографии очень немногое. Работала она диспетчером в автобусном парке. Было ей двадцать пять лет. Трижды она была уже замужем. И это все. На моем языке вертелось сто тысяч «как?», «зачем?» и «почему?». Но Вола всячески уходила от этих вопросов. Когда же я попытался вызвать ее на откровенность, она грубо оборвала меня и ушла из-за нашего столика, не попрощавшись. Вера еще с кем-то танцевала. Инженер Кузьмин следил, как она кружилась с партнерами, и неожиданно сказал:

— А все-таки Вере можно помочь. Она еще не Вола.

— Очевидно, можно, — согласился я.

— Знаете, — сказал инженер, — вся лихость Веры — это поза. Есть такие десятиклассники, которым очень хочется казаться в обществе бывальыми людьми. Их мутит, а они пьют и хорохорятся: нам, мол, мало, подноси следующую.

Оркестр еще играл танго, а Вера, не дождавшись конца танца, неожиданно вышла из круга. Ее партнер, маленький подвыпивший железнодорожник, попытался снова втянуть ее в круг и получил по рукам. Инженер вскочил с места. Но я усадил его.

— Может, он оскорбил ее?

— Пусть сама разбирается.

Вера подошла к нашему столику. Мы расплатились с официантом и пошли к выходу. Из-за столика снова поднялся железнодорожник, пытаясь преградить дорогу нашей спутнице. Однако Кузьмин посмотрел на него так выразительно, что тот, не проронив ни слова, попятился назад.

— Ну, показывайте дорогу к вашему дому, — сказал я, беря девушку под руку.

— А вы разве не хотите проводить меня? — спросила Вера инженера.

— Нет, Верочка, — сказал инженер. — Мое время прошло. Я человек женатый.

— А вы познакомьте меня с вашей женой, — неожиданно сказала Вера. — Мы будем с ней дружить.

— Нет, Верочка. Моя жена в вопросах семейной морали придерживается таких же отсталых взглядов, как и я сам. И вряд ли из вашей дружбы получится что-либо путное.

Два квартала мы с Верой прошли молча. Вера о чем-то думала. Наконец она сказала:

— Ну, с этим вопросом все.

— С каким вопросом?

— С поездкой в Ялту. Я думала, Кузьмин — настоящий мужчина, с персональной автомашиной, а у него, оказывается, ничего, кроме жены в Тагиле.

— Но вы же хотели познакомиться с его женой, завязать с ней дружбу?

Вера громко расхохоталась.

— Эх, Вера, жалко мне вас! Зря вы растрчиваете свои молодые годы.

— Вот как? А что, по-вашему, я должна делать?

— Да что угодно. Учитесь, работайте.

— Нет! Все это очень скучно. А я хочу жить, как Сильва. Петь, танцевать, и чтобы вокруг меня всегда играла музыка и кружилось много всякого народа... А знаете, — добавила неожиданно Вера, — Вола ни за что не пошла бы с вами пешком. Она обязательно должна подъехать к дому на автомашине.

Я хотел сказать напрямик все, что думал о Воле, но Вера перебила меня:

— Ну, вот мы и пришли, а я еще даже не записала вашего телефона.

Вера открыла сумочку, чтобы вытащить блокнот, но, взглянув на меня, остановилась.

— Вы не хотите дружить со мной?

— Боюсь, что наша дружба не будет долговечной.

— Почему?

— Потому что у меня нет персональной автомашины.

— Эх, вы, — пренебрежительно сказала Вера и, отпустив по моему адресу какое-то обидное слово, скрылась в воротах. Мне хотелось броситься за ней, поднять с постели ее родителей и обрушить на их голову все возмущение, которое накопилось у меня на сердце за этот вечер.

Нет, зря инженер Кузьмин пытался защищать папу-товароведа. Я не верю в добропорядочность родителей, дочь которых решила жить в наше время по образу и подобию Сильвы. И дело вовсе не в том, что отец плохо следит сейчас за тем, где проводит свои вечера его дочь. Добрые начала нужно закладывать в душу ребенка в годы его детства и отрочества. Когда дочери девятнадцать лет, она уже сама должна понимать, что такое «хорошо», а что «плохо».

1947 г.

Случай в дороге

На полпути из Киева в Сочи Степан Иванович почувствовал приближение беды. Заныла, засвербила нога, которая с войны никак не могла прийти в норму. Утром боли были еще терпимы, а днем — хоть кричи. Как будто свора собак вцепилась зубами в жилы и каждая рвет и тащит в свою сторону. Степан Иванович принимает капли, порошки, греет ногу грелками, а боли все сильнее. Ноге могло помочь только одно-единственное средство: покой.

Степану Ивановичу следовало немедленно уложить ногу на мягкие подушки, да повыше, и не трогать, не прикасаться к ней.

А в дороге какой покой?

Путешествие пришлось прервать в чужом городе, где у Степана Ивановича ни родных, ни близких. Куда податься? Хорошо, что с ним была жена, Клавдия Ивановна. Степан Иванович опирается одной рукой на руку Клавдии Ивановны, а другой — на суковатую палку, поднятую у забора, и с превеликими страданиями добирается до гостиницы «Московская».

— Товарищ, будьте любезны...

А «товарищ» за стеклом с надписью «Администратор» смотрит на Степана Ивановича невидящими глазами и говорит:

— Свободных мест нет!

Девушка сказала и сейчас же уткнулась глазами в толстый истрепанный роман.

— Товарищ... — чуть не плача повторяет больной.

— Я уже сказала! — раздраженно бросает девушка, которую снова оторвали от интересной книжки, и с громким стуком захлопывает окошко.

Клавдия Ивановна бежит к старшему администратору. Но старший нисколько не лучше младшего.

И опять пришлось Степану Ивановичу, закусив от боли губу, волочить распухшую ногу по мостовым и тротуарам. Из первой гостиницы во вторую, из второй — в третью... А там на больного смотрят тем же равнодушным взглядом:

— Местов нет!

Но в том-то и дело, что свободные места были! В то самое время, когда Степан Иванович, мучаясь, стоял перед закрытым окошком, во всех трех гостиницах половина номеров пустовала.

— Они были забронированы местной табачной фабрикой, — оправдывались потом администраторы.

Какие же чрезвычайные обстоятельства заставили табачную фабрику забронировать за собой такую пропасть номеров? Может, здесь ожидался всемирный съезд курильщиков? Да нет: табачная фабрика просто-напросто готовилась праздновать свой юбилей. Директор разослал в разные концы страны приглашения, и хотя банкетные гости должны были приехать не сегодня и не завтра, тем не менее ни в один из свободных номеров Степана Ивановича не пустили.

Клавдия Ивановна побежала за помощью в горсовет, а там в воскресный день никого, кроме дежурного. Дежурный хотел помочь. Он долго и упорно звонил во все гостиницы, просил, умолял. Но администраторы гостиниц не поддавались на уговоры. Вот если бы им приказал директор треста гостиниц или директор табачной фабрики, — тогда другое дело.

Дежурный пытался дозвониться и к этим директо-

рам, но... увы! В воскресный день нигде никакого начальства.

— Придется ждать до понедельника, — извинился перед Клавдией Ивановной дежурный. — А сегодня я рад бы помочь, да не могу.

Ждать, а как? Хорошо еще, что город южный, теплый. Клавдия Ивановна сажает мужа в такси и везет его за реку. Здесь, на опушке леса, она устраивает Степану Ивановичу импровизированную постель на еловых ветках, подкладывает под больную ногу дорожное одеяло, а сама думает: как быть дальше?

А Степан Иванович ни о чем не думает. Ему бы только хоть как-нибудь перетерпеть боль.

И вот в этот невеселый момент мимо Степана Ивановича проходит старичок из лесничества с лошадью и жеребенком. Старичок остановился, спросил:

— Что это с человеком?

Клавдия Ивановна ответила. Старичок вздохнул.

— Я бы пригласил вас к себе, — сказал он, — да я сам живу у сына. Вон, видите, в двух километрах отсюда домики. Я пойду, поговорю с нашими.

И старик уходит. Через час рядом со Степаном Ивановичем останавливается еще один человек — рабочий, арматурщик Леонид Алексеевич. Да не один, а со всем семейством: с женой Раисой Наумовной, тещей Прасковьей Александровной, детьми. Семейство Жмениных выехало в воскресный день за город, на прогулку. И здесь, в лесу, Леонид Алексеевич увидел больного:

— Что с вами?

— Да вот несчастье с ногой.

Леонид Алексеевич смотрит на ногу и принимает немедленное решение:

— Едем в город. К нам. На Кузнецкую улицу.

— Что вы, неудобно! Мы даже незнакомы!

— Едем, едем, — поддержала Леонида Алексеевича жена.

— Едем, — сказала теща.

Глава семейства не стал терять времени зря и побежал за машиной. Степан Иванович сидел уже в такси, когда на опушку вернулся старик. Он договорился и с сыном и с невесткой и теперь пришел за больным.

— Больной едет к нам, — говорят Жменины.

Степану Ивановичу и Клавдии Ивановне неудобно перед стариком, который напрасно совершил из-за них четырехкилометровый путь. Клавдии Ивановне хочется как-то отблагодарить старика, а тот обижается:

— За что?

— За ваше доброе сердце.

— Так разве за это делают подарки?

...Леонид Алексеевич привез Степана Ивановича домой, уложил его в постель, позвонил в «Скорую помощь». Приехал доктор. Осмотрел больную ногу, спросил:

— Почему не позвонили к нам раньше?

— Я думал, обойдется, — сказал Степан Иванович. — Мне бы только дня три-четыре полежать в постели.

И в самом деле, все обошлось бы благополучно, если бы к Степану Ивановичу отнесли в гостинице по-человечески. А его заставили волочить больную ногу чуть ли не по всему городу. И вот теперь дело осложнилось. Больному угрожало заражение крови. Степана Ивановича в экстренном порядке пришлось отправить в больницу. Доктор Счастный, доктор Лейкина, медицинские сестры Римма, Татьяна Кузьминична бились полтора месяца, чтобы приостановить разрушительный ход болезни. Стараниями медиков заражение крови было предотвращено, нога спасена от ампутации.

Степан Иванович вместе с Клавдией Ивановной давно уже в Киеве. А их связи с новыми друзьями не порвались. Письма пишут все: Леонид Алексеевич, его жена Раиса Наумовна, их дети. Что же касается тещи, Прасковьи Александровны, то она недавно по приглашению своих друзей гостила в Киеве.

Честь и хвала им, добрым, внимательным людям! Ну, а что сказать о людях недобрых, равнодушных? Три девушки, что попались на пути Степана Ивановича, не только отказали ему в приюте. Ни у кого из них не нашлось для больного слова сочувствия. Хоть бы одна вышла из-за своей загородки, хоть бы одна спросила, что стряслось с приезжим, не нужно ли ему дать воды, не нужно ли вызвать врача.

А ведь приезжие стучались не только в окошки дежурных администраторов! Клавдия Ивановна бегала на

прием к секретарю местной редакции Потапочкину. А тот даже не поднял на нее глаза, не сказал «здравствуйте», не предложил взволнованной, растерявшейся в чужом городе женщине стул.

— Простите, некогда, занят.

Секретарь, так же как и девушки из трех гостиниц, думал только об одном: как бы поскорее отделаться от посетителя. Когда через несколько дней сотрудники редакции устроили скандал Потапочкину за возмутительное, бюрократическое поведение, Потапочкин удивился.

— Какой Степан Иванович? — спросил он. — Неужели тот самый? Известный украинский поэт! Лауреат!

— Вот именно.

Секретарь схватился за голову:

— Ай, ай, какой позор! И такому человеку я отказал в помощи!

Это верно. Потапочкин невнимателен не ко всем своим посетителям. Полгода назад, например, к нему в кабинет вошел человек в модном сиреновом костюме и лаковых штиблетах. Представился:

— Будем знакомы. Степан Иванович!

— Как, тот самый?

— Да, тот самый, настоящий, из Киева.

Человек в сиреновом костюме не был ни настоящим, ни из Киева. Это был самозванный Степан Иванович, который, пользуясь славой украинского поэта, ездил под его именем по Советскому Союзу и обирал простаков. И секретарь редакции, замороженный сиреновой развязностью авантюриста, нашел и время и возможность быть радушным и гостеприимным. Он позвонил в ту самую гостиницу, где не нашлось места для настоящего поэта, и добыл номер для фальшивого. Но фальшивый не пошел в этот номер.

— Маловат.

И Потапочкин достал самозванцу тройной номер «люкс». Затем Потапочкин выделил в распоряжение гостя редакционную «Победу». А гость отказался от «Победы»:

— Не та марка.

Потапочкин растрогался и достал самозванцу «Волгу». Пусть ездит!

И тот ездил, бражничал, и все в долг. (Кстати, после

того как фальшивый Степан Иванович сбежал, счета из гостиницы и ресторанов были отправлены для оплаты в Киев — настоящему Степану Ивановичу.) Но фальшивый не только ел,пил, ездил. Он безобразничал, скандалил, и никто его не призвал к порядку: ни дежурные администраторы, ни секретарь редакции Потапочкин. Наоборот, эти люди с обожанием смотрели на самозванца и были чрезвычайно счастливы, если самозванец, здороваясь, небрежно протягивал им два пальца.

— Вот с какой сердечностью мы встретили фальшивого Степана Ивановича! — сокрушаясь, говорил мне секретарь редакции. — А для настоящего я расстарался бы еще больше! Ну почему Клавдия Ивановна не сказала, что ее муж — поэт-лауреат! Ведь у Степана Ивановича такая громкая фамилия!

Ни рабочий-арматурщик, ни старичок из лесничества, ни доктор Счастный не спросили у Степана Ивановича, какая у него фамилия: громкая или негромкая. Люди увидели: человек в беде — и тут же пришли ему на помощь, предложили свой кров, свою дружбу.

А Потапочкин? Потапочкин из того сорта людей, которые бросаются в воду не сразу. Потапочкин должен сначала установить, кто тонет. Если заслуженный деятель республики, лауреат, тогда... пожалуйста. А если не заслуженный, то Потапочкин пройдет мимо, не оборачиваясь:

— Занят! Некогда! Обратитесь к моему заместителю!

1958 г.

Из-за «галочки»

Перед самым выходом на улицу Михаил Васильевич замедлил шаг и отстал от сослуживцев. Куда идти? Направо — домой — или налево — в сторону Рабочего проспекта? Но пока он думал да рассуждал, ноги, как это и было весь последний год, сами свернули налево: сердце-то ведь не камень!

«Ничего, — оправдывался перед самим собой Михаил Васильевич, — время сейчас не позднее. Я успею часок позаниматься таблицей умножения со Светланой».

Но Светлана была в гостях у подружки этажом выше, и Михаил Васильевич оказался в комнате один на один с мамой Светланы — Степанидой Семеновной. Это обстоятельство смутило гостя. И не случайно. Михаил Васильевич был неравнодушен к Светланиной маме. День ото дня эта женщина нравилась ему все больше и больше. Михаил Васильевич уже давно хотел объяснить, сделать Степаниде Семеновне предложение, да все не решался. Вот и сегодня: только он приготовился было заговорить о своих чувствах, как взгляды его скользнули по стене и остановились на портрете Николая. «Значит, помнит его, раз не снимает со стены фотографию».

Степанида Семеновна повесила портрет мужа в первые дни войны, а Николай как ушел на фронт, так словно в воду канул: ни письма от него, ни телеграммы. Молодая жена ждала мужа, разыскивала его, но все безрезультатно.

Вот уже и война кончилась. А она все надеялась, что Николай придет. Прошел еще год, другой, а она все ждала. Ни вдова, ни жена.

— Напрасно вы надеетесь на возвращение мужа, — сказали Степаниде Семеновне в военкомате. — Если бы ваш муж был жив, он давно вернулся бы домой.

Степанида Семеновна стала уже привыкать к трудной, одинокой жизни, и вдруг не то в 1946-м, не то в 1947 году она встретилась с Михаилом Васильевичем. Новый знакомый оказался добрым, отзывчивым человеком. Особенно сильно привязалась к нему девятилетняя Светлана. Еще бы, дядя Миша помогал ей решать задачи, ходил с ней по воскресеньям гулять на приморский бульвар.

Михаил Васильевич гулял со Светланой, а думал о ее маме. Мама чувствовала, что ее любят. Маме было приятно. Михаил Васильевич нравился ей, и тем не менее что-то сдерживало Степаниду Семеновну, поэтому

она не спешила помочь Михаилу Васильевичу в его объяснении даже сегодня. И вот два хороших человека сидят вдвоем в пустой комнате по разным сторонам стола и молчат. Затянувшаяся пауза разбивается неожиданно. В дверях появляется Светлана и сразу бросается на шею гостю:

— Дядя Миша, как я рада!

Дядя Миша кружит девочку по комнате. Все смеются. И всем становится очевидным: для полноты счастья в этом доме не хватает мужчины. Так Светлана, сама того не подозревая, решает вопрос о маминном замужестве. Маме нужно только выполнить небольшую формальность. И эта формальность выполняется легко, безболезненно. Загс быстро через суд утверждает Степаниде Семеновне развод с первым мужем (что же делать, человек пропал на войне без вести) и регистрирует ее брак с Михаилом Васильевичем.

Проходит пять лет. Новая семья живет в мире, дружбе. И вдруг как-то в воскресный день в квартире № 10 раздается звонок. Михаил Васильевич открывает дверь и видит перед собой незнакомца.

— Степанида Семеновна дома?

— Входите, пожалуйста, она у портнихи, скоро вернется.

Незнакомец входит, снимает шапку.

— А Светлана где?

— С мамой, — отвечает Михаил Васильевич и смотрит в глаза незнакомцу.

«Не может быть! — Михаил Васильевич переводит взгляд на стену, где висит фотокарточка. — Он... Николай?»

— Николай Васильевич...

Николай Васильевич тоже смотрит на стенку. Знает, в этом доме его не забыли. Его только считали мертвым. Он поворачивает голову в сторону Михаила Васильевича и думает: «Я мучился, рвался домой, и, оказывается, зря».

А путь из плена до дома был и в самом деле нелегкий. Одиннадцать лет Николай Васильевич провёл в далеком западногерманском лагере и был лишен

возможности вернуться на родину. Только на шестой год после окончания войны ему удалось наконец связаться с советскими представителями, и вот он теперь в родном Баку, на пороге своего дома. Своего ли?

Двое мужчин стоят, опустив глаза, друг против друга и думают: как быть, что делать? Не они виноваты в случившемся, но им отвечать на вопрос: кому оставаться в этом доме, а кому уходить?

Что и говорить, минута была нелегкая, и снова, как и в прошлый раз, на помощь взрослым пришла Светлана. Она входит, смущенно смотрит на Михаила Васильевича и сразу устремляется к незнакомцу:

— Папа, родной...

И ведь узнала сразу, хоть и рассталась она со своим папой в трехлетнем возрасте. А вслед за Светланой в комнату входит ее мама и тоже, не задумываясь, бросается к Николаю. Наконец-то наступил долгожданный момент их встречи! Счастьем светятся и ее глаза и его. И эти двое перестают обращать внимание на него, на третьего. Был ли он, есть ли он сейчас, им мало до этого дела. Первая любовь, попробуй вытрави ее из сердца женщины! Хотя Степанида Семеновна быстро берет себя в руки, знакомит мужчин, сажает Михаила Васильевича за стол, поит его чаем, Михаил Васильевич понимает, что он в этой семье лишний. Михаил Васильевич видит, как хлопочет вокруг своего папы Светлана, и ему становится еще горше. А разве он не любил эту девочку, не был ей вторым отцом? Вот в том и беда, что вторым. А нужен ли он, второй, когда вернулся первый?

И как ни тяжело было Михаилу Васильевичу, он нашел в себе силы отойти в сторону и не мешать счастью этой семьи. Он ушел из дома, а через два дня, уволившись с работы, уехал из Баку. Зачем мешать тем двоим, попадаться им на глаза, напоминать о себе!

А те двое стали жить так хорошо и дружно, точно и не было между ними никого третьего в эти злополучные годы разлуки. Для полноты счастья Степаниде Семеновне нужно было только выполнить небольшую формальность — восстановить в брачном свидетельстве фамилию первого мужа.

— Пожалуйста, — сказал нарсудья.

Но Верховный суд Азербайджанской ССР высказался против.

— Восстановить фамилию первого мужа? — переспросил член суда Аюнов. — Зачем? Вы, чего доброго, еще захотите развести Степаниду Семеновну с Михаилом Васильевичем?

— А как же иначе? Михаил Васильевич сам просит об этом, — сказал судья Шаумянского района города Баку.

— Ни в коем случае не разводите! — категорически заявил Аюнов.

Почему? Три честных, хороших человека волей обстоятельств попали в трудное положение. И эти трое нашли в себе силу и мужество, чтобы восстановить в доме Николая и Степаниды старые семейные взаимоотношения. Ну что ж, честь им и хвала! Но член Верховного суда выступает против:

— Нет, ни в коем случае!

Член суда предложил народному судье вызвать к себе Степаниду Семеновну и Михаила Васильевича и принять все меры к их примирению.

— Зачем? — удивился народный судья. — К Степаниде Семеновне приехал муж. Они любят друг друга. У них дочь.

— Пусть любят, пусть дочь. Все равно действуйте на основании инструкции НКЮ СССР. Мирите их. Мы против разводов.

Инструкция НКЮ СССР направлена против порхающих прохвостов. А Аюнов воюет не с прохвостами, а четвертый год подряд мучает людей честных, порядочных.

А вместе с тремя взрослыми мучится и Светлана. Девушке скоро получать паспорт, а как ей быть с фамилией? Ее отец до сих пор живет в родной семье на положении чужого человека.

И делается все это не от большого ума, а из-за «галочки». Для того, чтобы Аюнов мог в очередном отчете указать на один развод меньше: вот, мол, какой я хороший, как твердо стою на страже семьи и инструкции.

1956 г.

Человек без имени

Всю жизнь Жукова звали двойко. Одни — Семеном Иосифовичем, другие — Семеном Осиповичем. Так же двойко Жуков значился и по документам. В служебных — Иосифович, в партийных — Осипович. И хотя корень у этого двуствольного имени был один, Семен Жуков понимал, что было бы значительно удобнее и для него и для окружающих, если бы его беспокойное отчество в конце концов угомонилось и приняло какое-то одно определенное написание. Но тут встал вопрос: а какое именно?

— Пишите так, как значится у вас в метрике, — сказал секретарь партийного комитета.

Легко сказать: метрика, — а где взрослому человеку найти свою метрику?

— В архиве.

В областном архиве довольно быстро разыскали нужную запись в церковных книгах и установили, что в деревне Зубово, Волоколамского района, Московской области, в такой-то день и месяц родился крестьянский сын Семен. Родители: отец — Осип, мать — Евдокия.

Как будто бы все, да вот беда: деревенский дьячок забыл указать в книге фамилию родителей. Такая забывчивость была, оказывается, в те стародавние времена не редкостью, поэтому наши архивные работники предусмотрительно оговорили ее. В случае, если в церковной записи о рождении не указана фамилия ребенка, то областной архив пересылает справку в загс на предмет соответствующих уточнений. И так как С. Жуков жил в районе Песчаных улиц, то он и направился к Ларисе Порфирьевне Драгомирецкой — заведующей загсом Ленинградского района Москвы.

— Вы кто?

— Семен Жуков.

— А по отчеству?

— Осипович-Иосифович.

Лариса Порфирьевна неодобрительно поглядела на человека с двойным отчеством.

— Да нет, я не жулик, — успокоил заведующую загсом С. Жуков. — Вот мои документы — партийные, служебные. Возьмите, проверьте.

Заведующая загсом взяла, проверила, и, хотя все эти документы были в полном порядке, Лариса Порфирьевна все же потребовала от С. Жукова доставить ей несколько дополнительных справок: из домоуправления, милиции, с места работы.

— Ничего не сделаешь, — сказала Лариса Порфирьевна, — в нашем учреждении осторожность — первейшее дело.

«Что ж, правильно», — подумал Жуков. И послушно отправился в домоуправление.

Через пять дней все требуемые справки были собраны, и, несмотря на то, что справки были правильными, Лариса Порфирьевна ради той же осторожности велела достать еще одну — копию с метрической записи отца Семена Жукова — Осипа.

— Да где же я возьму ее? — взмолился несчастный сын. — Отец-то мой давно умер.

— А это нас не касается. Ищите.

В областном архиве и на этот раз дружно взялись за поиски, и через двое суток в тех же самых старинных церковных книгах была обнаружена еще одна запись, из которой явствовало, что во второй половине прошлого столетия в деревне Зубово у родителей: отец — Николай, мать — Анисья — родился младенец Иосиф.

— Как, по какой причине Осип опять стал Иосифом? — вскричала Лариса Порфирьевна и нарисовала против имени беспокойного младенца большой вопросительный знак.

— Нет, этот младенец мне подозрителен.

— Чем?

— Всем. Может быть, он вовсе не ваш отец, а чужой.

— А кто же тогда мой?

— Не знаю, — небрежно ответила Лариса Порфирьевна. — Может, даже никто.

— Простите, а как же тогда я? — спросил удивленный Жуков. — Не мог же в самом деле такой крупный, великовозрастный мужчина, как ваш покорный слуга, появиться на свет из ничего. Раз уж я родился, то у меня, по всей видимости, был отец, и не кто иной, как тот самый Осип-Иосиф, который взят вами сейчас под подозрение.

— Был — не был? Загс не может верить голословному утверждению, загсу нужны доказательства, — сказала Лариса Порфирьевна. — Скажите, когда и от кого вы узнали впервые, что младенец Осип-Иосиф является вашим отцом?

— Впервые я узнал об этом, по-видимому, от матери, — ответил С. Жуков, — еще в ранние дни своего детства. Несмотря на двойное имя, Осип-Иосиф проявлял ко мне самые неподдельные отцовские чувства.

— А именно? — спросила Лариса Порфирьевна.

— Насколько мне помнится, сначала он качал меня в зыбке. Потом катал на закорках.

— На закорках вас мог катать и чужой человек.

— Правильно, но моя связь с отцом не ограничилась только закорками. Отец вырастил, воспитал меня, дал образование. Нет, уверяю вас, Осип-Иосиф был настоящим, вполне приличным отцом, не похожим на некоторых нынешних щеголей, которые убегают от родных детей за тридевять земель.

— Приличный человек не стал бы писаться в церковных книгах под разными именами, — заявила Лариса Порфирьевна.

— Так это же не по злому умыслу.

— А вы докажете.

И хотя искать доказательств было нелегко: записи-то производились не сегодня: одна — во второй половине прошлого века, другая — в начале этого, — С. Жуков все же нашел их. Ларчик открывался просто. Местный поп был, оказывается, из семинаристов, поэтому он и записал при рождении имя отца, согласно святам, — Иосиф. А дьячок не учился в семинарии и записал это имя по-деревенски — Осип. Доказательства были столь убедительными, что даже осторожная Лариса Порфирьевна сказала:

— Насчет вашего отчества мы уже не сомневаемся. Что ж, пишитесь с сегодняшнего дня Иосифовичем, как сказано в святцах. Но вот касательно вашей фамилии — дело темное. Чем можете вы доказать загсу, что именно вы и есть тот самый Жуков, за которого пытаетесь выдать себя?

— Как пытаюсь? — вскипел новоявленный Иосифович. — Позвоните ко мне на работу по телефону,

и вам каждый скажет, что я и есть самый настоящий С. Жуков.

— Загс телефонным звонкам не верит. Загсу нужны документы.

— Так вот вам копия метрики моей и моего отца.

— Этого мало. Принесите еще метрики вашего деда и вашей бабушки.

Работникам областного архива, дай бог им здоровья, пришлось на этот раз перевернуть церковные книги уже не второй, а первой половины прошлого столетия и добыть нужные справки, а бдительная Лариса Порфирьевна все не желала признавать Жукова Жуковым.

Что, собственно, произошло? Разве кто-нибудь подозревал С. Жукова в мошенничестве? Ни боже мой. Партийная организация обратилась в загс с просьбой уточнить написание отчества С. Жукова, и Лариса Порфирьевна в пылу неумного усердия зачислила честного человека в число самозванцев.

— Вы не Жуков.

— Нет, Жуков.

— Докажите.

И Семен Иосифович вынужден ходить в школы, где он учился, учреждения, где работал, к товарищам, с которыми воевал, с весьма необычной просьбой:

— Милый, ты помнишь, как моя фамилия? Так будь другом, напиши: сим удостоверяю, что предьявитель сего, С. Жуков, действительно является самым настоящим владельцем своей фамилии и ни у кого иной не крал и не одалживал.

И вот уже около двух месяцев несчастный С. Жуков ведет какую-то непонятную, двойную жизнь. Для окружающих он по-прежнему тот же самый всеми уважаемый Семен Иосифович Жуков, каким он и был до сих пор. Под этой фамилией С. Жуков живет, читает лекции, принимает зачеты у студентов. А в загсе Ленинградского района он числится почему-то человеком без имени и фамилии. За эти два месяца по милости загса установлением и без того ясного лица С. Жукова занималось примерно пятнадцать организаций и не меньше полусотни человек. И всех этих людей загс от-

рывал от полезной работы только потому, что какой-то пьяный, полуграмотный дьяк пятьдесят лет назад описался в церковной книге.

1953 г.

Свойство сердца

Произошло недоразумение. Разметчик сборочного цеха Иван Петрович Сырокваша собирался на юг, в санаторий «Светлана», а путевку ему выписали в «Чистые ключи». Правда, в профиле этих санаториев не было разницы, тем не менее Иван Петрович бросил путевку на стол и сказал:

— Не поеду!

— Почему? — удивленно спросил председатель завкома.

— Не тот санаторий.

— Да в нем все, как в том. Ванное отделение, электролечебные кабинеты, врачи...

Но на Ивана Петровича не действовали никакие резоны.

— Нет, и больше ничего.

— Если ты насчет кухни опасаясь, — сказал предзавкома, — то это зря. Повар в «Чистых ключах» лучше, чем в «Светлане». Он такие борщи и бифштексы готовит, что ты, Иван Петрович, по меньшей мере пять кило в весе прибавишь.

— Спасибо, не нуждаюсь.

Повар и в самом деле был здесь ни при чем. Упрямым был Иван Петрович вовсе не из-за борща и бифштексов, а из-за своего зятя. Пятнадцать лет этот самый зять был хорошим отцом и супругом, а на шестнадцатый его точно подменили. Завел он себе забубенных дружков-приятелей и стал обижать жену и детей. Ивану Петровичу уже давно хотелось съездить в Казань и поругать зятя за его поведение. Хотеть хотелось, а вот решиться на поездку он не мог. Неудобно. Это и в самом деле не такое простое дело — явиться за тридевять земель в дом к взрослому человеку и начать читать ему нотации и наставления. И вдруг

подвернулся удобный случай. Иван Петрович узнает из письма дочери, что ее муж едет в сентябре на юг в «Светлану».

— Вот и хорошо, — решил Сырокваша, — я тоже поеду туда. Полечусь, похожу с зятем на ванны. Не может быть, чтобы за месяц у нас с ним не нашлось повода откровенно, без утаек поговорить друг с другом.

И вот, когда все уже, казалось, было на мази, Ивану Петровичу выписали путевку не в тот санаторий. Ему бы взять да рассказать председателю завкома, почему именно «не в тот», и все, глядишь, обошлось бы по-хорошему, а он не рассказал, постеснялся. Все-таки как-никак семейные неприятности. И что предзавкома ни делал, как он ни уговаривал Ивана Петровича ехать в «Чистые ключи», у того на все доводы был только один ответ:

— Или в «Светлану», или никуда.

— И не езжай! — сказал с досады предзавкома и добавил: — Ох, уж эти мне ревматики! Болезни у них на пятак, зато капризов, как у хорошей барыни.

— Это кто же здесь барыня? — взъярился Иван Петрович.

Предзавкома был человек в общем неплохой, но резкий на язык. Ему бы успокоить Сыроквашу, а он нет, сам вспылит, обидел старика и вынудил его отправиться с жалобой в обком союза. Попасть к председателю обкома в этот вечер Ивану Петровичу не удалось.

— Александр Александрович проводит заседание президиума, — сказала Сырокваше синеглазая Шуручка. — Оставьте номер вашего телефона, я сообщу завтра, когда вам надо будет прийти на прием.

Иван Петрович недовольно помял в руках кепку. Он, по совести, не очень верил в это самое завтра, но скепсис оказался необоснованным. Назавтра утром в квартире Сырокваша раздался телефонный звонок, и Шуручка мило сказала хозяину телефона:

— Иван Петрович, доброе утро. Вы хотели встретиться с Александром Александровичем? Он очень рад и ждет вас во вторник, в два пятнадцать. Это время вас устраивает?

— Да, да, устраивает, — поспешил сказать Сырокваша, хотя два пятнадцать никак его не устраивало.

Но звонок от имени председателя на квартиру так расстрогал старика, что он решил даже перемениться во вторник сменой.

Три дня, от субботы до вторника, Сырокваша находился под впечатлением телефонного разговора, а во вторник утром в его квартире раздался новый звонок. У аппарата была Шурочка.

— Иван Петрович, — сказала она, — Александр Александрович просил напомнить, что сегодня в два пятнадцать он ждет вас у себя.

— Спасибо, я помню, — сказал Сырокваша. А сам подумал: да, этот Александр Александрович не чета нашему предзавкома. Вежливый, обходительный. С таким председателем можно быть откровенным. Такому расскажешь про зятя, не постесняешься.

В радужном, приподнятом настроении собирался Иван Петрович на свидание с председателем обкома союза. В час дня, побритый, принаряженный, вышел он из дому, как вдруг телефонный звонок неожиданно вернулся его с лестницы. У аппарата была Шурочка.

— Иван Петрович, — сказала она, — Александр Александрович просит извинить его. Сегодня он вас принять не сможет. В два пятнадцать ему надо быть на смотре хоровых и танцевальных кружков.

Что и говорить, извещение было не из приятных. И хотя старый разметчик ничего не имел против самостоятельного искусства и совсем не собирался противопоставлять свою скромную персону певцам и танцорам, тем не менее в его радужном настроении произошел какой-то спад, и он забыл даже спросить, на какой день переносится его свидание с председателем обкома.

Но то, что забыл Иван Петрович, хорошо помнил Александр Александрович.

В час ночи в квартире Сырокваши раздался резкий звонок. Люди жили в этой квартире тихие. Днем они работали, ночью спали, и неурочный трезвон переполошил весь дом. Из каждой двери в коридор выскакивали полуодетые, взбудораженные люди:

— Что случилось? Где горит?

Но это был не пожар. Это звонила Шурочка.

— Иван Петрович, — сказала она, — вы хотели встретиться с Александром Александровичем. Он очень

рад и ждет вас в пятницу в два пятнадцать. Это время вас устраивает?

Ночной звонок вызвал в сердце старого Сырокваши раскаяние.

«Вот ты лежишь и спишь, — говорил он себе, — а в это время где-то бодрствует человек, который думает о тебе, желает тебе добра».

Это раскаяние увеличилось еще больше в пятницу утром, когда в телефонной трубке снова раздался Шурочкин голос:

— Александр Александрович просил напомнить, что сегодня в два пятнадцать он ждет вас у себя.

К часу дня Иван Петрович был готов к свиданию. Он вышел из квартиры с теплым, хорошим чувством к Александру Александровичу, и он бы донес это чувство до кабинета председателя, если бы новый звонок по телефону не возвратил его с лестницы. И вновь, как и в прошлый раз, у аппарата была Шурочка:

— Александр Александрович просит извинить его. Сегодня он вас принять не сможет. В два часа ему надо быть в ВЦСПС.

После этого звонка Ивану Петровичу уже не хотелось больше встречаться с Александром Александровичем. Да и зачем? Он бы не смог теперь быть откровенным с ним, не смог бы рассказать ему ни про свою дочь, ни про своего зятя. А идти с жалобой на председателя завкома тоже не было никакой надобности. После ссоры с Сыроквашей предзавкома быстро отошел, и, хотя дело было хлопотливым, он не поленился, сходил в курортное управление, затем в Центральный комитет союза и переписал Ивану Петровичу путевку из «Чистых ключей» в «Светлану».

В пятницу вечером Сырокваша уехал на юг, а в час ночи в его квартире раздался очередной звонок. И хотя к телефону подошел не Иван Петрович, а его сосед, Шурочка ласково задала свой привычный вопрос:

— Вы хотели встретиться с Александром Александровичем? Он очень рад и ждет вас во вторник.

Сосед Сырокваши был человек молодой, веселый, любопытный. Соседу было интересно узнать, чем могут окончиться все эти телефонные перезвоны, и он не стал отказываться от свидания с председателем. Но нового,

по-видимому, ничего не предвиделось. Со вторника свидание было перенесено на пятницу, с пятницы на вторник.

Иван Петрович заканчивал уже на юге курс лечения, он давно помирился с зятем и скоро должен был вернуться назад, а в его квартире по-прежнему дважды в неделю звонит телефон и веселый молодой сосед спрашивает у Шурочки, как у своей старой знакомой:

— Как дела? Что сказал Александр Александрович?

И Шурочка, не чувствуя в вопросе иронии, милым, приветливым голосом отвечает:

Ночью: Александр Александрович рад с вами встретиться...

Утром: Александр Александрович просил напомнить вам...

Днем: Александр Александрович просил извинить его, но сегодня он не сможет встретиться с вами.

Сосед слушает и подсмеивается над незадачливым помощником Александра Александровича, а этому помощнику хочется только одного: чтобы Александр Александрович выглядел в глазах членов профсоюза чутким, отзывчивым человеком.

Бедная Шурочка по молодости лет не учитывает того обстоятельства, что чуткость не профессия, а свойство человеческого сердца, и если такого свойства нет в председательском сердце, то его уже ничем нельзя заменить: ни телефонными звонками, ни ласковыми пожеланиями «доброго утра» от имени этого самого председателя.

1950 г.

Шоколадный набор

Федор Максимович Кириллов заболел гриппом. И грипп-то был какой-то ненастоящий, бестемпературный. Врач попробовал уложить больного в постель, а тот ни в какую:

— Пройдет и так.

Озноб и в самом деле начал проходить, зато появились новые неприятности. Старший мастер стал хуже видеть. Возьмет в руки чертеж и не может его прочесть. Вместе с терапевтом к Федору Максимовичу стал приходить из поликлиники и врач по глазным болезням. Врачи были заботливы, внимательны, а болезнь тем не менее прогрессировала. И вот вскоре наступила трагическая развязка. Федор Максимович просыпается как-то, а вокруг густой мрак.

«Неужели все еще ночь?» — подумал больной.

— Маша-а, Ма-а-ша!!

Федор Максимович слышал, как жена вбежала в комнату, он знал, что она стоит уже рядом, и не видел ее.

— А ну зажги свет, — робко сказал он, еще надеясь на что-то.

И хотя на дворе стоял яркий весенний день, Маша включила электрическую лампу. Не надеясь на электричество, она открыла окно и подвела мужа к самому солнцу, но мрак не рассеивался.

Федора Максимовича отправили в больницу. Он провёл там неделю, вторую, а вокруг по-прежнему темным-темно. Ни синего неба, ни пурпурного заката. Розовое, голубое, зеленое — все скрылось, исчезло. Это было так страшно, что сильный, крепкий пятидесятипятiletний мужчина как-то сразу сдал, опустил руки, перестал сопротивляться болезни. К нему обращается врач, а он не отвечает, молчит. Его приглашают в процедурную, а он отказывается идти:

— Зачем? Все равно зря.

Когда больной оказывается во власти полнейшей апатии, ждать успеха в лечении трудно. Поэтому врачу больницы пришлось заниматься не столько глазами Федора Максимовича, сколько его душевным состоянием.

«Эх, если бы как-нибудь раззадорить старика, разбудить в нем интерес к жизни!» — думала врач Виктория Викторовна.

И тут на помощь врачу пришла Каля Сазонова, маленькая девушка из второго пролета. Вообще токари не забывали Федора Максимовича и нет-нет да и навещали его в больнице. Придут, принесут папирос, фруктов. Шепотом поздороваются, шепотом попрощаются.

— Неудобно. У человека такое горе.

И только одна Каля не признавала шепота. Она разговаривала с Федором Максимовичем как со зрячим, глаза которого случайно и ненадолго оказались не в порядке. Поправит Каля больному подушку, вытащит из сумочки книжку и начинает читать вслух. Читает Тургенева, Пришвина, Паустовского. Про лес, поле, речку. Она читает, а у больного в глазах слезы. Ведь всей этой красоты он больше никогда не увидит. Каля так бередила своим чтением сердце больного, что он готов был порой выставить вон из палаты эту девчонку. Но как выставишь ее — она гость. И потом, бередит она сердце не со злобы, а по неразумению.

По неразумению ли? Кто ее разберет. Девчонка.

А эта девчонка читала с душой, с чувством. Федору Максимовичу слышались в ее чтении и шелест листьев и пение лесных птиц. И что б вы думали? Девушка разбудила у старика волю к жизни. Захотелось ему снова побывать в лесу, в поле, захотелось на завод, в цех, почувствовать себя вновь в боевом строю. И впервые за время болезни улыбнулся Федор Максимович. С этой улыбки и начался, по-видимому, перелом в ходе болезни. И вот наступил наконец день, когда в черном, прокопченном стекле, за которым жил последний месяц Федор Максимович, блеснул первый луч света. Пусть луч был еще слабым, неверным, это не мешало больному чувствовать себя самым счастливым человеком в мире.

А он и был самым счастливым. Люди, вещи перестали прятаться от него во мраке и день ото дня все четче и определеннее принимали свои привычные формы. Выздоровление шло так успешно, что врачи обещали выписать Федора Максимовича через неделю домой. И врачи сдержали бы свое обещание, если бы не одно при- скорбное обстоятельство.

Как-то утром, когда Федор Максимович, пробудившись ото сна, лежал, мечтая о будущем, санитарка ввела в палату не совсем обычного гостя. Это была тетя Дуся, курьер из отдела кадров. Тетя Дуся поздоровалась, для порядка поохала, но, убедившись, что больной хотя и осунулся, но чувствует себя хорошо, с при-

сущей курьерам деловитостью («Мне еще семь срочных пакетов разнести нужно») зашпешила:

— Я к вам от зам. директора завода Горшкова. Сначала он велел передать вам вот это, — сказала тетя Дуся и протянула Федору Максимовичу коробку с шоколадным набором.

Подарок растрогал больного.

— Молодец Горшков, вспомнил.

Федор Максимович развязал ленточки и протянул коробку тете Дусе. Та угостилась, поблагодарила и сказала:

— А во вторую очередь товарищ Горшков велел передать вам под расписку вот это...

И тетя Дуся вытащила из разносной книги вчетверо сложенный приказ. Что было написано в этом приказе, больной даже не запомнил. Его ошеломило, ожгло одно слово: «Уволить».

— Как?! За что?

Федор Максимович хотел прочесть приказ вторично и не смог. Буквы закачались, поплыли. Он потер глаза, но это не помогло. И вот с таким трудом восстановленное зрение в результате нервного потрясения снова отказывалось служить человеку. И из-за чего? Из-за какой-то глупой бумажки.

Виктория Викторовна, врач больницы, была так возмущена происшедшим, что немедленно помчалась на завод. Этому врачу хотелось ворваться в кабинет зам. директора по кадрам и отхлестать его по щекам. Но врач сдержалась.

— Я из больницы, — сказала она, беря себя в руки. — Пришла по поводу больного Кириллова Федора Максимовича.

— Да, да. Слышал. Очень жаль, — стал сокрушаться зам. директора.

— Человек был уже на полпути к выздоровлению. А вы вместо того, чтобы морально поддержать его, устроить временно на более легкую работу, состряпали приказ: «Уволить».

— Полпути отдел кадров не устраивает, — сказал Горшков. — У нас производство, а не богадельня.

Горшков говорил «производство» и лгал, ибо каждое наше производство живет и действует во имя люб-

ви к человеку. А вот Горшков не любил людей. Горшков уволил Кириллова, не только не справившись о состоянии его здоровья, но даже не узнав как следует, кто он, этот самый Ф. М. Кириллов. Горшкову повнимательней полистать бы трудовую книжку Федора Максимовича, и он нашел бы здесь много любопытного. К примеру, он увидел бы, что в графе «образование: низшее, среднее, высшее (нужное подчеркнуть)» сначала было подчеркнуто «низшее», потом «среднее» и, наконец, «высшее». Был Кириллов чернорабочим — стал инженером. В заочный институт Федор Максимович поступал, имея уже двух внуков. Он сам посмеивался над собой, говоря: «Если человек в пятьдесят лет начинает учиться пеню, то петь ему придется только на том свете».

Кириллов учился сам и учил других. В прошлом году заводская многотиражка подсчитала: за тридцать лет работы на заводе Федор Максимович обучил 240 человек токарному делу. Кстати, когда-то учеником Федора Максимовича был и нынешний директор завода Нестор Иванович Бабаханов. И вот такому человеку, как Кириллов, в тяжелый час его жизни не оказалось на родном заводе места.

Вся эта история так сильно возмутила друзей Федора Максимовича, что группа токарей во главе с Калей Сазоновой отправилась на прием к самому директору. А тот от удивления только развел руками:

— Нервное потрясение у Федора Максимовича? Когда? С чего?

Директор тут же вызвал к себе Горшкова.

— Вы что, уволили Кириллова?

— Да, самым гуманным образом. Отдел кадров учел нетранспортабельное состояние старшего мастера и решил не мучить его излишним вызовом в заводоуправление. Уведомление об освобождении с работы мы послали Кириллову с нарочным прямо в больницу.

— Уведомление в больницу... Да вы сошли с ума! Вместо того чтобы проявить к этому человеку чуткость...

— Как же, Нестор Иванович, чуткость была. Отдел кадров купил Кириллову коробку с шоколадным набором. Мы купили бы и вторую, да бухгалтерия не отпустила дополнительных средств.

Директору было совестно перед токарями за Горшкова.

— Виноват я перед вами, товарищи, — сказал он. — Недоглядел. Понадеялся на аппарат. Думал, сидит у нас на кадрах Горшков, он сделает все, что надо.

— На кадрах не нужно сидеть, — заметила Каля Сазонова, — кадрами должен руководить человек с умом и сердцем.

— Верно, — согласился директор и добавил: — А за Федора Максимовича не беспокойтесь. Я сегодня же поеду к нему и извинюсь.

И директор сдержал свое слово. Он поехал в больницу и извинился за Горшкова. Обидно, что директор не принес своему учителю извинения и за себя. А ведь было за что. Если бы товарищ Бабаханов сам с большим вниманием относился к людям, то ни один бюрократ на заводе не посмел бы маскировать черствость и бездушие показной коробкой с шоколадным набором.

1955 г.

ХВОСТЫ И КОПИИ

— Следующий!

В комнату входит мужчина. Старенький. Сгорбленный. В комнате три стола. Около каждого стул. Мужчину приглашают сесть. Он крихтит, а не садится. Мужчина слышит за своей спиной нетерпеливое дыхание очереди и просит:

— Пожалуйста, поскорей!

Чтобы снять копию со свидетельства о браке, заверить ее печатями, зарегистрировать в книге исходящих бумаг, три сотрудницы тратят пять минут. Как будто бы немного, а поток посетителей тем не менее не иссякает. В нотариальной конторе с утра до вечера длиннющий хвост. Он начинается у стола Татьяны Степановны Павленко, тянется через две комнаты и два коридора и оканчивается где-то у входной двери. Мне нужно взять

справку у старшего нотариуса. Но попробуй пройди к ней. Вход в комнату Татьяны Степановны только в порядке живой очереди. Вчера я был в этой очереди сорок пятым. Сегодня пришел пораньше, а у двери до меня двадцать три человека, и почти все требуют заверенных копий со свидетельства о браке, кричат: скорей, скорей!

Что случилось? Отчего такая спешка? Может быть, ЦСУ проводит экстренный переучет всех женатых, вдовствующих и разведенных? Оказывается, ничего подобного. Сведениями о семейном состоянии трудящихся интересуются не органы статистики, а совсем другие учреждения и организации.

У работницы Носовой заболел десятилетний сын Алеша. Мать везет ребенка в полушкинскую больницу. И хотя этот ребенок записан в паспорте у матери, больница требует нотариальные копии с двух документов: со свидетельства о браке матери и со свидетельства о рождении сына.

Паспорту не верят не только администрация больницы, но и сотрудники райсобеса. У работницы Назаровой не один сын, а семь, и ей приходится снимать копии с семи метрических свидетельств. А так как четверо из семерых женаты, то у матери требуют дополнительно еще четыре копии и с брачных свидетельств. Без этих документов работники собеса отказываются признавать наличие хронического ревматизма у старой работницы.

Корреспондент газеты забежал в нотариальную контору на несколько минут, за справкой, и задержался здесь на несколько дней.

Чтобы лучше изучить обстановку, он стоит уже не только по ту сторону письменного стола, но и сидит по эту, на месте секретаря-машинистки. Разговор с посетителями ведется уже не в три голоса, а в четыре, бумажки считываются не в шесть, а в восемь глаз. Мы подгоняем один другого. Скорей, скорей! Пишущая машинка творит чудеса. Она уже не печатает, а выстреливает свои копии. Десятками... Сотнями... А люди, стоящие в очереди, требуют еще и еще.

Я прихожу в нотариальную контору, как на службу. День, два, а на третий начинаю бунтовать. Я смот-

рю на трех новых своих товарищей — двух нотариусов и консультантку Марину и думаю: что мы делаем? Помогаем трудящимся? Нет! Мы в поте лица льем воду на мельницу волокитчиков и бюрократов. Каких? Да многих. И прежде всего бюрократов из министерств просвещения и высшего образования.

В самом деле. Чтобы поступить на очное отделение высшего учебного заведения, молодой человек должен предъявить приемной комиссии свой паспорт. Только и всего. А для поступления на заочное или вечернее отделение, в техникум или какую-нибудь специальную школу предъявления паспорта уже недостаточно. Абитуриент должен представить копию свидетельства о рождении, заверенную нотариусом.

Чтобы записать ребенка в общеобразовательную школу, родителям достаточно предъявить метрику. Директор посмотрит на нее и тут же возвратит назад. А попробуйте записать сына или дочь в ясли, детский сад, школу-интернат, в спортивную или музыкальную школу — с вас потребуют копию с метрики, засвидетельствованную нотариусом.

Сильны бюрократы из ведомств просвещения и образования, ничего не скажешь! Но бюрократы из жилищных органов еще сильнее.

Человеку дают ордер на квартиру в новом доме. Его бы поздравить. Одарить улыбкой. Куда там! Деятели райжилотделов, ЖЭКов, управдомы, председатели жилкомиссий наперегонки стараются омрачить человеку радость новоселья. У будущего новосела все необходимые документы в руках. Он показывает их жилищным работникам. Читайте. Но тем одного прочтения мало. Те читают, говорят «хорошо», «правильно» и, несмотря на это, просят предоставить заверенные копии.

С каких же документов будущему новоселу нужно снять копии? Вот считайте: со справок с места работы (мужа, жены, детей), со свидетельств о браке, рождении и разводе (если таковой был), с выписки из домовой книги, с решений и определений судов (в случае, если они происходили). А пенсионерам, кроме того, требуется представить дополнительно: копии с пенсионного удостоверения, со справки ВТЭКа, с медицинских за-

ключений, с трудового списка. А в этих списках по 20—30 страниц!

Везде ли так? Нет! Разбирая дела о назначении алиментов или о разводе, народные суды не требуют никаких копий. Кому нужны копии, если судья собственными глазами видел подлинные свидетельства о браке или о рождении? Сам читал справки и с места работы и с места жительства. Молодцы судьи! А вот управдомы, инспектора собесов, директора техникумов, заочных институтов не желают следовать прекрасному почину народных судей. Эти по-прежнему не доверяют не только ближним, но и самим себе. Этим мало прочесть, мало увидеть. Им нужно, чтобы кто-то третий заверил ими прочитанное двумя штампами и тремя печатями.

Отрыжки недавних, недобрых порядков. Времена всеобщей подозрительности давно минули, осуждены, а дух этого времени нет-нет да и проглянет в самом неожиданном месте.

Заведующая яслями требует копии со свидетельства о рождении Екатерины Евгеньевны Воробьевой. Требует не для пользы дела, а для «личного дела» в папку Екатерины Евгеньевны. А Екатерине Евгеньевне от роду всего восемь месяцев и три дня. Екатерина Евгеньевна ест, пьет и пачкает пеленки. Вот и все ее дела. Зачем же заводить специальную «папку» на Екатерину Евгеньевну?

Как зачем? На всякий случай! Для перестраховки! А изъян от перестраховки не только моральный, но и материальный. По подсчету нотариуса Ждановского района Никольской, за год их контора произвела 58 тысяч нотариальных действий, из них 46 тысяч пришлось на выдачу копий. Это по одной конторе, а двадцать шесть других московских контор выдали еще около миллиона копий. Чтобы заверить одну копию, человек должен три-четыре часа, то есть половину рабочего дня, простоять в очереди. Значит, только за один год жители Москвы истратили на получение никому не нужных бюрократических бумажек 500 тысяч рабочих дней!

Это про рабочие дни. А как подсчитать, сколько было испорчено крови, потрепано нервов на разговоры

и уговоры управдомов, инспекторов райсобеса, на бесцельные хождения от стола к столу в районо, райздраве?

Нотариусы Москвы писали по этому поводу письма в министерство юстиции. Министерство юстиции входило в контакт с министерствами просвещения, социального обеспечения, с жилищными органами. Юристы просили отменить старые инструкции. А результата никакого.

Посидев несколько дней на стуле секретаря-машинистки Краснопресненской нотариальной конторы, я захотел войти в контакт с представителями трех высоких организаций, которые не пожелали ответить делом на добрый призыв министерства юстиции. Я звоню, спрашиваю:

— Вам нужны копии с брачных и иных свидетельств?

— Нет!

— Так не требуйте их. Не мучайте людей!

А в ответ многозначительное молчание. И я понимаю. И работники министерства просвещения и работники жилищных органов давно бы составили новые, более современные инструкции, да боятся, как бы их не обвинили в отсутствии бдительности.

Страшное дело — сила привычки!

1962 г.

Седьмая «Победа»

Для того, чтобы пересесть с транспорта общественного пользования в свою собственную машину, требуется немного — желание и деньги. Желание стать автовладельцем у Бориса Ивановича Дороднова было давно, а деньги на покупку он собрал только два года назад. Собрал и сразу же отправился в магазин «Автомобиль». А там за огромной зеркальной витриной выстроились, поблескивая лаком, «Москвичи», «Победы», «Волги», семиместные лимузины. Борис Иванович осмотрелся, приценился и сказал продавцу:

— Я хочу купить машину.

— Пожалуйста. Если вы выбрали семиместный лимузин, то платите деньги в кассу, и мы сейчас же,

как говорится, завернем, завяжем и выдадим вам покупочку.

— Семиместный? Ой, что вы! Зачем мне такая роскошь?

— А если не семиместный, то вам придется стать в очередь.

А очередь была долгой. И это несмотря на то, что за последние годы магазин продавал в пять раз больше машин, чем прежде.

Борис Иванович не знал, что ему делать — ругаться или радоваться. Автомобиль — это не хлеб, не предмет первой необходимости. И если только в одной Москве свыше двухсот тысяч человек желает стать автовладельцами, то это хорошо. Значит, у широкого круга людей растёт достаток. А что круг этот был и в самом деле широк, свидетельствовал он сам, Дороднов, рядовой токарь завода «Станкоконструкция».

«Придется поступить на курсы любителей, — подумал Дороднов. — Пока буду учиться, очередь и приблизится».

Борис Иванович поступил на курсы, через полгода окончил их. Но без практики учеба быстро забылась. Через год Борису Ивановичу пришлось поступать уже на курсы переподготовки, а его очередь все еще была где-то за горами. Токарь стал нервничать, ссориться с продавцами. И тут как-то при очередной размолвке его вдруг отзывает в сторонку какой-то незнакомец и шепчет:

— Для вас есть машина.

Незнакомец выводит Бориса Ивановича из дверей магазина. И что же оказывается? Вдоль всего Спартакского переуллка и дальше, сначала по Первому, а потом и по Третьему Переведенским переулкам, стоят машины. Те самые, которые только вчера, позавчера красовались в магазине «Автомобиль», — «Москвичи», «Победы», «Волги». И около каждой машины владелец. И каждый подзывает, каждый шепчет:

— Давай по рукам.

А цены на эти машины страшные. Борис Иванович, как услышал их, так и ахнул. Каждая намного выше государственной. А владельцы машин стоят и посмеиваются: не хочешь переплачивать, стой в очереди.

Борис Иванович возмутился и решил вместе с другим автолюбителем, инженером того же завода Осиповым, спросить через газету «Правда» работников административных органов, почему они так нерешительно борются с автоспекулянтами. Наша редакция довела этот вопрос до сведения Прокуратуры СССР.

Прошел месяц, и вдруг вместо ответа авторы письма получают повестку с вызовом на допрос к следователю ОБХСС Бауманского районного отделения милиции Четвергову. Причем вызов этот сопровождался угрозой: «В случае неявки вы будете подвергнуты приводу...»

— Почему допрос, почему привод? — возмутились авторы письма.

А вот, оказывается, почему. Прокурору следственного управления Прокуратуры СССР не захотелось самому разбираться и отвечать авторам на сложный вопрос, она предложила сделать это следователю районного ОБХСС. А следователь не стал разбираться, в чем разница между рабкорами и обвиняемыми, и заменил разговор по существу письма непозволительным допросом.

— Ваши рабкоры не указали конкретных фактов, — оправдывался потом Четвергов. — Вот ежели бы они назвали имена, фамилии.

Но дело было не в фамилиях. Фамилии спекулянтов Четвергов мог легко узнать, спустившись из своего кабинета в Спартакровский или в один из Переведенских переулков. Но в том-то и беда, что органы милиции и прокуратуры вообще стали по отношению к автоспекулянтам на позиции непротивленчества. За примерами ходить недалеко.

В нашу редакцию пришло еще одно письмо от автолюбителя. Но уже не из Москвы, а из Тбилиси. На этот раз об автоспекулянтах писал рабкор Кузнецов. Причем писал, указывая конкретные фамилии — Мирашвили и Тютюнов. Мы направили это письмо в Тбилиси. И через месяц получили ответ из трех пунктов. В первом пункте заместитель начальника городского ОБХСС пишет, что рабкор Кузнецов при его опросе ничего предосудительного о Г. И. Мирашвили и Г. А. Тютюнове сказать не мог. Во втором пункте заместитель начальника констатирует, что действительно за последние несколько лет Г. И. Мирашвили продал четыре машины и имеет

пятую. А Г. А. Тютюнов продал шесть машин и имеет седьмую. И, наконец, в третьем, последнем пункте делается неожиданное резюме: факт спекуляции автомашинами со стороны Мирашвили и Тютюнова не подтверждается.

Три года назад Министерство торговли СССР разработало правила, по которым человек мог купить себе второй «Москвич» только через три года после покупки первого, а вторую «Победу» — только через пять лет. Но этот порядок часто нарушался. Владимир Григорьевич Бузаев, к примеру, умудрился с 1952 года купить и перепродать шесть машин. Седьмую машину ему уже не продали. Бузаев купил ее тогда на имя отца и сейчас спокойно ездит на ней по Москве. Анатолий Алексеевич Королев купил и перепродал пять машин. Когда он пришел за шестой, ему указали на правила министерства торговли. Королев стал тогда покупать машины на имя жены, Елены Георгиевны. В доме Королева, скромного автомеханика, был создан роскошный гараж. Сначала в этом гараже стояли два «Москвича», а потом две «Победы» и, наконец, два семиместных лимузина. Один — жены, другой — мужа, и оба, конечно, только до очередного покупателя. Кто же эти загадочные богатые покупатели?

Несколько лет назад, возвращаясь из командировки в Москву, я встретил у шоссе, под Орлом, цыганский табор. В этом таборе все было, как в стародавние времена: горел костер, над костром висел котелок, а на главном месте сидел седобородый старейшина. Вот только позади старейшины вместо телег стояли автомашины. Это был табор на семи «Победах». Я спросил старейшину, зачем он сменял лошадей на лошадиные силы. И старейшина ответил:

— Чтобы ездить быстрее.

Сто километров в час понадобились предприимчивому старейшине не для транспортировки цыганских песен, а для более прозаических дел. На Черном море появились косяки ставриды, и табор спешил на промысел. Конечно, не ловить, а купить и перепродать. А перепродажа шла в Курске, Орле, Туле. Табор на семи «Победах» делал второй рейс за неделю. А каждый рейс — две тонны рыбы.

Предприимчивые люди возят на «Победах» не только ставриду, но и первые вишни из Владимира в Москву, первый виноград из Тбилиси в Иваново, первые персики из Еревана в Сочи, первые яблоки из Гомеля в Киев. Возят все, что дает прибыль: гусей — к рождеству, яйца — к пасхе. Там, где спят государственные заготовители, обязательно действуют частники на личных автомашинах. Этих частников наш народ наделил презрительными кличками. В среднеазиатских республиках их называют калымщиками, в Москве — халтурщиками, в Ленинграде — леваками, на Украине — бараньими, в Армении — папахами...

И вся эта нечистая компания без труда и вне всякой очереди приобретает себе машины в Спартакоском или в Переведенских переулках. Московская городская госавтоинспекция решила как-то положить конец грязным махинациям и ввела ограничения для перекупщиков.

— Сначала отъезди пять лет на одной «Победе», тогда мы разрешим тебе поставить на учет вторую.

А Главное управление милиции по совету работников бывшего Министерства юстиции СССР выступило против этих ограничений. И знаете, по какой причине? Они-де ущемляют права трудящихся.

И вот результаты. Н. Н. Еголин купил и перепродал четыре машины, ему регистрируют пятую. Ю. М. Черновский продал пять машин. Ему зарегистрировали шестую.

Министерство торговли открыло в свое время специальный комиссионный магазин.

— Хочешь купить новую машину, продай старую через комиссионный магазин, и не втридорога, а по нормальной цене.

И этот магазин тоже был закрыт, и все по той же причине: он, мол, ущемляет права трудящихся.

Каких трудящихся? Тех, которые гоняют «Победы» за мандаринами и ставридой? Или тех, которые уже перепродали семь машин и сейчас стоят в очереди на восьмую?

Мы заканчиваем этот фельетон вопросом, который задал в своем письме в редакцию токарь завода «Станкоконструкция» Б. И. Дороднов: когда же наконец органы надзора и торговли перестанут пекаться о правах ав-

тоспекулянтов и вспомнят о правах автолюбителей? Только на этот раз мы ждем ответа от заинтересованных организаций не через следователя районного отделения милиции, а непосредственно в редакцию.

1957 г.

Святое корыто

Бабка Гапка сочувственно покачала головой и сказала:

— Иди, милый, к Динатее, не бойся. Она тебя мигом вылечит. Это ей свыше такая сила дадена — лечить людей от всех болезней: от сглаза, контузии, беркулеза.

Бабка Гапка не говорит, куда идти, чтобы найти Динатею. Местным жителям хорошо известно: Динатея пользуется своих больных прямо у колодца. Правда, до недавнего времени сей колодец ничем примечательным не отличался. Это был самый обыкновенный родник, из которого жители близлежащих улиц брали воду для питья. Когда в Городищах провели водопровод и у женщин отпала необходимость ходить под гору с ведрами, горсовет выделил средства на покупку дубового корыта и устроил у родника, как говорит бабка Гапка, «общественную пральню». В этой пральне стирали белье вплоть до самого июня. И вдруг в ночь на четвертую среду после пасхи во время сна к Динатее явился «сам» и сказал:

— Ты избранница. Иди и исцеляй.

И Динатея пошла прямо к стиральному корыту и возвела его в сан чудодейственной купели.

На первых порах в Городищах мало кто верил вещему сну Динатеи. Ей нужно окунуть больного в корыто, а там белье полощут. Динатея чуть ли не в рукопашную требует, чтобы она, «самим» избранная и отмеченная, допускалась к колодцу во всякое время без очереди. А прачки, известно, — народ озорной, смеются, говорят: докажи свою святость на деле.

— И Динатея доказала, — говорит бабка Гапка. — Она привела в пральню слепенького, и он ушел оттуда зрячим.

Бабка Гапка признается честно, что она не присутствовала при чудодейственном прозрении слепенького.

— Мне рассказывала про это Сима, торговка яблоками. А она человек верный, — уверяет бабка Гапка, — врать не станет.

Так сочинялись и разносились по ближним и дальним селам небылицы. Народ слушал их и удивлялся:

— И чего только не набрешут бабки-шептуньи!

Но находились люди темные — они верили бабкам.

Слава о «святом» колодце распространялась быстро. Через какой-нибудь месяц Динатея уже стыдилась ходить пешей. Она стала ежедневно приезжать к своему корыту на такси; причём ездила она не одна, а со свитой. У «святого» колодца возник самый настоящий жульнический трест. Бывшая монашка Таисия считалась здесь «ассистентом» по внутренним болезням, буфетчик Влас — по кожным, а дядя Проша, сапожник из Жирятина, — по детским. И хотя «ассистенты» были из разных мест и разных сект, все они сходились на одном, считая нечистого духа причиной всех болезней: грыжи, коклюша, тифа.

— Это бес сидит в тебе.

Изгнание беса производилось публично у колодца следующим нехитрым способом. «Ассистенты» раздевали больного и окунали его в воду, затем к больному подходила Динатея и запросто спрашивала у нечистого духа:

— Бес, а бес, скоро ли ты выйдешь?

И бес глухим, утробным голосом отвечал:

— Выйду через пять ден.

Тем, кто слышал в цирке выступление чревоещателей, нетрудно было догадаться, что спрашивала беса и отвечала за него сама Динатея. Но больному, лежавшему нагишом на глазах у публики, трудно было заниматься догадками. Он принимал всю эту комедию за чистую монету и раболепно все пять дней навевывался к Динатее слушать молитвы, которые она читала. Динатея пользовалась больных не только акафистами, она

еще продавала им разных куколок, вырезанных из дерева.

— Против зубной боли твоему мужу помогут святая Ксения и святая Софья, — говорила она женщине в красном платье.

— Да он не зубами мается. Пьет он у меня без меры.

— А против пьянства первое средство — святой Егорий. — И, порывшись у себя в сумке, Динатей извлекает из нее еще одну куколку.

Женщина бережно заворачивает куколку в тряпицу и медленно идет к дяде Проше. Динатей получает гонорар не сама, а через «ассистента». Дядя Проша деловито пересчитывает деньги и громко кричит в сторону купели:

— Чей черед, раздевайся!

Прием больных продолжается. Трудно поверить, что этот прием происходит в наши дни на окраине такого большого города, как Брянск. Кстати, окраиной эту часть города можно назвать только условно. Здесь в каждом доме радио, электричество, водопровод. Сядьте на автобус — и через три минуты вы в Бежице, а через десять — в центре Брянска. Но ни в Брянске, ни в Бежице никто почему-то не заметил, что на трассе городского автобуса с недавних пор появилась новая остановка — «Святой колодец». А Динатей, кстати, не делала секрета из своих бдений. Все манипуляции с окунанием в стиральное корыто больных и изгнанием из оных беса были хорошо видны не только пассажирам автобуса. Слева, в пятистах метрах от колодца, находится городская поликлиника; справа, в трехстах метрах, — клуб. Но и врачи и культработники жили с Динатеей в мире.

Я был в клубе и разговаривал с его директором Григорием Аркадьевичем Мешочкиным. По мнению Григория Аркадьевича, городищенский клуб работает неплохо. Драматический кружок разучивает новую пьесу, в кино демонстрируются самые новые фильмы, в библиотеке читаются лекции. Директор показывает план. Все правильно. В плане значится даже специальная лекция директора школы «О происхождении религии». Эта лекция состоялась месяц назад, но без видимого успеха. А почему? Да потому, что лектор прочитал ее по старым тезисам, по которым он выступал в прошлом и позапрошлом

годах. А в этом году положение в Городищах изменилось, и директору школы нужно было выступать не по принципу «в общем и целом», а назвать свою лекцию прямо: «Ложь о святом колодце в Городищах». Но Григорий Аркадьевич не устроил такой лекции по принципиальным соображениям. Он считал боевую, наступательную агитацию неуместной и отделялся тем, что устраивал раз в полгода в клубе одну общую антирелигиозную беседу.

Городищенский клуб принадлежит Бежицкому горсовету. Почему же никто из работников горсовета не разъяснил директору Мешочкину его заблуждений и не помог ему организовать действенную антирелигиозную пропаганду среди населения?

— А наше население агитировать нечего, — сказал председатель горсовета. — У нас всем и каждому ясно: религия — дурман.

— Вы были у колодца?

— К колодцу ходят не наши, не бежицкие, и я за них не в ответе.

Хорошо, предположим даже, что на пральню ходят «не ваши, не бежицкие». А разве жителей соседних районов могут дурачить мракобесы? Что и говорить, странно рассуждает председатель горсовета! И не только странно, но и неверно. Если бы председатель хоть раз побывал у колодца, то он увидел бы там своих сограждан не только среди лечащихся, но и среди лечащих. Кстати, пресловутая Динатя живет в Бежице, на Советской улице, совсем рядом с горсоветом, под именем Евдокии Ивановны Лифановой. Той самой Лифановой, которая дважды судилась за мошенничество. Как видите, из мошенницы Динатя переквалифицировалась в святую. Разве это плохой штрих для конкретной агитации?!

Пока председатель горсовета устанавливал, кто ходит к колодцу, «наши или не наши», среди жителей Бежицы и Городищ в результате совместных купаний в корыте появились кожные заболевания, а так как больные самым беззащитным образом еще и обирались во время купаний, то начальник милиции для того, чтобы положить конец этим безобразиям, взял и разобрал злополучную пральню.

— Вы знаете, — сказал председатель горсовета, —

теперь у колодца полный порядок. Корыто разбито, и около него установлен милицейский пост.

Несмотря, однако, на этот пост, у колодца по-прежнему читаются акафисты. Только теперь больные окунались не в корыто, а прямо в лужу.

— Это у вас стригущий лишай, — говорил постовой милиционер дряхлой старухе. — Его надо лечить электризацией, а не молитвой.

Молоденький сержант милиции искренне старается просветить заблуждающихся, но ему одному эта работа явно не по силам. Сюда бы врачей из поликлиники, культработников из клуба! Но они не шли.

К разбитому корыту идут не только люди невежественные и фанатичные. Кое-кто лезет в лужу просто по глупости. Александре Михайловне Чухлинцевой какая-то старуха сказала (не бабка ли Гапка?), что благодать из пральни распространяется как прямо, так и косвенно.

— Одна вдова хотела выдать свою дочь за директора кинотеатра. И что бы вы думали? Приняла она две ванны, и ее дочь стала директоршей.

Александра Михайловна сначала посмеялась над этим рассказом, а потом внезапно решила принять две ванны и прямо в чем была — бух в лужу.

— Окунусь, авось, что и выйдет! — говорит она и бежит за угол надеть сухое платье: мокрое надо отдать дяде Проше, иначе не сбудется желание.

Плотник Мешков говорит мне:

— Лечат же на курортах ревматиков. Может, и у нас в Городищах целебный источник объявился? Старики ищут в пральне божьей благодати, а для меня это, только лечебная процедура.

— В нашем источнике, говорят, такая же вода, что в Сочи, — заявил секретарь горкома комсомола.

— Кто говорит?

— Одна бабка из Городищ. Она носит нам на квартиру молоко.

— А вы бы проверили. Как знать, может быть, Городищи и в самом деле стали бы вторым Сочи.

Но ни секретарь горкома комсомола, ни заведующий горздравотделом не дали злополучную воду на исследование, и Динатей спокойно продолжала морочить головы людям.

Центральный институт курортологии по нашей просьбе исследовал городищенский источник и установил, что ничего целебного в нем нет. Динатея лечила от всех болезней самой обыкновенной колодезной водой.

У разбитого корыта еще и сегодня толпится народ: старики, старухи, дети. Вот стайка учеников из бежицких и городищенских школ. Ученики уже несколько дней не ходят на учебу. Мальчишки ждут, когда наконец Динатея вытащит на свет божий хоть одного беса: интересно все-таки посмотреть, как же он выглядит.

— У колодца полный порядок, — говорит председатель горсовета. — Там установлен милицейский пост.

Я еду в Брянский обком комсомола узнать, может быть, здесь возьмутся помочь милицейскому посту. Но секретарь обкома оказывается самым неосведомленным человеком в городе. Он только вчера услышал о существовании колодца.

— Там случилось что-нибудь? Что вы говорите?! Ай-ай, как в нашем обкоме плохо поставлена информация! Два месяца у нас под боком безобразничают шарлатаны, а мы даже не знали! — сердито бросает секретарь в сторону работников обкома и добавляет: — Сегодня же надо сесть и составить план подробных мероприятий по массово-разъяснительной работе. У колодца в Городищах должен быть наведен порядок.

Хочется думать, что секретарь сдержит свое слово и Брянский обком комсомола, хотя и с большим опозданием, возьмется наконец за разоблачение мракобесов.

© 1957 г.

Правнуки Ляпкина-Тяпкина

Эта командировка сулила много неожиданных приключений. Нужно было поехать в один южный город и разоблачить некоего правнука Ляпкина-Тяпкина, о лихонимстве которого сообщила нам редакционная почта.

Этот правнук имел два существенных отличия от сво-

его знаменитого прадеда. Первое — он торговал не судебными решениями, а медицинскими диагнозами, а второе — брал мзду наличными, явно предпочитая денежный знак борзым щенкам. Правнук ввел строгую таксировку на больничные листы. Если вы платили ему пятерку, он находил у вас грипп и давал возможность три дня не являться на работу. За десятку у вас обнаруживалась ангина, и вы могли гулять неделю.

Я решил явиться к этому мздоимцу под видом рядового больного, дать ему двадцатку, получить бюллетень с каким-нибудь полумесячным воспалением и тут же разоблачить прохвоста.

Мой план был одобрен. Мне дали шестьдесят рублей — сорок на дорогу, двадцать на воспаление — и сказали:

— Езжай, лови взяточника с поличным, а мы поддержим.

Все как будто было в порядке. Мне следовало только достать железнодорожный билет, и я мог начать свое заманчивое путешествие.

Но как достать билет? Время летнее, курортное, а поезд южный.

— Билет достать нетрудно, — сказала мне соседка. — Отправляйтесь на вокзал, дайте десятку носильщику, и он вам все устроит.

— Что? Дать взятку?

— Ну что вы! Разве десятка — взятка? Это только легкий магарыч за услуги.

— Простите, а какая, собственно...

Но соседка не дала мне договорить.

— Отправляйтесь на вокзал, несчастный, — сказала она, — а то опоздаете на поезд.

И я отправился. Первый же носильщик, к которому я обратился, небрежно взял у меня деньги и сказал:

— Третья база Мосплотминвода. Найдете там Лизавету Григорьевну и скажите, что вы от Макарова.

— При чем тут база? Мне нужен железнодорожный билет.

— А я вам о чем толкую? — обиделся носильщик. — Билетами Лизавета Григорьевна распоряжается, а я только ее адрес даю.

Спорить было некогда, и я помчался на третью базу Мосплотминвода. Лизавета Григорьевна числилась старшей уборщицей этого почтенного учреждения. Она сидела в кубовой и вела разговоры с клиентами из-за закрытой двери, через дворничиху. Я постучался.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Это я, от Макарова.

В кубовой зашептались, и кто-то попросил меня положить под дверь десятку.

— Еще десятка, за что, — возмутился я, — если мой билет стоит всего пятнадцать рублей?!

В кубовой снова зашептались. Дверь осторожно открылась, и в образовавшуюся щель выползла дворничиха. Она внимательно осмотрела меня и сказала, что пятнадцать рублей мне придется еще уплатить, но уже не Лизавете Григорьевне, а проводнице международного вагона, который и доставит меня к месту назначения.

До отхода поезда оставался час. Медлить было опасно. И, как ни протестовало мое сердце, я сунул под дверь десятку. В ответ дворничиха вынесла мне рекомендательную записку. В ней была всего одна строчка:

«Марея, биряги свою здоровю».

Строчка была, конечно, не без литературных изъяснов. И обиднее всего было то, что эта самая литература обошлась мне по неправдоподобно высокой расценке: пять рублей за каждое искалеченное слово.

— Торопитесь, — сказала дворничиха и хлопнула дверью.

Я помчался. Скорый поезд уже стоял у перрона. Проводница «Марея» показалась в дверях международного вагона.

— Я к вам от Елизаветы Григорьевны.

Проводница прочла рекомендательное письмо и сказала как-то мимоходом:

— Положите в конверт десять рублей и суньте его в карман моему напарнику.

— За что напарнику?

Елизавета Григорьевна сказала: билет будет стоить всего пятнадцать рублей.

— Верно. Пятнадцать вы дадите за билет касси-

ру, — разъяснила мне «Марей», — а десятку — мне с напарником, за плацкарту.

«Ну, хорошо! — молча пригрозил я «Марее», — я заплачу, только это будет вашей последней плацкартой, прохвосты!»

Я решил сунуть конверт в карман напарника при свидетеле. Самым лучшим свидетелем был бы, конечно, представитель административной власти. Я вышел на улицу. На счастье, тут же, у подъезда, стояли два сотрудника железнодорожной охраны.

— Товарищ, — обрадовавшись, сказал я одному, — помогите мне поймать...

— Проходите, гражданин, не мешайте, — грубо оборвал меня сотрудник. — Видите, люди заняты.

Я присмотрелся. Действительно, второй представитель охраны старательно отвинчивал номер с нашей редакционной машины.

— Это по какому случаю? — взволновался я.

— Нарушение правил движения, — сказал первый.

— Какое движение? Машина доставила меня на вокзал и спокойно стоит у подъезда.

— Не за движение, так за долгое стояние в неподобающем месте. Шофер знает...

Наш шофер Иван Иванович, очевидно, действительно что-то знал. Он подмигнул мне, приглашая отойти с ним в сторону.

— Это они нарочно придрались, чтобы получить магарыч, — сказал он.

— Какой магарыч?

— Товарищи попросту захотели выпить, — спокойно разъяснил мне шофер.

— Вы что, клеветеете? — прошипел я.

— Зачем клеветать? Да вы испытайте их сами.

Но мне не пришлось их даже испытывать. Я только показал палец, и сотрудник железнодорожной охраны Февралев потянулся за наживкою.

— А ну, Денежкин, — сказал он своему товарищу, — привинчивай номер на место.

Денежкин метнул две недобрые молнии, сказал «тэк-с» и многозначительно направился в мою сторону. Сердце мое заняло.

«Ну, все, — подумал я, — попался, голубчик. Сейчас тебя доставят к прокурору, и поделом».

И мне стало стыдно за то, что я так легко послушался шофера и оскорбил честную душу Денежкина, предложил ему гнусный, обидный магарыч. Но честные начала в груди Денежкина не справились с соблазном. Он метнул еще одну молнию, сказал еще раз «тэк-с» и протянул руку.

Ступив на стезю взяточдателя, мне трудно было остановиться, и я дал. Думать о поездке к правнуку Ляпкина-Тяпкина уже не приходилось. На эту поездку у меня попросту не осталось ни копейки.

Я возвращался домой ни с чем. В голове у меня гуляли нехорошие мысли. Дело было даже не в Лизавете Григорьевне. Я думал о Февралеве и Денежкине. Уважение, с которым я относился до сих пор к представителям железнодорожной охраны, начало колебаться. Я, конечно, понимал, что эти двое — исключение из правила, что они не могут олицетворять собою даже один взвод летучего отряда, и все же мне было стыдно за весь взвод, за запятанный железнодорожный мундир.

1946 г.

Тринадцать отзывов

Судьба у этой книги была счастливой. Не успела она выйти из печати, как на имя главного редактора Госпланиздата начали поступать поздравительные письма.

«Спасибо вам и автору. Книга замечательная.

Сергейчук — преподаватель Ленинградского кораблестроительного института».

«Благодарим. Эта книга необходима всем.

Алексеев и Гордейчик — рабочие Быковского аэропорта».

«Спасибо. Прекрасно.

Петров — преподаватель Академии военно-воздушных сил».

Книга А. М. Щукарева пришлась по душе очень ши-

рокому кругу читателей. Преподавателям, станционным весовщикам, начальникам главка и даже трем подружкам-хохотушкам, одна из которых поставила под своим письмом весьма игривую подпись: «Люлю».

Нужно сказать прямо, что работники Госпланиздата не рассчитывали на такой поток именинных писем и открыток. В продажу поступил «Курс промышленной статистики». Книга, полная таблиц, схем и бухгалтерских отчетностей. И вдруг, на тебе, Люлю без ума от «Курса промышленной статистики», а сами статистики хранят молчание.

Но вот, наконец, приходит письмо и от них. Но не поздравительное, а пригласительное. Три организации — управление статистики промышленности ЦСУ СССР, кафедра статистики МГУ и кафедра промышленной статистики Московского экономико-статистического института — приглашали редактора издательства на обсуждение книги.

В этом обсуждении приняло участие около шестидесяти человек, и ни один не сказал «спасибо» ни автору, ни издательству. Наоборот, книга Щукарева подверглась резкой критике. Автора обвиняли в плагиате, в невежестве. Вместо того чтобы выступить на совещании статистиков и ответить на предъявленные ему обвинения, Щукарев побежал во всякие инстанции с жалобой:

— Заступитесь! Меня травят завистники.

Щукарев жалуется, а я не понимаю, кто и кому мог тут завидовать. Автор книги был кандидатом наук, а уличали его в невежестве доктора, профессора.

— Да какие они профессора! — машет рукой Щукарев.

Автор «Курса промышленной статистики» не доверял научной компетентности общепризнанных авторитетов.

— Ну, что ж, вы не верите этим профессорам, назовите других, и мы пошлем вашу книгу на отзыв им.

— Послать можно, — говорит Щукарев. — Только кому?

Александр Михайлович долго трет лоб, вспоминает, наконец говорит:

— А что если позвонить Глебу Ивановичу Бакланову? Он видный ученый, уважаемый человек.

Я звоню Бакланову, спрашиваю, какого он мнения

о книге Щукарева, и выясняется, что мнение Бакланова сугубо отрицательное.

Щукарев слышит отзыв «видного ученого и уважаемого человека» и обрушивает на него град нелестных эпитетов.

— Я напрасно назвал вам фамилию Бакланова. Звоните профессору Савинскому, Дмитрий Васильевич не только ученый с мировым именем, это человек большой и благородной души.

Я звоню Савинскому, и выясняется, что «человек большой и благородной души» придерживается такого же нелестного мнения о книге Щукарева, как и Бакланов.

Щукарев негодует:

— Звоните академику Струмилину. Он мой учитель. Он скажет все как есть.

Академик Струмилин тоже не оправдывает надежд «своего» ученика. Он называет его книгу плохой, путаной и добавляет:

— В книге Щукарева грубейших элементарных ошибок больше, чем допустимо даже в студенческих курсовых работах.

Я слушаю Струмилина и думаю: «Путаная, плохая книга». А как же быть тогда с именинными письмами, которые пришли в адрес Госпланиздата? Ведь эти письма писались не только подружками-хохотушками. Вот похвальный отзыв аспиранта кафедры статистики Гобо. Аспирант не барышня Люлю. Он-то ведь может отличить настоящий труд ученого от плохого студенческого выступления!

Да, конечно, может. Аспирант Гобо смотрит на письмо за его подписью, наполняется негодованием и говорит:

— Это фальшивка. Я такого письма не писал.

Фальшивка! Я решаю тогда связаться с авторами других именинных писем. Звоню в Ленинград и прошу к телефону преподавателя кораблестроительного института Сергейчука. А директор института мне заявляет:

— У нас такого преподавателя нет.

Сергейчука нет. А существуют ли Алексеев и Гордейчик, Петров... барышня с игривым именем Люлю?

Я звоню в отдел кадров Быковского аэропорта, в Академию военно-воздушных сил, и мне всюду отвечают: — У нас таких нет.

Нет! А кто же тогда писал похвальные отзывы? Мы начинаем внимательно присматриваться к этим отзывам и устанавливаем, что они не писались, а печатались на машинке. Причем на одной и той же: из Москвы, Ленинграда, Быкова, Тулы... И, судя по стилю, одной и той же рукой. Но чьей именно?

Похвальные отзывы шли не только в адрес Госпланиздата. Один из них, за подписью профессора Чмирнского, был даже напечатан в «Промышленно-экономической газете». Как выяснилось позже, заказ на статью профессор Чмирнский получил не от редакции газеты, а от самого Щукарева. Поначалу Чмирнский отказался принять заказ.

— Книга у вас о промышленной статистике, — сказал он Щукареву, — а я статистик сельскохозяйственный...

Но Щукарев продолжал настаивать, и Чмирнский сдался.

— С моей стороны было бы не по-соседски не оказать любезности А. М. Щукареву, — объяснял свой поступок в редакции маститый профессор. — Мы же с коллегой живем в одном доме, на одной лестничной клетке.

И Чмирнский написал статью, не зная, куда и за чем. Коллега Щукарев обещал сам распорядиться ее судьбой. И Щукарев распорядился. Он придал, как пишет нам Чмирнский, статье «рекламный характер», внеся «изменения в текст и направленность статьи». А изменения были весьма бесцеремонного свойства.

— Я вынужден был обратиться в редакцию «Промышленно-экономической газеты» со специальным письмом, — говорит Чмирнский и добавляет: — Что же касается Щукарева, то я не подаю ему больше руки.

Дружба между добрыми соседями пошатнулась. Однако ссора была джентльменской и не вышла за пределы лестничной клетки. Такой оборот устраивал коллегу Щукарева, но никак не устраивал статистиков. Им хотелось узнать, как могла плохая, путаная книга выйти из печати. Да читал ли кто-нибудь ее в Госпланиздат перед отправкой в набор? Оказывается, никто.

— Мы понадеялись на отзывы со стороны, — говорит литературный редактор книги Адов.

Я читаю отзывы со стороны. А их немало. Тринадцать. И все они того же поздравительного свойства. Кто же заказывал эти поздравления? Работники издательства? Нет. Их принес в издательство сам Щукарев. Добыл их автор «Курса промышленной статистики» нехитрым способом. Он собрал как-то одиннадцать студентов заочного экономического института и попросил их написать по нескольку слов о своей будущей книге. И студенты оказали педагогу любезность. Так в Госплан-издате появилось сразу одиннадцать положительных рецензий. Двенадцатой была злополучная рецензия профессора Чмирнского (та самая, которая появилась потом в газете) и тринадцатой — отзыв кафедры, на которой работал Щукарев. Тринадцать положительных рецензий. Чертова дюжина, чего как будто бы больше. И рукопись Щукарева литературный редактор издательства Адов посылает в набор. Посылает в надежде, что ее прочтет научный редактор Бобиков.

— Он человек знающий, не подведет.

Профессор Бобиков и в самом деле человек знающий, авторитетный. Он руководит той самой кафедрой, которая давала Щукареву положительную рецензию. Ту, тринадцатую по счету. Все как будто хорошо. Хорошо, да не совсем. Кафедра рекомендует для печати плохую книгу Щукарева, а Щукарев, как бы в благодарность, рекомендует руководителя кафедры Бобикова редактором своей книги. Бобиков и сам понимает, что в этих взаиморекомендациях не все ладно, и говорит:

— Я не хотел быть редактором. Но Щукарев настаивал, и мне было неудобно отказать коллеге по кафедре.

Коллегал! Какое доброе, хорошее слово, и как много плохих дел прикрывается иногда этим добрым словом! Профессору Чмирнскому не хочется писать похвальную рецензию на слабую книгу, а он кривит душой, пишет. Профессору Бобикову не следовало бы рекомендовать недоброкачественную научную работу для печати, а он кривит душой, рекомендует. Членам экспертной комиссии министерства было видно, что книжка у Щукарева не получилась, но вместо того, чтобы забрако-

вать эту книжку или предложить автору переделать ее, члены комиссии кривят душой и возводят недоброкачественный «Курс промышленной статистики» в высокий сан учебника для вузов. И все по той же причине.

— Щукарев — коллега. Ну как обидеть его отказом! А коллега Щукарев оказался человеком неблагодарным.

— Я мучался, редактировал рукопись, — говорит профессор Бобиков в редакции, — а Александр Михайлович не внес в верстку ни одного моего исправления.

И вот на лестничной клетке разразилась еще одна джентльменская ссора. Коллега Бобиков перестает подавать руку коллеге Щукареву.

Я спрашиваю Бобикова:

— Зачем вы подписывали в печать книгу, полную ошибок?

А он отвечает:

— Я не подписывал. Щукарев вместо моей подписи поставил свою.

Случай в издательской практике беспрецедентный. Автор книги не только сам назначил себе редактора, но и сам лишил его этих высоких функций, послав книгу в печать без редакторской визы. А если прибавить к этому, что автор сам организовал положительные отзывы и рецензии на свою книгу, то нетрудно будет ответить и на последний вопрос, кто тот таинственный незнакомец, который от имени рабочих, преподавателей и научных работников наводнял Госпланиздат поздравительными письмами по поводу выхода в свет пре-красной книги А. М. Щукарева.

«Спасибо вам и автору».

А благодарить, собственно, было не за что ни автора, ни его коллег, ни издательство.

1960 г.

Угловой жилец

Владимир Мараховский оказался привередой. Жить в общежитии, как жили другие иногородние студенты, он отказался:

— Не привык.

Перед началом нового учебного года Мараховский обратился к своим ленинградским товарищам с просьбой:

— Помогите одинокому студенту подыскать угол.

И товарищи помогли:

— В нашем доме есть хозяйка с жилизлишками.

Мараховский не спросил, сколько метров в жилизлишках. Его интересовал другой вопрос:

— Сколько лет хозяйке? Она вдова или разведенная?

— Да ты что, собственно, ищешь — комнату или невесту?

— Комнату, только комнату!..

Прежде чем пойти посмотреть комнату, Мараховский зашел в парикмахерскую привести в порядок свой бобрик.

Знакомясь с хозяйкой, Мараховский старался в первую очередь определить не ее достоинства, а ее недостатки.

— Какая у вас чудная обстановка! Сервант. Телевизор. Славянский шкаф. А что в шкафу?.. О... О!.. Два мужских костюма. Они остались от мужа? Какой размер? Прекрасно! Господи, да тут еще замшевые штiblеты, рубашка-зефир...

Мараховский мило улыбнулся хозяйке и в тот же день переехал на новую квартиру. Наш студент обладал одной примечательной особенностью: он легко входил в доверие к людям и становился своим человеком в доме. Прошел всего месяц, а этот человек уже сидел за вечерним столом на месте покойного хозяина, через два месяца он ходил в его ботинках, костюмах.

Но как ни были хороши костюмы, Владимир Мараховский не злоупотребил гостеприимством своей хозяйки: за неделю до окончания учебного года он начал упаковывать вещи.

— Вовочка, ты куда?

— В Ставрополь, на каникулы.

Хозяйка напекла угловому жильцу на дорогу домашнее печенье, снабдила его домашним вареньем.

— До сентября, милый мальчик.

Хозяйка, однако, зря ждала квартиранта. Жить на прежней квартире наш студент больше не собирал-

ся. Не к чему. Замшевые штиблеты истрепались, костюм утратил былую свежесть, и Мараховскому пора было думать об обновлении гардероба. И вот на улицах города снова появляется объявление: «Одинокий студент ищет угол».

Так и жил Владимир Мараховский все годы своей учебы в Ленинградском университете. А учился он еле-еле.

— Вовна, тяни на пятерки, — говорили ему комсомольцы. — Опять останешься без стипендии.

А Вовка в ответ только загадочно улыбался.

«При моей внешности и обходительности, — думал он, — можно легко прожить и без пятерок».

Так, на одних тройках Владимир Мараховский дошел до последнего курса. Ему оставалось сдать только государственные экзамены, чтобы получить диплом. И он сдал два экзамена из трех. А вот последний, третий, сдавать отказался. И сделано это было не потому, что впечатлительный студент в последний момент испугался строгостей экзаменационной комиссии. Нет, этот студент, несмотря на юные годы, умел держать свои эмоции на приколе. Он действовал всегда только из соображений голого расчета. Если бы Мараховский сдал последний экзамен, его тут же направили бы преподавать в периферийной школе. А он не хотел ехать на периферию. И вот вместо того чтобы готовиться к экзамену, Мараховский сел писать заявление.

«Прошу перевести меня в связи с изменением жизненных обстоятельств с последнего курса филологического факультета Ленинградского университета на четвертый курс МГУ».

Как это ни странно, его перевели, и Мараховский стал оклеивать своими объявлениями уже московские заборы: «Одинокий студент ищет угол».

И снова этот студент дошел до последнего курса. Что делать теперь? Сдать государственный экзамен и ехать на работу в село? Нет, ни в коем случае!

— При моей внешности я проживу и без работы.

— Чем вы занимаетесь? — спросил я Мараховского.

— Снимаю угол.

— Это разве профессия? Где вы работаете?

— ??

Два последних года молодой, полный сил человек ведет праздный образ жизни.

— Я живу в свое удовольствие, — говорит он.

А удовольствие это было весьма убогого свойства. До полудня в постели. Потом телефонные звонки приятелей.

— Вовка, как жизнь?

— Ни в жилу...

— Пошли, прошвырнемся.

— Железно.

И Вовка идет на улицу Горького. Со всех сторон ему кивают знакомые. Мишель, Бубусь, Каланча... Все это тоже по большей части угловые жильцы. Их легко узнать. И не столько по одежде и бобрику, сколько по вялым, замедленным движениям. Друзья-приятели Мараховского часами стоят у фонарных столбов и магазинных витрин, лениво провожая взглядом молодых, хорошеньких девушек. К вечеру угловые жильцы собираются по трое — пятеро и тут же на улице начинают перемывать косточки своим хозяйкам. Владелицам жилищ излишков достается главным образом за скупость. Шутка ли, у молодых квартирантов часто не бывает в кармане даже на трамвай! Чтобы достать трешницу на чашку кофе с пирожным, Мараховскому приходится два раза в день бегать к своей хозяйке на службу и кланяться по рублю. Но ведь он, Мараховский, человек тонкий, с запросами. Ему нужны деньги не только на кафетерий, но и на маникюр, на футбольный матч...

Несмотря на двусмысленность своего положения, этот «тонкий» человек мирился с любыми унижениями, лишь бы только не трудиться.

И хотя вот уже два года, как Вовочка перестал ходить на лекции, Мараховский по-прежнему снимает углы и по-прежнему в конце каждого учебного года начинает собирать вещи, готовится к отъезду.

— Ты куда?

— В Ставрополь, на побывку.

В этом году Вовочке не удалось без шума сменить место своего постоя. Хозяйка поймала его у дверей и закрыла на замок. Мараховский затопал ногами, закричал:

— Не смей покушаться на свободу моей личности!

Через день-два, улучив момент, он выскользнул на улицу и прибежал к нам.

— Помогите! Я не хочу больше снимать жилищлишки у Елены Митрофановны.

— Что случилось? Почему?

— Она в два раза старше меня. У нее дочь замужем.

У Елены Митрофановны, кроме замужней дочери, было еще четверо ребят школьного возраста. Мал мала меньше. Но это обстоятельство до самого последнего времени никак не смущало Мараховского. Может быть, теперь, с опозданием, у молодого парня проснулась совесть, и ему стало стыдно перед детьми, которых он объедал, и за их мать и за себя самого? Нет, совесть Мараховского спала, как и прежде. Переезд опять объяснялся голым расчетом. Мараховский присмотрел новую хозяйку, и новая обещала устроить будущего квартиранта на сказочную должность в каком-то учреждении, где Мараховский якобы будет получать зарплату, не работая.

Ну разве мог он, Мараховский, отказаться от такого предложения?

Отвратительное племя приживальщиков! Оно ассоциируется у меня с гнусным обликом замоскворецкого приказчика, который шел в наперсники к столетней купчихе, чтобы «вродниться» в торговое дело.

Но Владимир Мараховский не приказчик. Он окончил два советских вуза. Товарищи, с которыми учился Мараховский в ЛГУ и МГУ, работают педагогами. Их уважают, любят школьники, родители школьников, товарищи по работе. А Мараховский не ищет уважения окружающих. Он ищет легкой жизни. Мараховский согласен сейчас жениться даже в отъезд на дочери знатного рыбака или знатного комбайнера, пусть только этой дочери дадут в приданое собственный дом и сберегательную книжку.

— При моей внешности... — говорит он.

Но внешность без чести помогает плохо. И вместо собственного дома Мараховскому приходится пока снимать чужие углы и вымаливать трешницы у многодетных вдов.

Три часа работники редакции беседуют с Марахов-

ским. Всем нам неловко за него и стыдно. А он хоть бы раз смутился, хоть бы раз покраснел. Мужчина без чести, достоинства и самолюбия. Вот как жестоко мстит жизнь человеку, который со студенческих лет мечтал о легком хлебе, собираясь жить в нашем доме на временной прописке, угловым жильцом!

1957 г.

Человек в курсе

Высоко в небе живет владыка вселенной — солнце. Но ни высота, ни могущественная сила жарких лучей не сделали солнце чванливым или недоступным. Любому из нас предоставлено право личного общения с самым могущественным из светил. Для этого нужно только дождаться утра, выглянуть в окошко, и ваше свидание с солнцем может считаться состоявшимся.

Но есть на свете владыка... Он даже не совсем еще владыка, а только маленький товарищ по фамилии Владыкин, но тем не менее...

На днях мы получили письмо, в котором несколько комсомольцев скорбными фразами живописуют деятельность товарища Владыкина. Письмо комсомольцев нас сильно опечалило, ибо все мы знали Костю Владыкина как скромного парня. Кое-кто из читателей, может быть, даже помнит фотографию, напечатанную в свое время на третьей странице «Комсомольской правды». Костя Владыкин был изображен на этой фотографии с двумя ложками в руках в общей группе участников шумового оркестра. Кепка Кости лихо сидела на затылке, лицо светилось задором и молодостью, обещая всем нам в будущем только доброе и хорошее.

Именно тогда, в дни успешной работы заводского клуба, Костя был включен горкомом комсомола в список на выдвижение. Он и стоял этого. На заводе его знали как хорошего производственника, а в городе он пользовался непререкаемой славой лучшего нападающего футбольной команды. Эта слава грела не только самого Костю, но и его ближайших родственников.

Когда мать Кости заходила в продуктовый магазин, люди расступались, пропуская ее без очереди к прилавку. А если кто-нибудь ненароком пробовал протестовать, на него шикали и продавцы и покупатели.

— Ты что шумишь? — зловеще шепотом говорил первый из близстоящих болельщиков. — Это же мать правого края.

В те годы правый крайний по рекомендации горкома был избран секретарем комсомольского комитета завода. Первое время Костя успешно совмещал эту почетную обязанность и с работой в цехе и с футбольным календарем. Он был молод, энергичен, и его хватало на то, чтобы быть вместе с молодежью и на работе и после нее. Не знаю, так ли это в действительности, но клубный сторож утверждает, что именно в те годы и заводской клуб и заводской стадион жили настоящей, полнокровной жизнью. Тогда был организован знаменитый шумовой оркестр, в котором комсорг аккомпанировал певцам на ложках, тогда же он устроил на заводе и грандиозное волейбольное соревнование. В этой спортивной баталии участвовало свыше шестидесяти цеховых, поселковых и просто никому не известных «диких» команд. Кстати, одну из таких команд возглавлял директор завода, вторую — парторг.

Молодежь была очень довольна своим комсоргом, полагая в простоте душевной, что именно так должен был жить и работать их молодой избраннык.

Все шло как будто хорошо, да вот беда: нашего комсорга подвели ложки. Те самые, которые были изображены на третьей странице молодежной газеты. Секретарь горкома ВЛКСМ товарищ Бабашкин счел эти ложки свидетельством морального падения комсомольского активиста. Этот секретарь, прихватив с собой инструктора, отправился на завод для серьезной беседы с комсоргом.

— Позор! — сказал Бабашкин, размахивая газетным листом.

— На весь Союз, — добавил инструктор.

— В других городах комсорги играют на скрипках, — сказал Бабашкин.

— А у нас на столовом сервизе, — добавил инструктор.

— Так я же на скрипке не умею, — простодушно заявил Костя.

— Он еще оправдывается! — сказал секретарь.

— Владыкина надо ударить по рукам, — добавил инструктор. — Наш город занял первое место по области в сборе рацпредложений, а нас толкают назад, к шуловому оркестру.

— Бить не надо, — вмешался секретарь. — Владыкин просто не в курсе. Я предлагаю сначала ввести товарища Владыкина в курс, а потом, если не исправится, ударить.

Так как других предложений не было, то товарищ Забашкин остался на несколько дней на заводе, чтобы ввести Владыкина в курс. Первое, что сделал Бабашкин, — это добыл для комсорга ставку освобожденного работника.

На этом сложное искусство введения в курс молодого активиста не закончилось. Молодому активисту нужно было еще создать «условия». Опытный Бабашкин быстро справился и с этим делом. Он добыл стол, телефон, графин и урну для окурков. Затем сложными манипуляциями Бабашкин выселил из здания конторы управляющего делами завода и повесил на его дверях новую табличку: «К. П. Владыкин — секретарь комитета ВЛКСМ».

— Ну, вот и все, — сказал Бабашкин. — Стол и телефон у тебя есть, теперь ты можешь спокойно руководить молодежью.

Трудно было Косте на первых порах осваивать новые условия работы. Раньше хоть и не был он в курсе, однако все для него было ясно. Молодежь в цехе — и он вместе с ней. Ребята в клубе — и он там. А теперь между ним и ребятами стол, три этажа и бюро пропусков.

Правда, теперь у Владыкина телефон. Нет-нет да и позвонит товарищ Бабашкин:

— Ну как, заворачиваешь?

— Заворачиваю.

— Правильно! Давай заворачивай!

А что заворачивать — неизвестно.

Но не напрасно товарищ Бабашкин хлопотал о телефоне. Телефон, как известно, сам по себе существовать

не может. При нем обязательно должен быть технический аппарат. У Бабашкина при телефоне был специальный помощник. Добыл и Владыкин себе помощника. Посадил рядом с собой златовласую Дусю. Дуся оказалась разбитным человеком, она выхлопотала пишущую машинку и быстро установила контакт со всеми горкомовскими девушками. А эти девушки были на редкость любопытными особами: одной хотелось знать все, что касалось железных стружек и обрезков, вторая беспрестанно требовала цифры о сборе рацпредложений, третья не могла уснуть, не собрав свежих сведений о всех двойках и тройках, полученных за день комсомольцами в вечерней школе.

Косте уже некогда было скучать. С утра он закидывал удочки во все цеховые и поселковые конторы, выуживая оттуда всякую цифровую плотвичку. Днем он садился с Дусей за разборку улова. Вдвоем они отсортировывали обрезки железа от медных и чугунных, уточняли данные о рацпредложениях и выводили среднешкольные единицы и двойки, вычисляя, сколько двоек приходилось на долю членов ВЛКСМ и сколько на долю несоюзной молодежи.

Для чего требовались все эти сведения горкомовским девушкам, Костя не знал. Да это для него было теперь и не важно. Важно было то, что Костя, по публичному свидетельству Бабашкина, серьезно входил в курс.

Пора романтических увлечений прошла. Костя понял, что создавать шумовые оркестры и волейбольные команды совсем необязательно. Важнее сообщить в горком «среднесуточный охват молодежи культурными мероприятиями». И он сообщал: охвачено 832 человека, из них первым киносеансом — 30 процентов, вторым — 40 процентов, третьим — 30 процентов.

Через полгода Косте надоело бегать за цифрами, и он переложил эту работу на трех членов бюро. Один должен был собирать сведения по железному лому, второй по киносеансам, а третий по двойкам и тройкам. Лиха беда начало. Еще через год Костя перестал уже именоваться Костей и сделался Константином Петровичем. Он жил теперь в одном доме с директором завода, и ему даже подавали из гаража машину для поездок в горком или на стадион.

В футбол Константин Петрович, конечно, уже не играл. Теперь он только присутствовал на особо ответственных матчах сезона. Для Кости ставился специальный стул в директорской ложе, и он одиноко переживал все перипетии игры. Правда, иногда и ему хотелось вскочить вместе со всеми другими болельщиками на ноги и крикнуть в порыве азарта:

— Давай, Вася, бей!

Но Константин Петрович сдерживался, чтобы не уронить авторитета, и только покровительственно бросал вниз кому-нибудь из знакомых:

— Молодец Васья, лихо влепил гол в девятку.

А если этот знакомый, обрадованный секретарским вниманием, подходил после матча к Владыкину, чтобы поговорить о каком-нибудь деле, Константин Петрович снисходительно слушал его у открытой дверцы машины и говорил, давая одновременно шоферу знак трогаться:

— За этим, дружок, ты приходи ко мне в комитет. Я о серьезных делах на трамвайной подножке не разговариваю.

Но попасть в комитет на прием к Владыкину было весьма нелегким делом. Константин Петрович отказывал в свидании не только комсомольцам. Он не всегда выписывал пропуск даже родной матери.

— Скажите Марфе Григорьевне, — говорил Костя Дусе, — пусть зайдет в другой раз, сегодня я занят.

Дусе не нужно было повторять приказание дважды. Она хорошо изучила нравы своего комсорга и действовала автоматически.

Рядовых комсомольцев она направляла для разговоров к членам бюро, активистов — к заместителю секретаря, а если звонил Бабашкин, то не стеснялась даже говорить самому Бабашкину:

— У Константина Петровича совещание, как только он освободится, я вас сейчас же с ним соединю.

За три года ученик Бабашкина так прочно вошел «в курс», так безнадежно очерствел, что вряд ли кто из нас признал бы в нем сейчас того самого доброго паренька, который так многообещающе улыбался читателям с фотографии, напечатанной в газете. Да что фотография! Марфа Григорьевна и та перестала верить,

что когда-то была матерью правого края. Бедной женщине начало казаться, что ее сын так и родился с телефонной трубкой в руках, а первые слова ребенка были:

— Зайдите в другой раз. Сегодня я занят.

В декабре прошлого года Бабашкина назначили заведующим городским коммунхозом, и на его место в горкоме сел Владыкин. Когда на следующий день заводские комсомольцы пришли в горком, то они увидели в приемной секретаря знакомую фигуру златокудрой Дуси.

— Обращайтесь к инструктору, — говорила Дуся.

Но комсомольцы не обратились в этот раз к инструктору. Они прислали письмо в редакцию.

«Высоко в небе, — писали комсомольцы, — владыка вселенной — солнце. Живет скромно, сто...»

Дорогие ребята, вы хотели смутить Владыкиным сравнением? Солнце! А что для Константина Солнечного? Разве солнце в курсе? Вот если бы Владыкину, поручили ввести это самое солнце, он бы навел там порядок. Поставил бы стол, посадил бы в приемной Дусю...

Не надо пускать Дусю на солнце. Пусть солнышко светит самим собой и светит нам всем как умеет.

1950 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

авторе этой книги 3

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

верхнем «до»	7
ребор	11
я команда	15
спичкой вокруг Солнца	19
шечка	25
лообмен по-приятельски	29
те наследники	34
олько стоит рябчик?	38
лочная сестра	41
рогой и многоуважаемый	45
пись на ошейнике	52
прыгунья	56
букву «П»	62
кусок пирога	65
зунья с клянсами	70
рощение стропитивых	74
денька, дай прикурить	78
ворот-навыворот	81
одал	86
семейной хроники	91
гя домостроя	94
карача	98
П. — 289	105
урик	109
гекаемые люди	117
гно на диссертации	121

ОТЦЫ И ДЕТИ

тиньяк из Таганрога	127
овек из прошлого	135
ой дождь	142
дьба с приданым	147
днолицый брат	152
ой бывший сын»	155
я-Пятачок	162
сказал Костя	165
мара	171
ьян	175
ия борода	179
лаш с мезонином	183
калите Марину	189
ом с нами	192
омнате напротив	196
вучее полено	202
ическая записка	205
ина мама	208

На Белом озере	214
«Дядькин папа»	218
Маленькая мама	222
Друг до первой белы	231
Игарик	236
Закон Адата	239
В день ангела	242
Свадьба с препятствиями	247
На деревню девушке	251
У театрального подъезда	255

В «ЛИСТОК НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ»

Туфли	263
Кривая душа	267
Тюфяк	274
Сватовство на Арбате	277
«Персональный катафалк»	283
В ожидании сына	286
Случайная знакомая	289
Случай в дороге	294
Из-за «галочки»	299
Человек без имени	304
Свойство сердца	308
Шоколадный набор	312
Хвосты и копии	317
Сельская «Победа»	321
Святое корыто	326
Правнуки Ляпкина-Тяпкина	331
Тринадцать отзывов	335
Угловой жилец	340
Человек в курсе	345

Семен Давыдович НАРИНЬЯНИ
СЛУЧАЙНАЯ ЗНАКОМАЯ

Редактор И. Шатуновский.

Художник Е. Шукеев.

В книге использованы рисунки художников
М. Черемных, Бор. Ефимова, В. Горьева.

Художественный редактор Г. Федоров.

Технический редактор Л. Новикова.

А 00048. Подписано к печати с матриц 8/VII 1968 г. Формат бум
84 × 108¹/₃₂. Объем 18,48 условных печ. л. 18,63 учетно-изд
Бумага типограф. № 2. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3291. Цена 6

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии газ
«Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица «Правды».

Отпечатано в типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 1565.